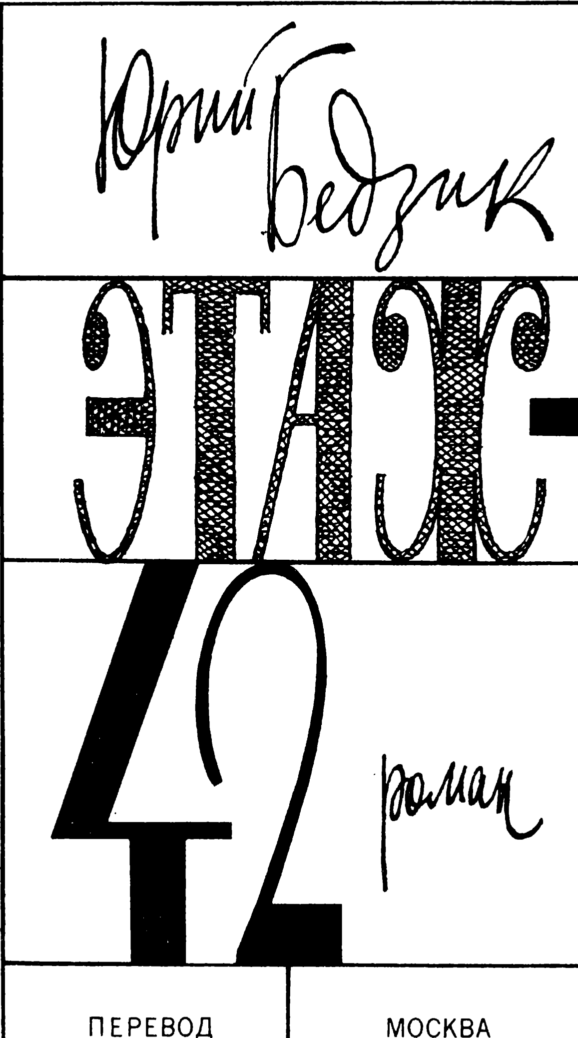
Этаж 42

Юрий Бедзик



ПЕРЕВОД
С УКРАИНСКОГО
Л. КЕДРИНОЙ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
1982

С(Укр)2
Б38



Юрий Бедзик — известный украинский писатель. В 1960 году вышел в свет его первый роман «Полки идут на переправу», в 1962 году — роман «Альма-матер», в 1966 году — «Честь мне дороже», книга, удостоенная премии Министерства обороны СССР.

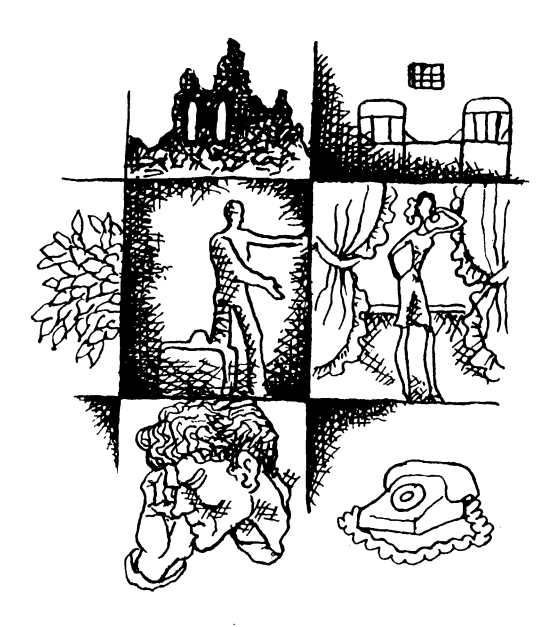
Помимо военной темы, которая Ю. Бедзику — участнику Великой Отечественной войны — особенно близка, писателя волнует тема современной рабочей молодежи. Этому посвящены такие его романы, как «Окрыленность», «Лазурь» и предлагаемая книга — «Этаж-42». Писатель рассказывает в ней о жизни строителей-монтажников.

Художник

Валерий КРАСНОВСКИЙ

Б $\frac{4702590200-043}{083(02)-82}$ 237—82.

© *Перевод на русский язык. Издательство «Советский писатель», 1982 г.*



Наконец-то они уезжают. Поезд в восемь вечера по лейпцигскому времени. Найда стоит у окна, за которым льет густой обложной дождь. Город механиков, печатников и зодчих утопает в туманной мгле.

Возле дверей стоят чемоданы. Все готово в дорогу. Алексей Платонович Найда, плотный, в летах, с маленькими седыми усиками, бригадир строительной бригады, думал, подавляя тревогу: если до семи Инга не явится, они отправятся на вокзал одни. Он недалеко. Доберутся, найдут.

Петр Невирко, задумавшись, сидел возле приемника — изящного аппарата на тоненьких ножках,— то ли вспоминал о чем-то, то ли думал. Ему двадцать пять, но кажется, будто прожил такую большую жизнь. Первая поездка за границу, в братскую республику, поразила и измотала его до предела.

Делились опытом с немецкими коллегами, опытом работы по высшему классу, по наистрожайшим нормативам. Ему пришлось соревноваться с их прославленным асом панельного строительства Юргеном Крайзманом. Шесть часов под проливным дождем, потом шесть часов в ночную смену, при прожекторах, когда все мокрое, скользкое, неверное, и ты не видишь даже нивелира, когда лом выскальзывает из рук, и форкопфы кажутся такими же тяжеленными, как бетонные плиты.. Хронометрировали каждый подъем крана, точность монтажа замерялась до микрона. До сих пор руки болят из-за этой сырости, из-за проклятого тумана.

Алексей Платонович, вынув блокнот, стал просматривать какие-то записи, искоса поглядывая на парня. Молодец Невирко!.. Почему-то он напоминал ему родного сына. Толя тоже рьяный в работе, умеет добиваться своего, и люди его уважают, и у начальства в почете. Собственно, и сам уже начальство. Командует на киностудии документальных фильмов. Фиксирует, так сказать, жизнь в ее наиболее ярких проявлениях.

Шумел дождь, тихо лилась из приемника музыка, было уютно и в то же время тревожно. Как в каюте корабля — плывут, плывут куда-то, вокруг водная стихия, неизвестность. Кончаются их последние минуты на немецкой земле. Найда глянул на часы и невольно посмотрел на дверь: Инга опаздывает, что-то ее, вероятно, задерживает, у пунктуальных немцев тоже случается всякое... Ничего, здесь близко, через несколько кварталов... Найда прошелся по комнате, зачем-то заглянул в ванную, закрутил получше краны, взглянул на вешалку, на кровать и стол, где в белой перламутровой вазе стояли цветы.

Положил тяжелую руку на плечо Невирко.

— Хорошо, что не согласились на самолет. Погода, как видишь, дрянная. А так — завтра дома.

— Хлопцы ждут в бригаде,— сказал Петр.— У нас, может, тоже дождь.

— Может, дождь,— согласился Найда, подумав, что нужно было сказать: верно, тяжело им там в дождь.

Он вздохнул. Вдруг представилось ему, как они явятся на комбинат и сколько будет вопросов, охов да ахов. Встретит их Николай Обрийчук, комсорг, тяжелоатлет, который запросто прутья железные гнет, коли сильно разо-

злится на кого-нибудь. Этот, конечно, начнет расспрашивать про разные лейпцигские чудеса, может, и львов вспомнит. Перед отъездом задал Найде смешной вопрос: правда ли, что там, в зоопарке, торгуют львами. Вот про это сразу и спросит. Прямо под открытым небом устроим свою пресс-конференцию. И Петр расскажет, что они видели, чему надо у них поучиться, а с чем они не согласны. Например, о том, что лучше выверить по нивелиру каждую поставленную панель, каждый новый элемент, это и надежнее, и точнее, хоть, может, и отнимает больше времени, но тут уж, как поставишь, железно будет стоять, через сто лет можешь проверить. Петра фотографировали для газеты, были их документалисты, на советского мастера нацеливали кинокамеры, внимательно, с интересом, с уважением: смотрите, как русские умеют работать, какие у них точные движения, блестящие приемы!

Радовался Найда, словно уже видел на экране высокую фигуру Петра. И себя видел, и немецких товарищей. Недаром побывали за границей — не уронили рабочей чести. Но между тем что-то не давало ему покоя, и не было полной радости, сердце билось неспокойно и тяжело.

Знал: это он повезет с собой домой, и долго у него будет болеть рана, которую он разбередил. Давно хотел посетить места, связанные с войной. Собственно, ради этого и согласился поехать в Лейпциг. Поехал, увидел. И теперь хмурится от дум, и всегда будет хмуриться, все годы, которые ему суждено прожить. А было так. Вместе с Петром они отправились в Визенталь, аккуратный, будто по шнурку построенный городок, среди пологих холмов с туманной полоской леса на горизонте. (Век бы того Визенталя не видеть!) В первый день войны попал он туда впервые. И в сорок пятом, в мае, снова увидел его. И вот теперь с Петром Невирко — почему бы не проведать? От сиротского приюта, верно, и следа не осталось, те дети, которых он подкармливал, урезывая свой офицерский паек, давно стали взрослыми гражданами республики, один, говорят, в Берлине — заместителем министра, вершит государственные дела. Да что тут удивительного? Инга Готте стала журналисткой международного масштаба, ее статьи печатаются в столичной прессе, бывает, и с высоких международных трибун ссылаются на ее слово. Порвала с Федеративной, живет в демократической Германии.

Инга родилась в сорок втором. Попала в приют для сирот. После нападения на приют эсэсовской банды оказалась похищенной и жила в Западной Германии, в доме нацистского бонзы Вилли Шустера. Мать здесь, а она — там. Вдали друг от друга, разбросанные судьбой. Минули годы. В Лейпциге появилась элегантная девушка, ведущая журналистка с заданиями от десятков европейских газет и агентств. Хотела увидеть мать, но не застала ее в живых. Осталась тут и в Гамбург написала, что не вернется. Она считала, что после того, как умерла мать, никто не знает, что тогда, давно, произошло, а ей хотелось бы все выяснить.

Вчера на прощальном банкете начальник управления товарищ Опиц — крепко сбитый, средних лет человек — на чистом русском языке произнес тост, в котором выразил свою благодарность Алексею Платоновичу. После этого были дружеские объятия, рукопожатия, в подарок каждому — маленькие часики с электронным механизмом, потом веселая музыка самодеятельного оркестра, оригинально и без единой фальшивой ноты исполнившего «Подмосковные вечера» и «Полюшко-поле». С ответной речью перед притихшими рабочими, группками сидевшими за отдельными столиками, выступил Найда.

Вечер затянулся, все были утомлены. Найде и Невирко хотелось остаться одним в номере, передохнуть, но товарищ Опиц напоследок предложил проехаться по ночным улицам города, его поддержали остальные — и их повезли в ночь, за город, через хоровод неоновых огней к какому-то загадочному озеру, у берега которого ослепительно сверкал разноцветными огнями красавец корабль с высокими мачтами, будто какое-то романтическое видение. И снова в глубоком трюме навеки пришвартованного к суше корабля лилось пиво, провозглашались тосты, молоденькие девушки приглашали Найду и Невирко танцевать, и они танцевали с ними. Когда наконец их снова привезли в гостиницу, они, войдя в номер и быстро раздевшись, тотчас провалились в тяжкий, глубокий сон...

В дверь постучали. Найда, прежде чем сказать «Войдите!», бросил на Петра ободряющий взгляд, поднялся и шагнул к двери. Вошла Инга в легком плаще, посеребренном капельками дождя.

Петр вскочил с кресла, заторопился ей навстречу.

— Прошу...— указал на стул Найда, и тотчас на его лице проступило то растерянное выражение, которое Петр уже не раз замечал у него в эти дни.

— Извините, товарищи,— сказала Инга, почувствовав, что ее ждут здесь давно.— Забарахлил мотор. Что-то с карбюратором...

— Да что вы, Инга... В такую погоду...— глянул на темное окно Алексей Платонович.— Мы могли бы и сами.

— Вы слишком дорогие гости для меня, геноссе Найда и геноссе Невирко.

— Хоть и дорогие, а прощаться придется,— намекнул на нехватку времени Найда. И тут же взял один из чемоданов, кивнул Петру, чтобы и он поторопился.— Спасибо этому дому, как говорят у нас на Украине,— и первым направился к выходу.

Быстро сдали ключи от номера дежурной по коридору и спустились вниз. Непроглядная дождевая завеса укрыла улицы города, окутала дома, величественное здание театра оперы, но неон по-прежнему играл с беззаботностью на стенах домов, вспыхивал, мерцал, горел живым серебром в мглистой темноте.

Инга предупредительно открыла перед Найдой и Невирко дверцы машины. Сама села за руль. Это была ее собственная автомашина — «вартбург» ультрамаринового цвета.

— Мама жила на этой улице,— кивнула она куда-то в сторону, в тесный проем между домами.

Петр заметил, как сошлись у Алексея Платоновича на переносье брови. Видимо, болью отозвались в его душе эти слова Инги, и он не нашелся что ответить. Право, удивительно! Инга так легко и просто вспомнила свою покойную мать, будто совсем постороннего человека, а вот Алексей Платонович нахмурился. Брови его сомкнулись еще теснее.

Под колесами хлюпала вода, «дворники» ритмично и безостановочно боролись со струями воды, очищая короткие, отрывочные сегменты ясного стекла, в которых из водяной пыли возникали темные фигуры и тут же исчезали. Инга, осторожно притормаживая, умело вела машину, казалось, она вся была во власти движения, ни о чем не думала, ничего не чувствовала, но Алексей Платонович, украдкой поглядывая на нее, улавливал на ее

лице грустную задумчивость, и снова грудь его сжимала та печаль, что охватила его в день их встречи на Франкфуртском вокзале.

Тогда, при первом знакомстве, Инга сказала ему с болью: «Я знаю, что вы хотели вырвать меня из рук шустеровских бандитов в лесу Ошаца. Я специально ездила в те места и видела лесную виллу Шустера. Но я так мало знаю о жизни своей матери... и почему я оказалась вдали от нее...» Он ничего ей не стал рассказывать, ибо сам не все знал и многое еще было неясным. Сейчас ему тоже не хотелось говорить о прошлом.

— Ждем вас у себя, фрау Инга,— произнес он умышленно беззаботным тоном.

— Считайте, что я уже в дороге,— в тон ему ответила Инга.— Только бы не подвело здоровье.

— На Днепре необыкновенный воздух. Приезжайте весной, когда все цветет. Сразу забудете о своих болезнях.

Оставив машину на одной из боковых улочек, они вошли в огромное здание вокзала. В туристских путеводителях его называли самым большим вокзалом Европы. Люди в его ярко освещенном необъятном зале чувствовали себя маленькими, и невольно возникала мысль о том, что они тут случайные гости, а вокзал ждет иных пришельцев, каких-то сказочных исполинов, которые прибудут сюда из неведомых миров.

В купе вагона Найда и Невирко застали молодую женщину с измученными (или, может, усталыми) глазами. На ней был белый джемпер с высоким, плотно облегающим шею воротником, короткая, не прикрывающая острые коленки юбка. Руки у женщины были тонкие, бледные, и лежали они на белой салфетке, словно пальцы пианиста на клавишах. Напротив нее сидел пожилой мужчина с веселыми глазами и что-то оживленно рассказывал своей попутчице.

Найда, войдя в купе, положил на верхнюю полку чемоданы и сразу же ощутил неловкость оттого, что своей громоздкой фигурой занял почти все пространство. Инга и Петр стояли в коридоре. Уловив на себе любопытный, доброжелательный взгляд женщины, Инга смутилась и сказала Алексею Платоновичу, что ей уже пора. Втроем вышли из вагона.

Было сыро, густая изморось заплывала под навес плат-

формы, заставляя людей зябко поеживаться. Вдоль вагонов, нервничая и суетясь, спешили пассажиры.

Стрелка на больших часах незаметно приближалась к восьми, и Найда вдруг почувствовал непреодолимое желание остановить ее, словно от этого могло остановиться время и поезд их никуда не повезет, они снова сядут с Петром в машину Инги Готте и поедут по мокрым улицам к дому, где когда-то жила фрау Арндт, войдут в ее комнату, и тогда Найда припадет губами к руке Инги и все ей расскажет... Все-все...

Но как ни хотел он, чтобы стрелки остановились, они продолжали упорно двигаться по белому циферблату: время подвластно только своим собственным законам.

— Мы завтра же опубликуем в газете сообщение о вашем визите к нам,— нарушила затянувшееся молчание Инга.

Она до конца хотела выполнить миссию хозяйки, но уже не находила слов, которые могли бы заполнить пустоту молчания, слов, которые уберегли бы ее от досадной неловкости.

— Наши газеты сделают то же самое,— с облегчением сказал Найда.— А мой друг Петр,— он сжал локоть Невирко,— надеется на приезд мастера Крайзмана.

— И конечно же, мы ждем вас, фрау Инга,— добавил Петр Невирко.

— Итак, до встречи! — поднял на прощание руку Найда.

Впереди заискрился зеленый огонек семафора, люди заторопились, поезд начал потихоньку отрываться от платформы.

Петр поднялся в тамбур вагона, а Найда, взявшись за поручень, медленно шагал рядом с вагоном, свободной рукой махая Инге.

Затем, вскочив в тамбур, долго еще махал рукой, посылал привет огням, перрону, городу, Инге. И только после этого вошел в купе.

* * *

В вагоне начиналась своя жизнь. Велись спокойные разговоры, по коридору ходила круглолицая девушка-проводница, предлагая пассажирам чай и минеральную

воду. Петр, втиснувшись в угол дивана, спокойно наблюдал за всем происходящим. Снова дорога. Тут уже свои девушки-проводницы, и кажется, будто рельсы, по которым едут, тоже свои, родные. И все, кто едет в вагоне, словно бы давно тебе знакомы, и всех объединяет чувство товарищества, какая-то неосознанная общность настроения. И уже возникает мысль, что судьба не зря свела тебя с этими людьми, с которыми надо непременно подружиться или хотя бы присмотреться к ним повнимательнее.

Их соседка оказалась оперной певицей. Она не отрываясь смотрела на зашторенное окно, механически рисуя пальцем на скатерке причудливые узоры. Ее коллеге — директору театра, человеку крепкому, осанистому, с простым лицом — было лет шестьдесят. Человек общительный, он сразу же представил Найде и Невирко артистку («из созвездия молодых талантов!») и тут же назвал себя: «Курбаков. Мы, администрация, создаем все условия для расцвета молодых».

— Кажется, у вас тоже неплохой голос,— сказал Найда.— Помнится, лет двадцать назад вы пели в «Наталке» партию Возного. Я слушал тогда эту оперу...

— И до сих пор не забыли? — искренне удивился Курбаков.

— Хорошее не забывается,— задумчиво проговорил Найда.— После войны мы, молодые офицеры, не пропускали ни одного спектакля, ни одной премьеры. Нам казалось, что на войне каждый из нас не только выполнял свой гражданский долг, но и завоевывал право на все духовные сокровища мира. Как жадно набросились мы тогда на книги! Кино и театр, разумеется, тоже брали в осаду. Не каждому выпадал партер, а счастливы были все.

— Спасибо, друг,— искренне обрадовался директор, хотя не мог скрыть тяжелого вздоха, который невольно вырвался у него, как горькое воспоминание, как застаревшая боль.— Когда-то и моего слабенького голоса хватало на то, чтобы порадовать вас. А теперь все в прошлом...

И начал рассказывать о цели поездки в Лейпциг, о встречах с коллегами по оперному искусству.

— Лейпцигская опера в содружестве с заводской самодеятельностью поставила довольно интересный спек-

такль. Профессионалы и кружковцы объединили свои усилия для важного дела: обсуждали сценарий, проводили вместе репетиции, допустили к участию в массовых сценах заводских любителей.— Он вдруг смутился и уже спокойнее спросил Найду: — А вы, значит, по линии производственной? Учились или учили?

— Обменивались опытом,— ответил Найда.

И рассказал, как они с Петром показывали немецким коллегам приемы монтажа высотных панельных домов, объясняли, как работает известный московский строитель Злобин. Пускай изучают, совершенствуются, добавляют свое. Немцы народ деловой, пытливый, быстро схватывающий все новое.

В это время Алексей Платонович встретился взглядом с Петром: тот, незаметно кивнув в сторону артистки, дал понять, что их соседка устала и пора кончать беседу.

— Вероятно, наша дама хочет отдохнуть,— понял намек Найда и поднялся, чтобы постелить себе на верхней полке.— Когда проснемся, будем намного ближе к дому,— сказал он улыбаясь.

Забрался на верхнюю полку и Петр. Тут же выключили свет, только над дверью засинел в полумраке глазок ночника.

«Если бы они только могли себе представить, кто такой наш бригадир Найда! — подумал Петр, укладываясь поудобнее.— Полсвета обошел, Европу от Гитлера вызволял, сколько орденов и медалей получил... А теперь вот — наш бригадир». Невирко повернулся лицом к стене, сладко зевнул, засыпая подумал: «Ну и ты теперь кое-что значишь: Европу повидал и себя показал...»

За ночь проехали Польшу. Утром Курбаков проснулся первым, разложил на столике еду, пригласил всех завтракать. Потчевал баварским пивом. Найда отказался, сославшись на больную печень.

— А я выпью,— подала голос их соседка.— Должна же наша небольшая делегация,— улыбнулась она,— отпраздновать возвращение на Родину.

— В таком случае я согласен,— сказал Алексей Платонович, застегивая ворот рубашки и приглаживая волосы.— Только с одним условием: в следующий раз мы соберемся у меня дома...

* * *

Когда поезд приближался к родному городу, Петра разбудили с трудом. Сонный, растрепанный, он поспешно соскочил с верхней полки.

— Что... уже приехали? — спросил он.

— Подъезжаем, иди умывайся,— сказал Алексей Платонович.— Ведь нас будут встречать.

Артистка в белом джемпере стояла в коридоре и разговаривала с директором. Петр чувствовал себя неловко: почти всю дорогу проспал, ни с кем как следует не познакомился, путешественник несчастный! А кто, собственно, его будет встречать? Такой почести он не заслужил. Работяга, звеньевой монтажников, которому выпало счастье побывать за границей. Невелика персона!

Петр привел себя в порядок, побрился, завязал щегольской галстук, пригладил вихрастые волосы, почувствовал, как к нему постепенно возвращается уверенность. Лицо у него чуть удлиненное, с запавшими щеками, брови черные. Двадцать пять, а выглядит старше, в очертаниях рта и подбородка — какая-то суровость. Чувствуется характер. Не случайно именно его взял с собой в поездку их бригадир Найда, известный на всю республику мастер своего дела. И, кажется, не промахнулся, даже поблагодарил Петра за отличную работу, за профессиональное умение, которое он продемонстрировал во время обмена опытом на немецкой земле. А если доволен бригадир, будет за него радоваться не только вся бригада, но и высокое начальство, которое, может, отметит его в приказе: звеньевой Петр Онуфриевич Невирко с честью выполнил порученное ему задание! До последнего времени тебя почти никто не знал на комбинате, был ты просто рядовым строителем, главный инженер Гурский при встрече даже не смотрел в твою сторону...

За окном уже проплывали высотные дома пригорода, мелькнул внизу троллейбус, а вот и заполненные пешеходами улицы, узкие, более широкие, просторные. Родной город! Только сейчас ощутил Петр невероятную усталость, и время, проведенное за границей, показалось ему бесконечно долгим, словно годы прошли после разлуки с друзьями.

На перроне Найду встречали сын и невестка. Пока они здоровались, Петр с чемоданом в руке стоял поодаль,

испытывая грусть и одиночество. Никто его не встречает, никому он не нужен...

Найда, уловив его настроение, позвал Петра.

— Мой друг Невирко,— слегка обняв парня за плечи, сказал он, знакомя его с родственниками.

Сын Найды, русоволосый, на голову выше отца, с массивным подбородком и умными серыми глазами, приветливо поздоровался. Его жена Тося, маленькая и щуплая как галчонок, улыбнулась и кивнула головой. Все тут свои, все ему рады, в машину приглашают. Петру стало тепло и уютно среди них, и недавние обиды показались смешными. Ведь сам виноват: послал бы телеграмму хлопцам — половина общежития явилась бы, у Петра Невирко друзей не счесть...

Шли по перрону с шумной толпой прибывших и встречающих, среди цветов и радостных улыбок.

Петр рассказывал Анатолию об отце, расхваливал его дипломатические способности, говорил о том, как немцы уважают Найду: до сих пор помнят, что он спас от голода жителей городка Ошац под Лейпцигом.

— Дочь покойной коммунистки Арндт встретили,— продолжал Петр.— Удивительная женщина эта Инга. Почему-то Алексей Платонович очень переживает, вспоминая прошлое, как будто что-то скрывает...

— Да, я знаю...— тихо ответил Анатолий.— Отец мне кое-что рассказывал.

Вышли на привокзальную площадь. И вдруг Петр увидел в толпе знакомую стройную фигурку. Майка! Быстро шла навстречу под руку со своим отцом, главным инженером Гурским. Видимо, он отправлялся в командировку, она его провожала. Розовое личико ее поразило Петра своей детской миловидностью. В быстроте движений, торопливой походке чувствовалось что-то ребячье, задорное и... родное.

Петр невольно замедлил шаг, но тут же заставил себя оторвать взгляд от Майки. Кажется, разминулись. Петр с облегчением вздохнул и собрался задать Анатолию какой-то вопрос.

Внезапно рядом раздался знакомый голос:

— Петрусь!..

Отец нахмурился, высвободил руку и отошел в сторону. Майка стояла смущенная, радостно удивленная, в своей яркой вязаной шапочке и с таким же шарфиком.

— Ты из Лейпцига? — спросила она, хотя прекрасно знала, где он был. Потом вскинула на Анатолия многозначительный взгляд. Похоже, что они давно были знакомы.— Привет представителю искусства!

Анатолий поздоровался с ней как со старой знакомой.

— Отца встречал. Звони! — и побежал за Алексеем Платоновичем.

Майка как-то просто, по-товарищески взяла Петра под руку, окинула его восхищенным взглядом.

— Забыл?.. Совсем? — тихо спросила с горькой укоризной.

— Может быть... Я бы хотел этого...— жестко ответил он.

— Нет, нет! Только не это!..

— Зачем ты здесь?

— Папу провожаю в Москву,— кивнула она на своего солидного, в дорогом пальто и пушистой шапке отца, стоявшего поодаль с выражением великодушной снисходительности на лице.— Ну... как ты? Жив, здоров? Почему на письмо не ответил? — она провела пальцем по его щеке и губам.— Похудел.

— Не надо, Майечка,— промолвил Петр, осторожно отводя ее руку.

— Моего законного испугался? — Она пренебрежительно передернула плечами.— Нашел кого...

Гурский раздраженно крикнул:

— Мы опоздаем!

Майка чмокнула Петра в щеку.

— Звони! — На ходу обернулась: — Голубович читал твой проект и сказал: ты — гений!

Петр оглядел привокзальную площадь. А где же Алексей Платонович? Вдалеке различил коренастую фигуру Найды, прильнувшую к нему Тосю и Анатолия с чемоданом. «Только не это!.. Ну уж нет...» — подумал он. С него достаточно того, что было. Вполне достаточно...

Понурившись, он направился к трамвайной остановке.

* * *

Найда шел через привокзальную площадь уверенно и бодро: все родное, свое. Даже хмурое осеннее утро не портило настроения. От его внимания не ускользнула

встреча Петра с Майей Гурской. «Ох и закружит она парню голову»,— подумал он.

— Как на работе? — спросил он сына.

— Шпарим дубли,— шутливо ответил Анатолий.— Это всегда нас выручает.

— Вот бы нам на стройке хоть по одному дублю делать!

— Вам сие не дозволено, отец,— улыбаясь сказал Анатолий, прокладывая дорогу в толпе.— Вам все нужно делать чисто. С первого раза.

— А брак куда девать? Халтуру Гурского?

— Списывать, как ненормативные отходы, или нам сигнализировать. Мы с этим как-нибудь справимся.

Анатолий мастер документального кино. Упрямый, властный человек. В нем чувствуется незаурядный ум и отцовская хватка. Петр слышал, что на студии Анатолия уважают за доброту, умение быть снисходительным к товарищам по работе. Вместе с женой он встретил отца, подал служебную машину, хотелось прокатить их с ветерком.

Правда, домом верховодит Тося, привыкла командовать мужем и без стеснения пользуется его автомобилем. Увлекается модными вещичками, но, как всякая умная женщина, в меру. Сейчас Тося горячо рассказывает Алексею Платоновичу о житейских делах, мило жалуется на своего Току: дескать, ворчун, просто ужас, нет от него спасения! Условились вчера, что заберет из детского садика сынишку, а он, представьте себе, задержался на каком-то совещании, весь вечер проговорил с трибуны, а ребенок должен был сидеть с дежурной. У нее же самой на работе как раз была служебная вечеринка, привыкли все взваливать на нее: добыть продукты, накрыть стол, провести торжество наилучшим образом. И главное — оставаться веселой, быть душой общества.

— Папа, не слушай ее,— прервал жену Анатолий. Казалось, ничто не могло вывести его из равновесия.— Посуду мою регулярно, из садика забираю сына, наш семейный корабль благополучно одолевает все рифы и препятствия.

— Ясно, что одолевает! — как бы с обидой воскликнула Тося.— Потому что у меня ангельский характер.

— Постыдись при отце...— мягко попытался урезонить жену Анатолий.— Твой характер известен...

— Мой характер — мечта многих мужчин,— кокетливо вскинула головку Тося.

Водитель распахнул перед Найдой переднюю дверцу, невестка с мужем устроились на заднем сиденье. Погода совсем испортилась, небо налилось свинцом. Найда оглянулся на привокзальную площадь, будто снова узнавая ее или в который раз уже здороваясь с ней. Тосина болтовня его слегка утомила, ему хотелось поговорить с сыном, хотелось спросить о чем-то очень важном, а может, и неважном, во всяком случае — о деле. Все-таки хотелось бы для Толи жену посерьезнее. Да что поделаешь!

Вот наконец домик Найды. Как он любит свой уголок на далекой окраине. Садик, зеленый забор, резная калитка с синим почтовым ящиком. За калиткой — две дорожки: одна — к крыльцу Найды, вторая — на соседскую половину. Полкоттеджа Алексей Платонович после смерти жены продал генералу в отставке Афанасию Панкратовичу Климову. Стали друзьями, как говорят, водой не разольешь: общий садик у них, гараж на два бокса, широкий стол для настольного тенниса, который сами смастерили себе, чтобы не терять спортивной формы.

Анатолий попросил водителя подождать, а сам с чемоданом в руке направился на генеральскую половину. Отцовская временно занята крановщицей с двумя ребятишками. Генерал с женой рады этому. Под старость одним скучновато, сын — летчик-истребитель — служит на Севере, внуки выросли, учатся в институтах, отчего бы им не дать пристанище хорошему человеку?

Анатолий взбежал на крыльцо, постучал в окно.

— Есть кто-нибудь дома?

Афанасий Панкратович возился в саду. Обрадовался возвращению соседа из заграничной поездки. Лопату в землю, обтер руки о полы старенького брезентового плаща. Заторопился к дому. На его бородатом лице появилась радостная улыбка.

— Приветствую вас, дорогой друг! — загремел еще издали, торопливо шагая среди деревьев по вскопанной комковатой земле. Полы плаща касались измызганных голенищ кирзовых сапог.

Тут из-за сарайчика показалась генеральша. В противоположность своему невысокому сухощавому супругу она была дородной. В теплой стеганке, повязанная цвета-

стым платком, она походила на колхозницу, которая, урвав свободную минутку, хлопочет на своем приусадебном участке. Климов, хотя и боевой профессии человек, любил цветы, выращивал в своем палисаднике невиданной красоты розы. В свое время брал Дуклю, шел со своими дивизиями под вражескими пулями, через Вислу на Сандомирский плацдарм переправлялся, вся грудь в орденах, а теперь, как ни удивительно, выращивал розы. С увлечением работал вместе с женой в саду, занимался немудрящими хозяйственными делами.

— Заходите, заходите! — ласково пригласила Анна Мусиевна дорогих гостей, улыбаясь своей широкой, доброй улыбкой.

Климов, стащив с себя на веранде плащ и сменив сапоги на теплые домашние тапочки, выхватил из рук Анатолия чемодан и широко распахнул дверь в горницу.

— Мы уж думали, что вас пригласили на пост советника по высотному строительству в Берлине,— говорил Климов.— Пожалуйста, заходите! Раздевайтесь. Тосечка, вы же не впервые здесь... И ты, Анатолий, смелее... С дороги полагается закусить.

Найда-младший сказал, что ему в рабочее время не положено, ведь машина его ждет. Пообещал прийти вечером, а сейчас ему на совещание к директору... Виновато улыбался, стоя перед радушным хозяином и не зная, как выбраться из уютной, заставленной старомодной мебелью и увешанной ковриками квартиры. Однако спорить с генералом было бесполезно.

Алексей Платонович тем временем снял костюм и надел пижамные брюки и белую рубашку. В этой маленькой комнате он жил уже второй месяц, уступив свою квартиру Ольге Звагиной с детьми. Она ушла от мужа, «соломенная вдова» теперь. Вскоре должны сдать новый дом и ей, лучшей крановщице в бригаде Найды, дать квартиру. Алексею Платоновичу захотелось пойти к Ольге Антоновне, она, верно, сейчас дома — ведь нынче выходной — и возится с детьми. Маринке нужно погладить на завтра в школу форму, а Наталочка — несмышленыш, еще с ложечки ее кормят. Найда вспомнил о жене, о том времени, когда Толя был маленький. Он, Найда, часто тогда с мальчишками гонял на улице мяч. Катерина по воскресеньям пекла вкусный пирог. По вечерам приходили друзья из бригады, допоздна слушали радиолу, ста-

ринные украинские песни. Был у них уже тогда маленький телевизор, первая марка КВН, полированная шкатулка с крохотным экранчиком. Он стоял в углу возле шкафа, и гости за чаем дивились неслыханному по тем временам чуду: прямо в доме был свой театр или кино... А сейчас Толю ждет машина у ворот — стал большим человеком, грозится снять фильм, в котором он, бригадир Найда, будет главным героем. В герои мне не надо, сынок! Ты лучше свою жизнь устрой, с Тосей заживите по-человечески.

Войдя в гостиную, где Анна Мусиевна расставляла холодную закуску на белой скатерти, Алексей Платонович, раскрыв чемодан, стал вынимать привезенные подарки. Прежде всего, конечно, то, что купил для невестки.

— Ой, спасибо! — млела от восторга Тося, примеряя ажурную розовую кофточку.— Боже, какая прелесть! А это что? Лак? И не забыли, что перламутровый? Толик, у тебя папа — просто чудо! Алексей Платонович, спасибо,— говорила Тося, чмокая свекра сначала в одну, а потом в другую щеку.

Найда и вправду не поскупился на подарки снохе. Сыну — галстук и шариковую ручку, себе и соседям по скромному сувениру. Зато Тосе подарки — и на диване, и на столе, и на стульях..

Она целовала свекра еще и еще, глаза ее счастливо сияли, она то и дело предлагала тост за здоровье «милого-милого папочки» и вскоре совсем опьянела.

Климов ел мало, больше расспрашивал о Лейпциге. Он во время войны был в тех местах. Американцы явились туда первыми и вывезли все, что можно было. А как там теперь? Товары у них неплохие. И в мировой политике не из последних. Строгость любят, дисциплину, порядок.

— Это они любят,— согласился Найда,— даже чересчур.

— Лучше уж чересчур, чем недотяжка. А то как на «экстру» нажимать — уговаривать не приходится. А как работать... Да вы сами знаете, Алексей Платонович! — невесело махнул рукой Климов.— Миритесь с этим...

— Кто мирится? — удивился Анатолий.

— Очень просто, мой милый,— засопел генерал.— Из управления в управление перебрасывают бездельников — «по собственному желанию», так сказать. Пора начать с этим решительно бороться. Строжайше пресе-

кать! Рабочее место должно быть святым. Понимаю: моя категоричность кажется вам солдафонством, но ваш либерализм — это, в конце концов, измена собственным убеждениям. Может, я не прав? Может, я кажусь вам смешным?

Анатолий чуть заметно улыбался. Алексей Платонович, сжав кулаки, строго глядел в одну точку.

— Нет,— произнес Найда после минутного молчания,— смешного тут мало. Думаю, порядок везде нужен — и в семье, и в деле.

Анатолий так и встрепенулся. Глаза его немного сузились, и он с интересом уставился на отца. Он очень его любил и всегда поражался, открывая в нем новые для себя черты. Не так уж прост его батя, как может сперва показаться. Глыба, силища, целый мир!.. Вот он вынул сигареты, покрутил в руках коробку, подумал и произнес с уверенностью:

— Нет порядка — нет умения.

Сказал тихо, как нечто обычное. Без претензии на оригинальность. Но Анатолий почувствовал в этих словах особый смысл. Порядок для того, чтобы уметь!.. Дисциплина для того, чтобы научиться работать. Научиться подчинить себя главному направлению в жизни.

— В принципе верно...— поддержал Анатолий отца.

— Да что тут мудрить! — продолжал Алексей Платонович.— Правду говорит мой дорогой сосед: рабочее место должно быть святым! Потерял уважение к рабочему месту — потерял себя как работника. Пустое место ты! Разве мало у нас таких... потерянных? Ему все-все безразлично, ему наплевать и на мать и на отца. Когда присмотришься к такому, то видишь, что ничегошеньки он не умеет. Только кичится: я, мол, рабочий класс! Уважайте меня, почитайте!..— Найда безнадежно махнул рукой.— Строгости у немцев, конечно, хоть отбавляй. Но мне наша душевность больше по нутру. Хорошо, когда и порядок, и умение есть — и все это идет от сердца.

Анатолию пора было ехать, он взял с собой и Тосю, у которой были какие-то дела, а скорее всего, ей не терпелось похвастаться перед подругами своими заграничными обновами, подаренными свекром. Когда они ушли, Найда с облегчением вздохнул и потянулся за бутылкой.

— А теперь давайте, Афанасий Панкратович, от души...— и налил генералу и себе по полной.

Анна Мусиевна ушла на кухню, и друзья остались одни.

Алексею Платоновичу не терпелось узнать мнение Климова о волновавшем его деле. Рассказал генералу, что ездил в Визенталь. От сиротского дома нет и следа. Но все-таки он разыскал одну бывшую воспитанницу этого приюта — дочь покойной Густы Арндт.

— Помните, я вам рассказывал о ней? Коммунистка. По заданию партии пошла работать в гестапо, чтобы спасать своих...

— Почему покойной? — поднял седые брови Климов.— Ей же удалось вместе с вами бежать из лагеря?

— Да, удалось. Она умерла совсем недавно. Года два назад, в Лейпциге. После тяжелых переживаний... Мужа убили нацисты. Маленькую дочку в сорок шестом переправили в Западную Германию. Здесь много неясного. Думаю, кто навел гестаповцев на след ребенка? Почему фашист Шустер увез Ингу на Запад?

— А что говорят сами немцы?

— Густу Арндт посмертно наградили орденом Республики. О ней помнят старые коммунисты, ее имя в почете. Я видел в музее несколько ее фотографий, писем, протоколов допроса... И фотографию ее мужа, Ингольфа Готте. Чудесный был человек, мы с ним сидели в одном блоке. Его убили при побеге из лагеря. Когда Инга подросла, Шустер втолковал ей, что Густа Арндт была настоящей арийкой, ведь это она предала ее отца, Ингольфа Готте. Все невероятно запутанно и сложно. Я так и не смог ничего объяснить Инге. Теперь у меня такое чувство, словно я перед ней виноват...

Они еще долго беседовали. Потом Анна Мусиевна принесла чай. Пили молча и думали все о том же. Было грустно оттого, что многое ушло в прошлое, кануло в бездну, и эта бездна поглотила тайну. Смерть Густы какой-то стороной касалась и Алексея Платоновича, именно теперь он почти совершенно отчетливо ощутил это, боялся сознаться самому себе в главном: ведь это Густа Арндт спасла его от верной гибели, а он, Найда, не смог в свое время спасти ее дочь. Не успел спасти. И этим обрек Густу на невыносимые страдания.

— Но ведь дочь вернулась,— сказал генерал Климов.— И, наверное, счастлива.

— Она счастлива, потому что не знает, как страдала ее мать.

— Вы правы. Не знать чужого страдания — значит уйти от этого страдания и не быть к нему причастным.

— Инга не была причастна,— твердо произнес Найда,— из-за того, что была ребенком, ничего не понимала... А вот я был... Только долго надо рассказывать...— Он вдруг поднялся, согнал с лица тень воспоминаний.— И вообще, уже поздно печалиться из-за этого. Спасибо вам, Анна Мусиевна, за радушие, гостеприимство, чудесный вечер.

Пошел в свою комнату. Присел на диванчик. Загляделся в завешенное тюлевой занавеской окно на туманно проступившие контуры соседнего дома. Напрасно он разволновался. Инга молода, энергична. И, конечно, счастлива. А впрочем, не ему, Найде, разбираться, кто счастлив, кто несчастлив. Столько о счастье написано, столько сказано, а не каждому оно достается в жизни, хотя каждый о нем мечтает, если говорить о счастье большом, о счастье настоящем. Есть у них в управлении инженер по технике безопасности — Кадера, два диплома имеет, детей своих уже на ноги поставил, трехкомнатная квартира над Днепром, сад, «Жигули»; все ему втайне завидуют: вот, дескать, счастливый, живет, будто в сорочке родился. Однако думалось Найде, что этот человек вряд ли чувствовал себя счастливым, недавно он признавался Найде чуть ли не со слезами на глазах: «Замучила меня дача, и машина, и мебель. Тому достань, тому дай, того ублажи! Знаю ведь, что в могилу ничего с собой не возьму, но как увижу, что у соседа есть,— сердце разрывается, будто рана в нем горит». Глядел на его измученное лицо Алексей Платонович, на мешки под глазами, на густую сетку склеротических жилок на щеках, и, ей-богу, было жаль человека.

Случалось, и у него кто-нибудь спрашивал: «А ты счастлив?» Он и сам задумывался, счастлив ли? Уже не молод, здоровье сдает, жена умерла. Семьи фактически нет. Другой бы на его месте загрустил, а он — нет, сдаваться пока не собирается, живет, работает, всю душу делу отдает. А стоило представить себя на верхотуре, где монтируется высотный дом, сразу из бескрайней синевы неба, с дальних степей на него наплывало ощущение окрыленности, а весь мир казался таким ясным, светлым, прони-

занным золотом солнца, и он невольно начинал улыбаться, а те, кто наблюдал за ним в эту минуту, радовались за него: у нашего Найды все хорошо!

Если бы он только мог разделить с кем-нибудь это счастье, все отдал бы, нисколько ни поскупился. Вот и сегодня приехал издалека в чужую квартиру. Два месяца живет на его половине крановщица Ольга Звагина с детьми. Дочь инженера Звагина, с которым сидел в концлагере, вместе шел на смерть,— разве он мог оставить ее в беде? Неудачница эта Ольга, мыкается по свету как перекати-поле, не может устроить свою семейную жизнь. Найда, вернувшись с войны, долго разыскивал ее по адресу, который еще в Германии дал ему Звагин. Сперва нашел село, в котором у Звагиных была родня и куда его жена перед самой войной поехала отдыхать с маленькой Олей. Село сожгли оккупанты, людей расстреляли за связь с партизанами. И никакой Ольги Звагиной. «Не ищите, товарищ майор, ее мать во рву похоронена, сестры тоже...» — «А ребенок где?» — «Верно, забрал кто-нибудь из родни».

Снова искал, упорно писал по всем адресам и инстанциям, так как должен был сдержать данное товарищу слово. Разыскал, когда она уже была замужем. Через много лет передал ей последнее отцовское «прощай». Посидели, погрустили за бутылкой вина. Ольга была стройная, красивая женщина с большими глазами, полными печали, и, глядя в них, он снова вспомнил слова Звагина: «Не покидай ее! Прошу тебя, не покидай!» Ольга жила с мужем Костиком, тихим, чернявым, приятной внешности человеком. У них уже родилась Маринка, а потом вторая дочка, все как будто ладилось в семье, получили квартиру, и Костик похвалялся, что хочет купить «Москвича», дескать, хорошо зарабатывает, деньги на машину собрал. Потом Ольга написала Найде, что Костик завербовался на стройку. Долго о нем не было слышно, потом стал присылать деньги, изредка коротенькие письма. Через год внезапно объявился: нужен развод! Якобы фиктивный. Клялся, что фиктивный. Надо для одного дела. Она согласилась, и он уехал. Через некоторое время написал, что просит принять его, что устал, измучился, хочет жить дома. Но Ольга решительно заявила: нет! И даже когда приехал, и ползал перед ней на коленях, и молил, клялся, обещал — осталась непреклонной. Пускай

уезжает туда, где хорошие заработки. А ей нужен муж и детям нужен отец настоящий. Тогда Найда перевез ее с детьми к себе: живите! При Костике Ольга работала продавщицей в продмаге — теперь не захотела. Алексей Платонович подсказал Ольге, что нужно пойти на курсы крановщиц, чтобы иметь солидную профессию. Ведь дочери растут! Было ей сорок, когда она с детьми поселилась у него. Хорошо, что Климовы свои люди, прямо как родные, а то и жить ему было бы негде.

Найда углубился в размышления, невольно прислушиваясь к тому, как в его квартире включили телевизор, послышался строгий Маринкин голос,— верно, она за что-то отчитывала свою младшую сестренку; потом они стали двигать мебель, раздался грохот — упал стул, а может, книжка, и Маринка вдруг громко засмеялась, ее звонкий смех теплым ветерком ворвался в душу Найды. «Пятьдесят четыре года — и такое горькое, нестерпимое одиночество»,— подумал Найда.

Хотелось отдернуть гардину. Никакого дождя там нет. Завтра он поднимется на десятый, двенадцатый, пятнадцатый этаж, увидит монтажников своей бригады, окинет взором синий безбрежный простор — и к чертям, к чертям этот дождь! Нельзя человеку долго сидеть в маленькой комнате, когда за стеной слышится детский смех, веселая беготня и женский голос обращается к кому-то настойчиво и нежно.

Быстро постелил себе на диване, разделся и лег спать.

* * *

Сколько бы ни минуло лет, а при слове «Визенталь» в памяти Найды и теперь возникает плечистый, в клетчатом костюме и блестящих крагах молодой немец с фашистской свастикой на рукаве. Был он рядовым врачом в клинике своего папаши Генриха Шустера, отличался необыкновенно развитым чувством арийского патриотизма, мечтал попасть под штандарты СС, обожествлял фюрера, преклонялся перед древними готскими легендами и мифами, считал себя потомком нибелунгов. Но об этом Найда узнал позднее, в черные концлагерные дни, после операционного стола, на который уложил его Шустер-старший.

С Шустером-младшим он познакомился на рассвете

22 июня 1941 года. Ласково пригревало солнце, на холмистых немецких полях переливались созревшие хлеба, день обещал быть жарким, асфальтовое шоссе издавало смолянистый сладковатый запах. Вилли Шустер, подтянутый, с солнечными бликами на крагах, в охотничьей шляпе с перышком, стоял на шоссе и ругался то ли от злости, то ли с перепугу:

— Сволочь!.. Красная сволочь!..

Он и в самом деле испытывал страх и от этого еще больше раздражался. Лицо его налилось кровью: он еще не мог понять, чем это происшествие на шоссе обернется для него в дальнейшем. Ведь он, молодой член национал-социалистской партии, вояка из местного штурмового отряда, право же, не виноват, что произошла такая нелепая авария — ясным солнечным утром, в триумфальный час начала «великой исторической битвы с большевизмом».

А быть может, виноват ты, Алексей Найда, советский парень в серой кепочке, в пиджачке из простой дешевой материи, водитель советской посольской машины? Может, недостаточно проинструктировали тебя в посольстве, не напомнили о том, что ты комсомолец, бескомпромиссная душа, работаешь не в давней добропорядочной Германии подобострастных бюргеров, среди веками устоявшегося «орднунга», аккуратности, уважительности к иностранцам, а в Германии, задымленной пожаром рейхстага, в Германии концлагерей, бесчинств, гестапо и доносчиков?

Найда вез в Берлин ответственного работника советского посольства Антона Васильевича Звагина. Из того, что повидали в пути, было ясно: не сегодня завтра, найдя подходящий предлог, фашисты обрушатся всеми своими бронированными дивизиями на советскую границу, на советские города и села.

В воскресенье, еще до рассвета, Звагин и Найда выехали из Лейпцига по главной берлинской магистрали и сразу же попали в скопление войск, бронированных машин, санитарных автобусов, маршевых колонн; их оглушил рев моторов, писклявые звуки губных гармошек и помпезные, бравурные марши, которые неслись отовсюду: из репродукторов, из военных автомашин, прямо с неба. Вся немецкая земля, казалось, гремела от этих громогласных мелодий, от них содрогались деревья, поля, каменные дома, старинные замки, их горланили молодые солдаты

с засунутыми под левый погон пилотками, раскрасневшиеся, беззаботные, нетерпеливые, как мальчишки, которые собрались на невинную воскресную прогулку за город.

— Война! — сказал Звагин, уловив несколько слов из громкоговорителя на одной из узеньких улиц городка, через который они как раз проезжали.

— А может, просто маневры вермахта? — попытался отмести мрачное предположение Алексей.

— Нет, объявлено по всей империи,— отрубил жестким, ледяным голосом Звагин, поглядывая на солдатские мундиры за стеклом автомашины.

«Значит, началось,— подумал Алексей, крепче сжимая баранку.— Вот так, с песнями и музыкой».

Найда знал, что такое война,— две недели он проторчал в лютые морозы, на ледяном ветру перед линией Маннергейма, когда их, только что сформированный полк лыжников-стрелков, бросили на прорыв. Тогда ему, водителю минометной роты, впервые довелось встретиться со смертью. Подвозил снаряды на огневые позиции, попал под артобстрел, задний скат оторвало начисто, и перекосившийся кузов завалился набок так, что ящики с минами съехали в обледенелый сугроб. Страха не было, только мучила мысль о том, что на батарее его ждут с минами, что скоро начнется артподготовка, а он застрял. Но в следующий миг предостерегающе просвистела пуля финского снайпера, и Найда кинулся за ящики со снарядами и притаился там, чувствуя свою беспомощность. Снайпер держал Найду под прицелом несколько часов, пока его самого не сняли наши стрелки, прочесывавшие лес. После на батарее смеялись — мол, финская «кукушка» чуть не подстрелила украинского соловья (у него был неплохой голос). С того дня у Алексея Найды в волосах появилась первая седая прядка.

Финская закончилась быстро. Потом был отпуск в родной Харьков, встреча с матерью в их кирпичном доме возле Сумского базарчика, вкусные утренние пирожки, прогулки по городу, кинофильмы в кинотеатре «Прогресс» и веселые вечера с девушками в скверике, напротив Шевченковского театра. Настоящую войну Алексей себе не представлял и вместе с другими беззаботно и уверенно пел: «Если завтра война, если завтра в поход...» Всем хотелось верить, что война еще далеко, возможно, ее вовсе не будет, а если она и начнется, то закончится, ко-

нечно, скорой победой наших войск и полным разгромом врага. Снова и снова в кинотеатрах показывали «Профессора Мамлока», настроение у всех было боевое, задорное. Пусть только начнут — станут пенять сами на себя!»

Но как бы задорно ни пели парни о будущей войне, где-то в подсознании уже зарождалось чувство тревоги, война давно входила в их жизнь, настраивала на суровый лад. И поэтому сейчас, глядя сквозь ветровое стекло на немецкие маршевые колонны, на полевые немецкие кухни, которые тащили толстогрудые битюги, на прицепленные к грузовикам пушки, Алексей чувствовал себя так, словно все это уже было им пережито давно, еще задолго до финской кампании. Ему казалось, что еще в невероятно далеком прошлом, когда они, мальчишки, идя в школу, забегали в Шатиловский яр пальнуть из пугача или же устраивали засады за деревянными заборами, подстерегая своих «противников» из соседнего двора, забрасывали их камнями и атаковали, вооруженные самодеятельными деревянными ружьями, тогда, вероятно, и происходила их внутренняя подготовка к суровому будущему, к настоящей войне со всей ее жестокостью, болью и страданиями, и уже тогда, рисуя в стенной газете карикатуру на Гитлера, который угрожает бомбой красноармейцу в длинной серой шинели, Алексей как бы созревал для великой и справедливой ненависти.

— Проезжай, не останавливаясь! — велел ему Звагин.

Их пытался оттеснить в сторону солдат-регулировщик с белой повязкой на рукаве, он азартно махал флажком, что-то кричал, яростно выкатив глаза, но машина покатила дальше, и регулировщик исчез в громыхающей дорожной кутерьме.

Нужно было ехать как можно быстрее, преодолевая эти, забитые солдатней, километры до Берлина. Только скоростью они могли спасти себя, избежать встречи с жандармерией. Они оказались в глубоком вражеском тылу, за линией фронта, и это вселяло чувство смертельной опасности.

Найда мельком глянул на Звагина, невысокого, сухощавого человека в очках, в кепке, хотел прочесть на его лице смятение или, может, тревогу, но тот сидел прямо, смотрел, прищурясь, вперед, и что-то упрямое и непре-

клонное таилось в его взгляде. Алексей, стараясь подавить в себе нервное возбуждение, внезапно подумал, что ничего, в конце концов, и не случилось, наоборот, все может обернуться хорошо, во всяком случае — быстрым разрешением конфликта, потому что советские танковые дивизии (в их могуществе Алексей не сомневался) остановят гитлеровские полчища, немецкие пролетарии поднимут голос протеста, Германия всколыхнется, тельмановцы-подпольщики выйдут на улицы, фашисты струсят, и Гитлер запросит мира. Пожалуй, месяц, не больше. Главное — добраться до посольства в Берлине, а там будет полный порядок. Мы еще свое покажем!

В эту минуту на большак с боковой дороги стремительно выскочил маленький грузовичок. Хотел, верно, проскочить, пока не приблизится новая танковая колонна. Зазвенело выбитое стекло, взвизгнули тормоза, небо в глазах Найды опрокинулось, и вокруг стало тихо.

— Доннерветтер! — раздался из кабины грузовичка мужской голос.

Звагин, схватившись за ногу, подался всем телом вперед, лоб его был изранен осколками стекла, и кровь густо заструилась по лицу.

Из кабины грузовичка уже выпрыгнул плечистый стройный немец в клетчатом пиджаке, охотничьей шляпе и высоких сверкающих крагах. Похоже, завзятый наци, так как на руке черная повязка со свастикой в белом кружке, выправка как у отлично вымуштрованного солдата. В глазах — испуг, рот нервно перекошен: видимо, решил, что напоролся на сановного чиновника или военного командира, и все это может ему дорого обойтись. Но, разглядев дипломатический номер, немец почувствовал облегчение, и его страх перешел в гнев.

— Саботаж на дорогах рейха! — выкрикнул он, обращаясь к нескольким штатским, с любопытством глазевшим на происходящее. Им интересно было поглядеть на русских, возможно первых пленных, на то, как теперь будут с ними обращаться, хотя они, собственно, ничего не сделали и ни в чем не виноваты.

Стройный молодой немец в крагах (люди из грузовичка называли его «господином Шустером») уже отдавал распоряжения. Чего, мол, церемониться? Русские осмелились в такой день выехать на открытую трассу да еще нарушили покой немецких граждан, повредили его маши-

ну! Он приказал перенести раненого Звагина в кузов его грузовичка, туда же приказал перейти Найде.

— Шнель, шнель! — покрикивал он.— Дер вег мусс фрай зайн! [1]

Чего-то он все-таки опасался и хотел как можно быстрее покинуть это место, слыша грохот приближающейся бронированной колонны.

— Шнель! — кричал он на парней, которые, на его взгляд, слишком бережно усаживали в кузове Звагина.

Доехали до городка с красивым названием Визенталь. Аккуратные домики были увешаны черно-красными флагами, на улицах мало жителей, возле домов и в переулках стояли военные машины, площадь полнилась звуками какого-то величественного песнопения. Услышав его, Звагин зашевелился, и в уголках его губ застыла горькая улыбка. Он сказал Алексею глухим, обессиленным голосом:

— Вагнеровский «Тангейзер»...

И закрыл глаза. Машина остновилась перед больницей — двухэтажным серым домом с большой аптечной витриной внизу. Немец в охотничьей шляпе вошел в здание, вскоре явились санитары и понесли Звагина в больницу. Что поделаешь, хотя и большевик, а надо оказать помощь; к тому же, решил, наверное, молодой немец в крагах, птица эта может быть большого полета. Шофер тоже нуждался в помощи.

Доктор Шустер (отец немца в крагах), круглолицый лысоватый господин, был весьма доброжелателен, даже предупредителен, но вел себя как-то неуверенно. С сыном его связывали, видимо, довольно неясные, напряженные отношения, и трудно было понять, кто над кем старший и кто кому должен подчиняться. Сын покрикивал, отец послушно выполнял его приказы, порой же и в его голосе появлялись властные нотки, и тогда Шустер-младший становился покорным.

Когда Звагина положили на операционный стол, чтобы загипсовать ногу, отец с сыном долго о чем-то совещались. Молодой Шустер словно в чем-то убеждал старика, с чем тот никак не хотел согласиться, и между ними вспыхнула словесная перепалка. Потом Шустер-старший

---

[1] Быстрей, быстрей! Дорога должна быть свободна! *(нем.)*

утвердительно кивнул головой, сестра подала ему марлевую повязку, ванночку с гипсовыми бинтами, и Шустер-младший, облегченно вздохнув, отошел в сторону и стал наблюдать за процедурой.

После перевязки Звагин и Найда очутились в небольшой темноватой комнате с окнами, выходившими на центральную магистраль города. Долго молчали: Звагин — лежа навзничь на кровати, Найда — примостившись у него в ногах. Их одели уже в яркие оранжевые больничные халаты, и они чувствовали себя в них настоящими узниками этой мрачной палаты.

Действительно, помещение — как тюремная камера, в коридоре, словно часовой на посту, безотлучно толчется санитар. Но самое худшее — их почти детская беспомощность и беззащитность среди этого рева танков, шума голосов и команд, несущихся с улицы, из громкоговорителей, из распахнутых окон домов и набитых солдатней машин. Найда вздрагивал от каждого выкрика, от каждой команды и все более убеждался в том, что у немцев все идет отлично: даже подчеркнутая доброжелательная обходительность доктора Шустера говорила ему о тяжкой беде, которая обрушилась на его Родину.

Непонятным человеком был старик Шустер. Возможно, сочувствовал им, испытывал жалость и даже хотел как-то помочь в беде. Во время перевязок он с бесхитростной деловитостью и обстоятельностью пересказывал им сообщения имперского радио, обрисовывал события на Восточном фронте: столько-то взято в плен русских солдат, а под Львовом немецкие танкисты разбили отборные бронированные колонны врага. Русские — молодцы, фюрер отдает должное стойкости красных, но, к сожалению, существуют жестокие законы войны, когда сила ломает силу, и тут уж ничего не поделаешь.

— Куда же теперь нас? — спрашивал Звагина Алексей, будто от этого молчаливого, сдержанного человека зависели его жизнь и его спасение. Участник гражданской, один из строителей Днепрогэса и Харьковского тракторного, инженер Звагин казался Алексею несгибаемым, умеющим все предвидеть, все понять. Только он мог найти выход из создавшегося положения.

— Шустеры, видимо, получили указание сверху,— глухо говорил Звагин.— О нас знают больше, чем мы думаем. И бесспорно, наша жизнь им не безразлична.

Найда знал, что Звагин был инженером-фортификатором с мировым именем, его работы по истории военно-инженерного дела изучались военными академиями всего мира. Шустер-младший мог сообщить начальству, кто попал в его руки, и теперь ожидал окончательного решения.

Пятый день Звагин и Найда в клинике Шустера: перевязки, осмотры, чистое белье, шум на улице и бесконечные радиосводки имперской ставки: «Доблестная дивизия генерала Дицмана овладела... После тяжелых боев гренадеры Фельдштейна ворвались в Барановичи... Немецкая армия выполняет историческую миссию...»

— Нужно что-то делать! — с растерянным видом говорил Алексей Звагину, который с гипсовой глыбой на ноге лежал в мрачной полудреме.

— Бежать,— сказал Звагин.

— С вашей-то ногой?

— Моя нога... действительно никуда... Вот и получается...— Звагин понизил голос до шепота,— что тебе одному... Иначе погибнем оба...

— Вас не брошу,— твердо заявил Найда.

— Должен, Алеша... Передам тебе кое-что... Запомни...

Найда не соглашался. Надо искать людей. Есть же тут порядочные немцы. Они помогут, спасут, сообщат, куда можно эвакуироваться.

Смешное, неуместное слово «эвакуироваться» даже слегка развеселило инженера. Он ответил с горькой шутливостью, что для эвакуации нужны плацкартные билеты, а где их раздобудешь в военное время!

Минутами Звагину становилось лучше, и тогда он пытался ободрить своего водителя. Рассказывал разные истории из своего прошлого, говорил о книгах любимых писателей, особенно о Жюле Верне.

— Если попадешь домой, обязательно прочти его «Таинственный остров». Славный был этот Жюль Верн. Верил в добро и подсказывал людям, как за него бороться.

Шутки шутками, а положение становилось все серьезнее. Немцы следили за своими пленниками, глаз с них не спускали. Установили круглосуточный пост у двери палаты. Алексея всего передергивало, когда появлялась нагло усмехавшаяся физиономия в полицейской фуражке. Не-

мец спрашивал, не требуется ли чего-нибудь «русским пленным», не позвать ли сестру милосердия или доктора.

— Мы — не плен-ны-е! — кричал ему в лицо Найда.— Мы — представители посольства... Вы за все ответите...

— О, слушаюсь! Посольство! Дипломаты! — хитро ухмылялся пожилой, с виду вполне добропорядочный немец в халате санитара и грубых, ярко начищенных сапогах.— Аллес гут! Аллес гут!

Рука у Алексея тем временем почти зажила, для таких, как он, в эту военную пору место было не в больничной палате. Найда понимал, что они в плену и не вольны распоряжаться собой.

Доктор Шустер по-прежнему был любезен, не упускал случая поболтать со своими «пациентами», радовался, что его понимали и что иной раз Алексей даже мог ввернуть одно-два словечка по-немецки.

Звагин при нем едва сдерживался и, только Шустер оставлял палату, выливал перед Алексеем всю свою горечь:

— Такие вот породили Гитлера, все эти купчики, торговцы. Они ради лишнего пфеннига готовы на любую подлость. Потенциальные преступники. А его сын — стопроцентный фашист. Вчера во время перевязки папаша похвастался, что Вилли принят в СС и на днях его назначают начальником охраны местного лагеря.— Звагин поднял голову: — Беги, Алексей! Поздно будет!

Вот тогда они впервые увидели Густу.

Кажется, она возвратилась из отпуска. Вошла вместе со старым Шустером в идеально накрахмаленном халате, стройная, бледная, с большими, как бы удивленными глазами.

Шустер указал на Звагина и коротко что-то пояснил. Она кивнула головой, то ли соглашаясь, то ли подтверждая его слова.

Позднее явилась одна.

— Я буду вашей патронессой,— стоя на пороге, проговорила строгим тоном, но в ее строгости чувствовалось что-то недоговоренное, смотрела на них долго, пристально изучая каждого.

Потом стала заходить по нескольку раз в день, а однажды явилась с Шустером-младшим. Он с ней был предупредителен, ловил каждое ее слово, мягко, но на-

стойчиво пытался ей что-то внушить. Видно, Густа была ему небезразлична.

— У меня указание от партайгеноссе Шлоссера...— сказал он ей с таинственным видом по-немецки, но остальных слов не было слышно — он понизил голос до шепота.

И снова Густа спокойно, с достоинством кивнула головой. Ясно, мол, примем во внимание. Шустер широко распахнул перед ней дверь, и они вышли.

Ночью Звагину стало плохо, поднялась температура, и он впал в забытье. Найда клал ему на лоб холодные компрессы, поил водой, а потом принялся стучать в дверь.

Дежурила Густа. Услышав стук, вошла в палату, плотно притворила за собой дверь. Лицо ее было испуганным, движения порывистыми. Такой Алексей ее видел впервые, куда девались всегдашняя выдержка, неприступность, строгость. Лицо стало милым, как у ребенка, губы вздрагивали от волнения.

— Его нужно забрать отсюда... Немедленно забрать...

Сделала укол, дала лекарство, присела на краешек кровати у него в ногах и вдруг, закрыв лицо, разрыдалась. Алексей смотрел на нее с подозрением. Что-то странное с ней происходило, ему почему-то стало жаль девушку и самого себя жаль, особенно больного Звагина.

Когда она ушла, Звагин, с трудом разлепив веки, сказал:

— Она похожа на мою Катерину. На жену мою.

И внезапно, чего с ним никогда не бывало, открылся перед Алексеем. Рассказал, что жена у него врач, славная, милая, только болеет после первых неудачных родов. Потом, уже перед самой войной, родилась у них дочка. Назвали Ольгой. В начале июня они отправились к родным на Черниговщину, там, верно, и застала их война. Что с ними — не знает...

— Екатерина — запомни. И доченька — Ольга,— проговорил он чуть слышно, совсем ослабев от своего рассказа.— Если что... На Черниговщине... Сосновка...

— Сосновка,— повторил Алексей, стараясь запомнить название села,— Ольга... Екатерина Звагины... Никогда не забуду!

Всю ночь провел Алексей Найда без сна, лихорадочно раздумывая над словами Густы и пытаясь понять, почему так странно она вела себя сегодня, что так разволновало

эту гордую, неприступную немку с большими глазами, в которых таилась печаль.

Утром доктору Шустеру доложили о состоянии Звагина, и он внимательно осмотрел больного. Новых лекарств не назначил. Найда снова напомнил ему о посольстве, о необходимости связаться с Берлином, он даже рискнул припугнуть его тем, что в Москве могут быть осложнения с немецкими инженерами.

Шустер взорвался. Этот русский смеет угрожать ему в его собственной больнице, за сотни километров от Берлина, когда по улицам день и ночь лавиной движутся войска, грохочут танки, а репродукторы приносят все новые и новые сообщения о победоносном наступлении славных армий группы «Центр» и группы «Юг»...

Однако доктор Шустер принял слова Найды к сведению.

— Понимаю, вы имеете право требовать,— проговорил он, взяв себя в руки.— Но вам нечего опасаться. Вы для нас — пострадавшие. Война на фронте. Тут — глубокий немецкий тыл.

Оставался еще один шанс — швейцарское посольство. Но на просьбу Звагина дать ему возможность переговорить по телефону с Берном (может, оттуда сообщат в Москву) доктор Шустер, болезненно скривившись, ответил отказом, хотя и не в грубой форме.

— К сожалению, ничем не могу помочь. Война!

Ночью к ним неожиданно явилась Густа: лицо бледное, испуганное. Глядя на русских, решала, к кому из них подойти и сказать то, что хотела. Длинный белый халат делал ее похожей на девочку-подростка, но глаза были необычайно серьезны.

Наконец приблизилась к постели Алексея и скороговоркой произнесла:

— Конрад передал, что вас... не отпустят...

— Не понимаю, сестра,— с трудом подбирая немецкие слова, ответил Найда и кивнул в сторону Звагина: — Ему скажите.

Она так же бесшумно подошла к Звагину. Он выслушал ее и посмотрел на Алексея. Густа поспешно вышла из палаты.

— У нас появился сообщник,— удивленно, будто не веря в это, сказал Звагин.— Даже два, если считать ее друга Конрада.

— Вы считаете, что в этой стране у нас могут быть сообщники? — с сомнением в голосе спросил Найда.

— В каждой стране есть настоящие люди.

— Что она вам сказала?

— Нас предупреждает ее друг... Не знаю, кто он... Нам, если удастся, попробуют помочь. Гестапо знает обо всем и будет действовать не откладывая.

Найда не поверил. Чепуха! Возможно, провокация. Скорее всего — провокация. Да, да, любовница Шустера хочет помочь своему дружку. И придумала этого Конрада. За несколько дней Алексей столько пережил, на такое нагляделся, что теперь все немецкое стало для него враждебным и ненавистным. Где их классовая солидарность? Где тельмановские отряды? Где подпольщики? Ни малейшего протеста, а только «хайль!», «хайль!». Кажется, нет ни одного немца, который бы при этом слове не приходил в дикий восторг.

— Дрессированные звери! — с глухой ненавистью говорил Алексей.

— Ты забыл о Конраде.

— Не верю никаким конрадам!.. Дрессированные звери!..

Звагину было трудно спорить, да он, собственно, во многом соглашался со своим молодым другом, возможно, даже более, чем тот, кипел от ненависти, горечи и разочарования и все же продолжал оставаться трезвым политиком и убежденным ленинцем. Знал, что все это ненадолго. Придет время, отворятся тюрьмы... Впрочем, спорить сейчас ни к чему... Надо надеяться, что их вызволят отсюда Густа и ее загадочный Конрад. Звагин, пересилив слабость, слабо улыбнулся и лукаво подмигнул Алексею: не стоит плохо думать о девушке с такими добрыми глазами. Особенно если она явно симпатизирует одному из них. Да, да, симпатизирует! А такие вещи иногда бывают посильнее всего прочего.

Намек не понравился Алексею, и он почувствовал себя уязвленным. Неужели инженер всерьез думает, что он, Найда, способен сейчас волочиться за немецкой девушкой? И в то же время в словах Звагина была правда. Не раз он пытался заговорить с Густой, предлагая ей свою помощь, хотел что-либо сделать для нее. И взглядом иногда окидывал ее худенькую фигурку, лицо, пухлые,

как у ребенка, губы. Мог бы даже признаться себе, что она ему нравится, хотя в теперешнем их положении это было невероятно, просто дико! И все-таки нравилась, нравилась!..

Может быть, поэтому Алексей вдруг легко согласился со Звагиным: если есть Густа, есть где-то Конрад... придет освобождение... Он с радостным облегчением начал цепляться за маленький островок своего спасения, островок веры, где можно было снова найти равновесие, ощутить уверенность, что не все немцы — фашисты и не все пошли воевать против его страны. Так хотелось не утратить под собой эту последнюю желанную твердь. Звагин, пожалуй, был прав. Все это ненадолго. За год службы в посольстве — его направили в Берлин сразу после финской, как только демобилизовался,— Алексей все-таки научился различать за внешней, словно бы для всех одинаковой, респектабельностью немцев людей различных классов. Спесивый, с высоко вздернутой головой господинчик — это одно, с ним будь осторожен, в меру вежлив, но и в меру тверд, может, даже строг, и совсем другое — иметь дело с работягами, с аккуратными трудолюбивыми рабочими, со словоохотливыми, медлительными бауэрами — тяжелые, в мозолях руки, загорелая дочерна кожа на шее...

«Видно, правда ваша, Антон Васильевич,— мысленно обратился он к своему тяжело раненному другу,— люди тут всякие. И всего можно ожидать».

Гестаповцы пока не появлялись. Не было никаких перемен ни в худшую, ни в лучшую сторону. Все те же перевязки, казенные улыбки старого Шустера, обещания что-то выяснить.

Иногда в клинику заглядывал Шустер-младший. С черной свастикой на рукаве, с пистолетом на поясе, военная выправка, солдатский шаг. И все же в чем-то неуловимом — настороженность. Пробовал заговаривать со Звагиным. Намекал на полную безвыходность, Москва и Берлин, мол, уже обменялись дипломатическим персоналом, но вы, герр Звагин, в числе тех, кто не пользуется дипломатическим иммунитетом (где-то, подлец, успел услышать и такое!). Было ясно, что инженера Звагина он держал по приказу сверху, что какие-то берлинские сановники чего-то хотели от него, что Шустеру было приказано настаивать, давить, уговаривать.

— Я им нужен как военный фортификатор, но Шустер еще не знает, как я отнесусь к этому. Я чувствую: он готовит почву.

— Ведь ваши книги переведены на немецкий! — воскликнул Алексей.

— Верно, их больше интересуют мой мозг и мои руки. Однако...— Звагин окинул тусклым взглядом свое исхудавшее тело, посмотрел на гипсовую глыбу на ноге,— ничего они из меня не вытянут.

И в его голосе Алексей уловил металлические нотки. Он невольно оглянулся на дверь — рано или поздно к ним должны были явиться из гестапо, из полевой жандармерии, от самого черта-дьявола.

Ночью снова дежурила Густа. «Это хорошо,— решил Алексей,— либо она поможет нам, либо самим нужно на что-то решаться!» План у него был элементарно простой, мог удаться, по крайней мере на первом этапе, а дальше... Дверь в коридор, как всегда, не заперта, санитар-охранник, верно, храпит под окном, и нужно только подкрасться к нему... Нижняя дверь не запирается. Найда слышал, как после полуночи заходили полицейские и звонили из вестибюля. Главное — на улицу, на свободу, а там пускай ищут...

Густа пришла раньше. Была сдержанная, резкая и одновременно какая-то растерянная.

— Добрый вечер,— проговорила она ровным, бесстрастным голосом.— Как чувствуете себя, господин Звагин, и вы, господин Найда?

Они подняли головы с подушек. Алексей даже оперся на локоть. Теперь все зависело от того, что она скажет. Поздоровается и уйдет или... И почему, собственно, пришла раньше? Почему такая подчеркнуто холодная, такая чужая?

Нет, не холодная и не чужая.

Вот она шагнула вперед, положила руку на спинку кровати Алексея, рука словно стала еще тоньше и прозрачней.

— Мой брат просил сегодня... Готовьтесь к побегу... Сегодня ночью...

«Ага, призналась, что это брат...»

— ...Я принесу одежду, а вы ждите... Старый Шустер празднует повышение своего сына... Он пьян. Может заглянуть сюда. Будьте готовы...

Она вышла в коридор, оставив после себя аромат душистого мыла.

Внизу слышался возбужденный говор, потом раздалось протяжное, немного заунывное пение, сквозь которое прорывались выкрики, смех,— и снова пение. Там ходили, передвигали стулья, кричали, спорили между собой. Что там такое? И почему так мрачно поют?

— Кого-то провожают на фронт,— тихо сказал Алексей.

— Может, поэтому «брат» и откликнулся сегодня? — чуть погодя подал голос Звагин. Оранжевый халат его был расстегнут, он тяжело дышал.

Алексей лежал, глядя в потолок. Его не интересовали песни и пьяный галдеж внизу, в аптеке, однако и он пытался связать ночную оргию у Шустеров с визитом Густы. Он старался представить себе сонно склоненную фигуру санитара (если он вообще сидит сейчас там!), тусклый свет в длинном коридоре, лестницу (ежедневно ходил по ней на перевязку в кабинет Шустера), тесный вестибюль внизу, высокие с бронзовой решеткой за стеклом двери. И внезапно мысль об этих зарешеченных дверях вызвала в нем страх, ощущение безвыходности, абсолютной беспомощности, когда можешь только лежать, как сейчас, в чистой, выглаженной пижаме (чистота в больнице была идеальной!) и ни на что не надеяться. Ему вдруг стало ясно, что они пропустили спасительное время, возможность выбраться отсюда, фронт откатился далеко-далеко, сотни километров вражеской территории отделяют их от родной земли.

Неожиданно пение внизу оборвалось, задвигались стулья, послышался властный окрик, хлопнула одна дверь, другая, третья... Алексей бросил взгляд на окно, словно ища там спасения. Ночь стояла темная, тяжелая, настороженная, не слышно было даже рокота моторов и лязга гусениц на мостовой. Лишь чернотой вливалась в окно тишина, гигантская тишина в огромном затаившемся мире.

На лестнице послышались шаги, кто-то тяжело поднимался, за ним шагал другой — легко и быстро, и Алексей сразу догадался, что это отец и сын Шустеры. После выпивки решили проведать своих пленников.

Шустер-младший вошел в палату первым, в эсэсовской форме шарфюрера он казался старше и солиднее. Отец

был в коричневом костюме — узенькие брюки, тесный короткий пиджак, сбившийся на сторону галстук, лицо бледное, одутловатое, но с сияющими радостью и гордостью глазами.

— Господа,— обратился он к Алексею и Звагину, которые встретили вошедших, неподвижно лежа на своих койках. Только Найда чуть приподнялся на правый локоть. Старый Шустер весь светился добродушием.— Господа, вы не возражаете против нашего позднего визита? Вижу, вы не спите... Простите нас, господа, но сегодня мы очень счастливы! Да, да, мы очень счастливы... У нас радостный день, господа!..

Он поставил посреди палаты стул, грузно опустился на него, расставив коротенькие крепкие ноги.

Шустер-сын, в хорошо подогнанном мундире, в скрипучих сапогах, стал рядом, положил на спинку стула руку.

— Господа,— снова повторил старый Шустер,— вы, наверное, слышали наши голоса, наше пение... У нас такая радость, господа.

Он выдержал нужную для большего эффекта паузу, глянул на неподвижное под одеялом тело Звагина, покосился на чуть приподнявшегося Алексея и лишь тогда высоким звенящим голосом сообщил, что войска фюрера сегодня вошли в Смоленск. Дорога на Москву открыта, теперь дело лишь в нескольких днях — и доблестные части Гудериана вступят в большевистскую столицу.

— Через неделю мы будем на Красной площади,— добавил с пьяной ухмылкой Шустер-младший.

— Вы слышите, господа? Через неделю! — повторил старик, радостно кивая головой. Его пухлое розовое лицо расплылось в улыбке, и он снова стал похож на добродушного доктора, а еще более — на отца, который доволен своим сыном, гордится им, даже готов молиться на него.— В такую великую минуту мой Вилли,— он похлопал сына по руке,— принят в войска СС. Верность нибелунгов в крови у каждого арийца, но доказать ее дано не всякому. Мой сын признан достойным.

Был ли он пьян, или это была просто наглость, просто вызов обреченным, безоружным узникам? Даже Вилли Шустер слегка смутился от отцовских речей. Прервал его резким взмахом руки и шагнул к койке Звагина.

— Мы пришли для деловой беседы,— поспешно сказал он, и в его сузившихся глазах блеснула настороженность.— Вы подпишете заявление... Понимаете, о чем я говорю... Несколько формальных слов, обращенных к фюреру. Вы — инженер, господин Звагин. Вы известный инженер. Вы будете служить великому рейху, и за это фюрер представит вас к высокой награде.

Вот, значит, для чего старик завел свою мерзкую болтовню о победе армий Гудериана и для чего их держали здесь почти целый месяц. Инженер Звагин должен служить фюреру. Коротенькое формальное заявление... Алексей из отдельных слов понял все. Понял, что речь идет о чем-то ужасном и невозможном, чего требуют от инженера. Именно сейчас, именно в эту ночь, когда Густа пообещала помочь, когда появился Конрад с друзьями... Оцепенев, Найда смотрел на мертвенную желтизну лица Звагина и лихорадочно соображал, что предпринять, как отсрочить беду. Ведь у них одна-единственная ночь, невозможно ее терять, такой случай никогда не повторится.

— Звагин... очень болен,— с трудом подбирая немецкие слова, произнес Найда.— До завтра, господин Шустер.

— Уже утро, я не могу ждать,— заявил Вилли.

— Оставьте бумагу... до утра...— снова попытался вмешаться Алексей.

— Найн, найн, найн! — почти истерически выкрикнул Вилли.

Быстро вынул из нагрудного кармана сложенный вчетверо лист бумаги и протянул его Звагину, который с отсутствующим выражением лица смотрел в потолок.

— Подпишите.— Он упрямо держал листок, ждал, даже ободряюще улыбался. Мол, ничего страшного, обычная подпись.

Слышно было, как слегка поскрипывают его высокие, до блеска начищенные сапоги. Молчание затягивалось, Вилли начинал нервничать. Старый доктор попробовал его отговорить, шепнул ему что-то на ухо. Сын огрызнулся:

— Я должен сейчас же в Берлин... сейчас же... до утра...— и подошел ближе к кровати. Листок опустился.— Слышите, господин инженер? Война русскими проиграна. Выбора нет. Всякий цивилизованный человек понимает,

что в такой ситуации следует выбирать благоразумный выход.

Звагин упорно смотрел в потолок. Чувствовалось, что он с трудом сдерживает себя. Были бы силы... Эх, были бы силы! У него обострились скулы и в глазах потемнело.

— Ну?! — угрожающе повысил голос Шустер-младший.

Звагин молча перевел на него взгляд. Смотрел и молчал.

У Вилли иссякло терпение.

— Вы хотите заставить меня прибегнуть к крайним мерам? — Он сжал кулаки.

Старик попробовал спасти положение и быстро пересел на край кровати. Он был весьма ловок, видно, умел выходить из сложных ситуаций. Ему вовсе не хотелось упускать такой изрядный куш: держали, держали у себя, кормили, спасали, было столько надежд, и теперь — отдавать в гестапо? — на его дряблом лице появилось выражение огорчения и боли.

— Мы спасали вас в самую трудную минуту, и вы должны нас понять,— заговорил он отеческим тоном.— Гестапо — это лагерь, тяжелые условия, возможны разные эксцессы... Подумайте: служить «новой Европе», служить европейской цивилизации... в конце концов, что может быть разумнее, господин инженер! — Он слегка наклонился к Звагину, даже погладил пухлой ладонью гипсовую повязку на ноге Звагина.— Надо всегда сохранять благоразумие...

И, сказав это, положил возле руки Звагина развернутый лист. Вот он, только остается подписать — и все.

Звагин, казалось, лишь теперь пришел в себя и как-то искоса глянул на бумажку. Закрыв глаза, тихо, осторожно сдвинул ее на край койки. Бумажка упала на пол. Ее тут же подхватил Вилли. От злости на щеках его заходили желваки.

— Фанатик, как все большевики! — прошипел он отцу.— В лагере мы ему покажем! Там он подпишет и не такое!

Рванул дверь, гаркнул куда-то вниз:

— Немедленно в лагерь!

Алексея будто вдавило в стену. Он задохнулся от отчаяния, безысходности их положения. Где же Густа? Где ее брат Конрад?.. Дюжие немцы в мундирах уже стаски-

вали Звагина с кровати, кто-то подбежал к Найде, обыскал его, обшарил кровать и тумбочку.

Когда Найду вели через вестибюль, он среди белых халатов и сонных встревоженных лиц увидел Густу. Она в оцепенении стояла, прислонившись к стене, и крепко рукой зажимала рот. В глазах ее был ужас.

Так и пошел к машине, спиной чувствуя ее взгляд, еще надеялся на чудо, ждал, что она крикнет ему вслед — и все изменится.

На улице было холодно, и Алексей зябко кутался в оранжевый больничный халат. Следом за ним на носилках выносили инженера Звагина.

* * *

Далеко видно из кабины Ольгиного крана. За Днепром, за далями сереют какие-то крохотные строения, тянутся шлейфы дымов, зеленеют лесопосадки. Вот так, позабыв о кране, смотреть и смотреть бы вдаль, и тогда покажется, будто сидишь не в тесной своей кабине, а паришь в воздухе, а под тобой — земля в застройках, в стальных блестках днепровских рукавов, и не понять, где небо, а где горизонт.

Но только в мыслях позволяет себе летать Ольга Звагина, крановщица башенного крана КБ-160, могучего сооружения, ажурной башни, где находится ее, Ольгино, ласточкино гнездо, отсюда она легкими движениями руки управляет мотором, тросами, всем движущимся остовом крана, поднимает с площадки панели, разносит их по монтажным точкам.

Чуть зазеваешься, и уже звеньевой Петр Невирко машет рукой: давай! давай! В каске, на фоне кудрявых облаков, он кажется Ольге немного забавным, каким-то игрушечным — поднял руку, и она, слившись взглядом с этой рукой, зорко следит за каждым ее движением, за каждым еще не сказанным «майна-вира», и так хочется ей, чтобы Петр на нее не сердился, чтобы все у нее получалось отлично, по-настоящему.

Она была намного старше Петра и относилась к нему, как к сыну. Знала, что он парень стоящий, работящий, уверенный в себе. Правда, немного занозистый, но отходчивый. Глаза у него добрые, доверчивые. А ведь совсем еще недавно бегал в школу в своей Дримайловке, за

Нежином. Теперь же вон на какую высоту забрался, тоннами железобетона орудует, монтирует их со знанием дела. И хотя Ольга тут как бы главная сила — ведь ее кран все это опускает, поднимает, переносит,— знает она, что на Петре Невирко лежит вся ответственность, он здесь за старшего. Бригадир, мастер, прораб — это уже где-то выше, над ними, как контроль и опека, а Петр все своими руками строит.

Хотелось бы Ольге спросить его о том, как ездилось им по немецкой земле. Для нее в самом слове «немецкий» по сей день таится что-то недоброе. Оно ей терзает душу, вызывает горькие воспоминания. Там погиб ее отец, исчез бесследно, никаких сведений о нем. Что же, времена меняются, Ольга это понимает, слава богу, что мир, дружба, что есть новая Германия... Побывал там Петя Невирко, славно поработал, как говорил Алексей Платонович, много интересного повидал. Она и по настроению Петра чувствовала, что поездка удалась, в глазах — задор, голос спокойный, работает с подъемом. А то совсем опустил руки после размолвки с Майкой. Скоро Гурский поймет, что напрасно не принял такого парня в зятья.

— Вира, вира! — кричал Петр, стоя над высоченной стеной, и, словно прощаясь с крановщицей, легонько махал рукой, и она, не глядя, ощущала этот его жест, чувствовала, будто какие-то теплые волны доходят к ней вместе с его звонким мальчишечьим голосом.— А теперь майнуй! Ну, ну, живей!.. Что, голубка, высоко свила гнездышко? Сил не хватает?

Виталий Корж по-приятельски одернул его:

— Перестань! Будешь с Найдой иметь дело. Он за Ольгу...

— Гуляй, гуляй! — блеснул глазами Невирко. И снова поднял голову к крановщице: — Так, так, еще, милая!

Он вовсе не был в веселом настроении. Опять две плиты с трещинами. Пришлось их спускать вниз, время впустую потрачено, драгоценное время. Кто им это время вернет?

Юра Сыч, молодой геодезист, тоже подлил масла в огонь, заставил после ночной смены демонтировать одну из панелей — чертовы «ночники» нарубили дров. На пятнадцать миллиметров сдвинули панель от линии разбивки, а ему, Петру, все это переделывать, переставлять... Черт

бы их побрал! Кто-то портачит, а ты за него голову подставляй, в лепешку разбивайся!

Хоть и сердит был, однако в душе доволен собой Невирко Петр! Знал, что справится и с переделками, и с перестановками, что вырастут его стены до самых облаков и перекрытия к ним приладятся как миленькие. Как оструганные дощечки, которые он склеивал, когда еще в школьной мастерской был первым умельцем в работе по дереву. Однажды как-то на районной выставке передового опыта председатель колхоза Поликарп Трофимович попросил, чтобы он в их павильоне сделал деревянный макет межколхозной электростанции: «Покажи, Петя, класс всему району!» И Невирко три дня и три ночи, никого не подпуская, возился с этими дощечками, фанерками, лаками, смастерил такое диво, что, когда открыли выставку, люди часами не отходили от экспоната. Заведующего павильоном премировали, председатель колхоза получил благодарность. И Петру Невирко спасибо сказали.

Но как же радостно, как славно видеть, что панель ложится к панели и дом поднимается все выше! Вчера был виден только лес за Днепром, вон тот зеленый продолговатый клин, который упирается одним концом в железнодорожную насыпь, а другим растекается над крутым днепровским берегом, еще вчера за лесом вроде туманы колыхались, все синело во мгле, переливалось радужными вспышками, а сегодня, как настелили перекрытие, сразу раздвинулся горизонт и стали видны маленькие белые хаты. Петр за лесом рассмотрел какое-то сельцо, светлые точки хат, деревья, колхозные строения, даже, показалось ему, заметил аккуратненький водогонный ветрячок с металлическими лопастями, и душа его устремилась туда, в ту даль, и стало так хорошо, так отрадно!

Чудной нынче звеньевой Петр Невирко, не узнают его хлопцы. То набросится на кого-то за недосмотр, то уставится глазами в небесную лазурь, и тогда будто его здесь нет. Исчез, испарился. А дело ведь не ждет. Боковую панель как раз насаживают на фиксаторы, и тут главное — внимание.

— Петь, слышишь?

Он будто проснулся и опять здесь, на посту, обвел глазами площадку, подал знак крановщице.

Молчать за работой никому не хотелось, и хлопцы все расспрашивали Петра о поездке.

— Как там, Петя, немецкие девчата? Не одной, верно, голову вскружил? — улыбается круглолицый сварщик Виталий Корж. Сдвинул назад свою защитную маску, и в глазах его прыгают чертики. Он известный шутник и балагур, за день столько наболтает, что у другого бы язык отсох.— Мы, Петя, телеграмму вчера получили.

— От кого? — решил подыграть Невирко.

— Да какая-то Гретхен просит встретить ее. Летит к тебе на скоростном лайнере. Сознайся: хороша краля?

— А тебе что? — усмехнулся Петр.— Все равно не отобьешь...

— А я попробую...

— Зря, Виталик. Тамошние девушки болтунов не любят. У них каждая минута — золото.

Виталий Корж и тут нашелся что ответить. Переглянувшись с другими монтажниками, развел руками и заявил: теперь только Петра Невирко и будут посылать в заграничные командировки, потому что он здорово умеет налаживать живые контакты не только с иностранцами, но и с иностранками. Пока старик отсыпался в гостиницах, Петр Невирко не терял времени.

Тут Виталий, видно, переборщил; говорить такое не следовало. Невирко, сразу потемнев лицом, взял его за плечо, подтянул к себе и, глядя в круглое добродушное лицо, глухо сказал:

— О нашем «старике» помолчи! Слышишь? Нам бы так «отсыпаться», как он!

— Да это я в шутку... Разве мы Батю не знаем?..

— Видно, не знаете,— прервал его Петр и добавил уже с доброй улыбкой: — Ну... а контакты с немцами — дело нужное. Там ребята крепкие, надежные... С одним я сдружился, с Юргеном, обещал приехать. Тоже учится на вечернем. И идеи есть кое-какие. С головой парень.

С Юргеном он сдружился сразу. Он первым вскочил к ним в вагон во Франкфурте, когда они на рассвете прибыли в ГДР. Лететь Невирко отказался, не любит самолетов, а у Бати сердце не позволяет. Только остановились у перрона — неожиданно в дверях двухспального купе появился плечистый молодой парень со светлыми, почти льняного цвета, волосами и немного смущенной приветливой улыбкой. «Геноссе Найда, геноссе Невир-

ко!..» По-русски так и шпарит. И — сразу к чемоданам. Направились к выходу. На перроне еще человек пять, среди них — молодая женщина с коротко стриженными волосами. Это была Инга Готте, дочь Арндт. Это все выяснилось позднее, когда уже подошли к машинам. Юрген говорит: «Товарищ Найда, эта женщина вас хорошо знает и очень любит. И вы ее тоже знаете...» Алексей Платонович сначала растерялся, а потом понял, кто она, обнял ее, поцеловал в голову, погладил по волосам, будто жалея, а она вдруг заплакала и сказала, что мамы нет в живых, она умерла два года назад. С Ингой потом Петру почти не пришлось встречаться, зато Юрген его не отпускал. Отличный парень. Не голова — компьютер. Он был у него дома. В его комнате с широкой лоджией — сплошные чертежи, схемы, на полках — книги, журналы. Живет вместе с сестрой, лет двадцати, остроносой, по-мальчишески непосредственной и прямой. Отец их умер от ран, полученных на войне, был у нас в плену до сорок седьмого, закончил в Казани школу политагитаторов и одно время был министром по экономике и восстановлению Ангальт-Саксонии. Мать и сейчас там. А Юргена с Моникой отпустила в Лейпциг пробивать себе дорогу в жизнь. Вот и пробивают. У Юргена Золотая Звезда Героя труда. Бригадиром строителей стал в двадцать четыре года. Когда Петр рассказал ему о своем проекте высотного каркасного дома, он одну идейку подбросил. Невероятное дело!.. «В твоем институте могут не поверить в реальность, но ты все рассчитай. Диагональное крепление по корпусу. Вот так.— И он одним движением карандаша провел на ватмане жирную линию.— Не по отдельным секциям, а сразу через весь корпус строения. Два диагональных крепящих элемента. Страшно?» — «Страшно»,— сознался Петр. Но мысль эта ему понравилась, и он крепко задумался. Беда только, что у Петра еще слабовато с математическими расчетами. Ясно одно: за такую идею следует побороться, тут или пан, или пропал. После возвращения домой услышал от доцента Голубовича ободряющее: «Если докажете расчетами, будем обсуждать на кафедре». Вот какие контакты у него теперь. С иностранцами и иностранками. Да разве Витальке вдолбишь такое в голову? И разве поймет он, какой трудный был у него разговор с Голубовичем после возвращения из Лейпцига?

— О чем задумался, Петя? — оборвал его мысли кто-то из рабочих.— Угости лучше ихними, пахучими.

Невирко вынул пачку, хотел предложить товарищу и тут же спрятал: мимо них тяжело ступал пожилой столяр Одинец — усы щеточкой, на голове серая капроновая шляпа. Остановился, осуждающе поглядел на молодых рабочих:

— Что же это, хлопцы?

— А в чем дело, товарищ парторг? — миролюбиво спросил Корж.

— Перекуры у вас часто. На грамм цемента — кило никотина.— Осмотрел уложенные плиты и почему-то нахмурился.— Точнее ставьте, ребята, чтобы после вас не переделывать.

— Верно, уже пожаловались Бате? — язвительно бросил Виталик.

— У Алексея Платоновича свой глаз имеется. Он сквозь бетон видит.

— Такого не бывает, Григорий Филиппович. Мистика.

— Бывает, пластинка ты неприваренная!

Это старый мастер напомнил об одном курьезном случае, который произошел прошлым летом. Нежданно-негаданно вдруг явился в субботний вечер Найда, словно его кто привел на ночную смену Петра Невирко. И сразу же велел, чтобы из нутрянки комнатную перегородку краном приподняли. А она была уже на цементной пасте, готовенькая, вмурованная. Все спрашивают — для чего? Настоял на своем. Для ревизии, так сказать. Подняли тросами метра на два и держат на весу. А бригадир карманным фонариком осмотрел низ перегородки и сразу определил: соединительные пластинки только прикручены, а не приварены, как полагается. Очевидно, Виталька Корж решил, что и так сойдет. Верхним перекрытием придавит перегородку — и порядочек. Брак небольшой, но Батя взорвался. Отчитывал, стыдил. Виталька чуть не разревелся. Все, мол, так делают, и не падает, не разваливается. «Кто все? — орал Батя.— Ты на товарищей не возводи напраслину... Ты за собой следи... Научились халтурить...— И перешел на добрый, отеческий тон: — Хлопчики вы мои милые! Как же вы так людей обманываете? Может, здесь будет жить такой же работяга, как вы. Семья у него, жена, дети, отец, мать. Он в этот дом все-

лится счастливый, что советская власть подарок ему сделала, а тут вместо подарка — обман. Разве вы не понимаете, что строить плохо — это обман? Это позор! Это... ну, если хотите... воровство, что ли!» Разошелся так, что самому плохо стало. «Батя у нас такой, всем своим существом переживает, если что случится. Жаль его, конечно. Идеалист! Наивный человек! Не понимает, что люди теперь хитрить научились, и вовсе это у них не называется обманом, и никто ни у кого не ворует» — так оправдывался Виталька Корж, когда ребята его потом стыдили и уже без Найды продирали с песочком за халтуру.

— Так вот, хлопцы,— сказал старый Одинец,— Алексей Платонович и прораб приказали: бракованные панели не ставить. Пускай они в кассетах валяются. Хватит подгонять кувалдой!

— Простой же будет,— удивился Невирко.

— План сорвем,— добавил кто-то.

— На дерьме делать план не позволяет совесть,— строго произнес Одинец, снова берясь за свой обитый жестью чемоданчик со столярными инструментами.— Ясно?

— Ясно! — весело ответил Корж.— Докладываем и мы вам, Григорий Филиппыч: ажур и три креста!

Одинец с горькой иронией посмотрел на парня, в его усталых глазах промелькнула не то печаль, не то затаенная симпатия. Хотел было идти дальше, но что-то его остановило, он снова поставил к ногам свой чемоданчик, вынул пачку «Беломора», с серьезным видом закурил и лишь тогда, с удовольствием затянувшись дымком, сказал задиристому парню, что когда о чем-то говоришь, то надо думать, а не просто болтать языком.

— Уже к словам цепляетесь,— усмехнулся Корж.

— Потому что не ажур, а аллюр три креста,— строгим тоном пояснил столяр.— Дед мой воевал в империалистическую и говорил: тогда в атаку аллюром ходили, с шашками наголо. И за хорошую атаку давали «Георгия». Крестик! Ясно?

Хлопцы стояли удивленные этой неожиданной тирадой старого мастера, которая по-новому открыла им Одинца. Не любил столяр много говорить, молчаливым уродился, а сейчас вон какую речь закатил. Заткнул рот все-

знайке Коржу. Больше шести десятков на земле прожил, всего навидался, всю войну пулеметчиком был.

Монтажники снова принялись за дело.

Когда старик скрылся в темном коридоре, кто-то сказал:

— Строгий был бы тесть. С таким не выпьешь лишнюю чарку.

— Потому и строгий, что дочка-красавица в девках засиделась,— прояснил ситуацию Корж, будто желая взять реванш за свое поражение перед Одинцом.— Вот бы тебе, Петя, женушка! А? Проводили бы дома производственные совещания со стариком, мозги бы друг другу протирали на семейном совете.

— Для моей королевы еще дворец не выстроен,— хмуро ответил Невирко.

— Заморскую ждешь?

— Не иначе как из Норвегии. Там еще не перевелись.— Невирко посерьезнел, поднял голову к крановщице: — А ну, Олечка, майнуй! Сюда стрелочку. Только тихонечко. Сажай на все четыре точки!

Болтовня Коржа внезапно испортила настроение Петру. Не любил, когда затевались такие шутки насчет женитьбы, насчет его «студенточки». Всем давно известно, чем кончилась любовь Петра к Майе Гурской, каких душевных мук ему это стоило. Любил Майю, готов был ради нее хоть на край света податься, звезду с неба достать. Уезжая в Лейпциг, хотел показать себя с самой лучшей стороны, чтобы услышала про его дела, чтобы раскаялась и пожалела о нем. Коржу легко шуточками сыпать. Никаких тебе проблем. Кино, танцы, друзья, летом — море или походы по уральским рекам на лодке. Живи себе не тужи.

Плита уже легла на раствор, весомо, могуче, закрыв собою пустоту, и весь верхний этаж вдруг стал одной широкой ровной плоскостью.

— Отвязывай! — скомандовал Невирко монтажникам, чтобы те отцепили крановые крюки от панели. Пусть поднимает вверх Ольга Антоновна, пусть дает новый элементик, а они тут и сами управятся.

Отойдя к нивелиру на треножнике, Петр оглядел через глазок уложенную панель, велел хлопцам чуть осадить ее ломом, будто хотел еще раз увериться в том, что она легла прочно и навечно. Глаза снова устремились к небу,

и далеко, за чертой города, Петр увидел блестящий корпус самолета над аэродромом, и еще шире показался ему мир, и сердце его наполнилось ощущением простора и высоты.

— Красиво садится,— произнес он задумчиво.— Вот работа: небо, солнце, полет!

— А у нас что, мало солнца и неба? — чуть ли не с обидой возразил Саня Маконький.

— У нас... Мы малость пониже самолета...

— Вот дом сдадим, премию получишь — сразу взлетишь, и солнце приблизится,— добродушно отозвался немолодой плечистый слесарь Василий Антонович Непийвода, по прозвищу Гайковерт, он всегда ходил с ним по перекрытиям, закручивая болты на соединительных пластинах. Этот немудреный инструмент легко ходил в его сильных руках.

Сегодня Петр на все реагировал со скрытым раздражением, со вчерашнего дня был не в духе после той встречи на вокзальной площади. «Только не это!» — сказала ему Майя. После всего пережитого услышать от нее: «Только не это!» Значит, не забудет его, не вычеркнет из сердца. Просто это у нее. Вчера — прощай! Сегодня — поцелуй, и слезы на глазах, и грустно-затаенное: «Только не это!»

В обеденный перерыв где-то задержался Саня Маконький — правая рука звеньевого, без него шагу не ступишь. Целый час где-то пропадал, прибежал вспотевший, запыхавшийся, с виноватыми глазами, держа что-то завернутое в газету.

Петр встретил его внизу, возле бытовки.

— У тебя что, больничный на полдня? — взорвался он, хотя должен был, конечно, прежде всего расспросить, поинтересоваться, что у него там за дела.

На веснушчатом добром лице Сани — растерянность, он спрятал за спину сверток, и это окончательно вывело Петра из себя.

— Может, другую работу себе подыскивал, пока мы тут без тебя «двойку» устанавливали?

— Извини, Петя...— Долговязый Саня показал ему сверток.— Именины сегодня у Веры, так я за цветами смотался, потому что вечером... сам знаешь...— Он развернул газету, в которой оказался букет пионов.— Думал, успею.

Горячий клубок подкатился к горлу Петра, он вырвал у Сани цветы и швырнул их на пол.

Саня вспыхнул:

— Спасибо! Так и передам Вере от тебя!..

Может, Петр наговорил бы лишнего, злого, но в эту минуту в бытовку вошел Алексей Платонович. Он понял все. Молча нагнулся, поднял цветы, старательно завернул их в газету и отдал Сане.

— Что же это вы, хлопцы, с цветами, а?.. На полу валяются... Негоже,— проговорил так, будто случайно увидел букет.— Ты, Саня, наверх ступай... ступай...

Когда остались с Петром наедине, взял его за плечи, усадил на длинную скамью у стола. И взглядом, горьким и сожалеющим, долго всматривался в лицо парня. Наконец поднялся, кашлянул, выдохнул:

— Всякое бывает, Петя. Ничего... Все пройдет!

* * *

Закончив смену, Ольга Звагина спустилась со своего крана вниз, сняла красную косынку с головы и устало провела ею по лицу. Жаркий нынче выдался денек, наработалась она. Все тело ломит от усталости. Не так-то просто целехонькую смену в том ее гнездышке сидеть да все выглядывать во фрамугу, все прислушиваться, что они, монтажники, кричат тебе. Обещали наконец установить радиотелефон, тогда, говорят, легче будет. Инженеры уже все обследовали, даже какой-то из них пошутил: «Жаль, с телефончиком-то и не пококетничаете, Олечка. Односторонняя, так сказать, связь...»

— Работа у меня такая, что не пококетничаешь,— строго ответила Ольга, не любившая, чтобы с ней заигрывали. Хоть и одинокая, без мужа живет, однако не каждому дозволено шутить с ней.

Между рядами кирпичей, между грудой арматуры и кучами строительного мусора шагают после смены переодевшиеся рабочие и девушки в модных плащах и косынках. За восемь часов немало сделано. Не зря прожит день. Были затяжные перекуры, разговоры, перебранки, у кого-то, может, и настроение испорчено, и не все ладилось с доставкой панелей, не все материалы прибывали в срок, а дом все-таки подрос за эти восемь часов, поднялся вверх, до облачка уже достает. Поглядишь снизу

на это стройное, величественное, белостенное здание — и прямо не верится: неужели это ты сделал, своими руками? Оттого и усталость кажется приятной, когда позади хорошо выполненное дело.

К Ольге Звагиной подошел Найда, улыбнулся ей одними глазами. Хотел было при ней закурить, но передумал, спрятал пачку в карман.

— Как вам живется после дальней поездки, Алексей Платонович? — спросила, смущенно улыбаясь, Ольга Звагина.

— И по ночам твой кран снился, Олечка,— ответил он не таясь.

— А мне, знаете...— голос ее зазвучал ниже, в нем послышались глухие нотки,— когда вы там были, приснилось как-то... Село наше и полицаи с бляхами... Мама будто бегает по двору, кричит: «Оля, Оля!», в поветь заглянет, в сад, в сарайчик, а немец хохочет: «Твоя Оля есть капут! И ты есть капут!» Потом стрельба началась, а баба Фекла меня за руку со двора, все тянет, все прикрывает фартушком, а немец ей вслед кричит: «Твоя Оля есть капут! Капут!» — Ольга Антоновна усталым жестом провела рукой по глазам, и в них Найде открылась такая боль, что он весь похолодел.— И отчего такое до сих пор снится? Когда ворвались немцы с полицаями, нас с бабушкой в селе не было. В лес ходили по грибы, оттуда уже услыхали, что стреляют. Дым увидели. В лесу потемнело... А снится так, будто и меня в ров тащили. Отчего это, Алексей Платонович?

Они пошли вместе домой. Никогда прежде так не случалось: чтобы вместе, и Найде было приятно идти с ней рядом, ощущать ее так близко. Как она стала ему дорога за эти годы!

Сели в автобус. Ехали в тесноте, прижатые друг к другу, избегая разговоров и в то же время чувствуя неловкость от молчания. Вот и тихая улочка пригорода, где кирпичные коттеджи, где садики кудрявятся за аккуратным штакетником, а дорога неровная, в рытвинах, с вывороченными кое-где булыжниками.

Вот и дом Найды, сложенный из красного кирпича, с острой крышей, с маленькими окошками, с двумя крылечками по обе стороны. Во дворе на козлах опрокинутый скутер, днище тщательно прошпаклевано, покрашено, вокруг желтеют на земле стружки, какие-то дощечки,

рейки. Все это смастерил сам Алексей Платонович, он завзятый рыбак, любит Днепр, любит в одиночестве порыбачить где-нибудь у крутого берега, когда утренняя заря только разгорается, бросая первые алые отблески на речную гладь. Нынешним летом побывал Найда со своим корабликом даже на Черном море — получил специальное разрешение на проезд через все плотины и шлюзы. Вот уж натешился красотой и сердце свое малость подправил.

Ольга Антоновна задержалась у ворот, хотелось продолжить разговор. Знала: пройдет Алексей Платонович на половину Климовых — и не увидишь его до завтра. Стесняется ее, что ли.

— Сегодня хлопцы были не в форме,— проговорила она, лишь бы что-то сказать.— Петро сердитый, на всех кидается. Слышала: Виталий хотел его развеселить, да все напрасно.

Найда рассказал про случай с цветами, которые принес Саня Маконький. Грубо, нехорошо поступил Петр. А ведь такой деликатный с товарищами, всегда готов сделать для них доброе дело. Когда были в Лейпциге, он все свои марки и пфенниги истратил на подарки. Купил какие-то особенные очки для Сониной матери. Витьку Коржа модными галстуками одарил. Бескорыстный иарень. Когда вышел на соревнование с Крайзманом и ему дали в помощь немецких рабочих, посмотрела бы ты на его лицо! Небось думал: где мои ребята? Что я без них могу? Ведь я с ними — одно целое.

— И все-таки победил? — удивленно спросила Ольга.

— По-разному бывало,— ответил Найда.— Юрген тоже сильный мастер. У них хорошо с ритмом, точнее стыковка получается. Но наших темпов они не выдерживают.

Алексей Платонович мог бы рассказать еще и не такое: однажды во время монтажа началась гроза, хлынул ливень, засверкали молнии. Светопреставление, да и только! Немцы сразу же в укрытие, дескать, не положено, опасно, бетон скользкий, техника безопасности и прочее... А Петро продолжал вкалывать дальше, и его подручные остались с ним, не изменили своему новому бригадиру. Три часа выиграли. Правда, риск был, но они выиграли. Эти три часа Петру зачлись как особая заслуга.

Крайзман заметил: самый лучший способ проявить мужество — это строить дома при любой погоде.

Бригадира беспокоил молодой монтажник Невирко, его сердечные дела, которые тот никак не мог наладить. Отсюда — раздражительный тон, срывы... даже на работе.

— Не знаю, как вы, Алексей Платоныч...— тихо сказала Ольга,— но я рада, что у него так получилось.

— С Майей?

— Да. Девчонка взбалмошная, любит, чтобы парни за ней увивались.

— А какая девушка этого не любит?

— Всему есть мера. Надо, чтобы по-хорошему, разумно.

— Какой там разум в любви! — воскликнул Найда и застыдился.— Он в Лейпциге письмо Майе написал. Сидели как-то в номере, он меня спрашивает: посылать или нет? Написал, что тоскует, готов ей все простить, только бы откликнулась.

— И вы, конечно, отсоветовали?

— Ясно, отсоветовал.

— Правильно! Ничего не выйдет у них хорошего,— бросила Ольга.— Да и ни к чему это сейчас Петру. Он ведь на заочном. Ночь просиживает над конспектами.

— Инженер из него выйдет хороший. Показывал мне проект дома в сорок два этажа.

— Сорок два? — даже всплеснула руками Ольга.

— Крайзман подкинул ему такую задумку, вместе кумекали над ней,— гордясь своим звеньевым, сказал Найда.— Диплом будет защищать по этому проекту.

Стояли у ворот, чувствуя себя неловко, так, будто не знали, кто же тут, собственно, гость, а кто хозяин и кому первому уступать дорогу. Наконец Ольга Антоновна решилась, прошла к веранде, поднялась на ступеньки, отперла дверь. Найда остановился у ступеней внизу.

— Зайдите, Алексей Платоныч,— пригласила его несмело.— Сейчас в садик сбегаю за Наталочкой, а Марина еще на продленке в школе.

Он колебался, стоял в нерешительности.

Тогда Ольга взяла его за руку и с чувством сказала:

— Почему вы не хотите зайти в свой дом?.. Загляните, Алексей Платоныч. Дети вам будут рады.

Преодолевая смущение, сжала его большую сильную руку. А глаза говорили: зайди, побудь с нами... Но по-

вторить приглашение она не решилась — и так уж наболтала немало, негоже женщине так открываться перед мужчиной.

А он надеялся, что она еще предложит ему зайти. Готов уже был согласиться заглянуть на минутку. Ведь это его дом. Все вещи его тут, и рубашки, и чертежи, и книги. Как привез Ольгу с девочками из Шполы, где она жила после развода с мужем, так все и оставил тогда. Взял одеяло, простыни, носки и — живите себе на здоровье, а он пока будет у Климовых. «И не тревожьтесь, Оленька! Считайте, что мой дом — ваш. Мне много не нужно». А она, тронутая его великодушием, только кивала головой и с трудом сдерживала слезы.

— Вот что, Ольга Антоновна,— произнес он наконец, не дождавшись нового приглашения. Невольно стал говорить ей «вы», чувствуя перед этой женщиной робость и смущение.— Живите, сколько нужно, и не волнуйтесь обо мне. Я ведь у Климовых, за стеной,— показал он на вторую половину дома,— так что совсем рядом. После смерти Галины Авксентьевны я привык к одиночеству. А вы детей своих берегите, и чтобы никаких сомнений. Лишнее. Ни к чему это.

— Разве ж я вам не верю! — сказала Ольга.— Вам за доброту спасибо.

— Детей, главное, берегите, и на кране у себя...— Он бросил взгляд на ее легкий пиджачок в полоску, летнее платьице.— Теплей бы одевались. Осень уже, сквозняки. Болезни никому добра не приносят.

Он перешагнул через низенький, скорее символический заборчик, который делил усадьбу на две части, и стежкой направился к крыльцу Климовых. Генеральская чета, верно, давно ждала его к ужину.

А Ольга Антоновна, поднявшись на веранду, плотно притворила за собой дверь, и ее охватило горькое чувство одиночества. Бессильно опустилась на стул возле кухонного стола, оперлась головой на руку. «Почему он избегает меня? — подумала с грустью.— Некрасивая стала? Или моих детей испугался? — Машинально достала зеркальце и с неудовольствием провела пальцем по морщинкам на лбу, по вискам.— Некрасивая, знаю... Никому не нужна...— Прикрыла зеркальце рукой, будто стыдясь своего лица, и мысленно прошептала, как мольбу: — Не забывайте о нас, Алексей Платонович...»

* * *

Найда сидит за вечерним чаем у своего друга Афанасия Панкратовича. Что-то чисто военное, генеральское есть и в фигуре Климова, и в густой смолянисто-черной бороде (еще ни одной сединки!), и в жестах, и в голосе. На нем неизменный, хотя и порядком изношенный китель, который и теперь еще подчеркивает выправку хозяина. Невысокий, жилистый, с сухим лицом, он до сих пор полон энергии и молодого задора.

Говорили они возбужденно, даже с нотками некоторого раздражения. Видно, генерал все-таки решил сказать Найде всю правду, камнем лежащую у него на сердце. Ведь они друзья, зачем же таиться!

— Вы говорите — люди осудят? — гудит он, выставив вперед свою бороду.— Разве порядочный человек не поймет? Не оценит по-настоящему?

— Уже языки чешут, Афанасий Панкратович.

— И будут чесать, пока вы будете вот так, через стенку... Вы же давно тянетесь друг к другу, я вижу. Не понимаю, что вам мешает?

— Возраст, дорогой друг...

— Ну, знаете, на старика вы не больно похожи...— усмехнулся Климов.

— Она ведь совсем еще молодая, ей бы красивого молодого мужа...

Из соседней комнаты вышла жена Климова, принесла на блюде домашнее печенье, поставила посреди стола. На таких женах, как она, обычно держится дом, от них — и порядок, и согласие. Глаза ее светятся теплотой, искренностью.

— Ольга Антоновна — сама доброта,— с ходу включается в разговор генеральша.— Вся в своих детях.

— Есть у нее еще одно дитя — кран,— попытался перевести в шутку слова хозяйки Найда.— Поглядели бы, как она командует им.

— Значит, деловая женщина, с ней и жить легко, потому что любит труд и копейку не станет транжирить,— сразу выложила свои аргументы Анна Мусиевна.

— Уважают ее в управлении: премии, награды, скоро, может, и орден получит.

— Господи! Чего ж вам еще нужно?

— Не знаю. Наверное, уже ничего,— словно откре-

щиваясь от всего, сухо ответил Найда, вконец смущенный словами генеральши.— Мое дело дома строить да с Гурским воевать.

— На это у вас сил хватает, слава богу,— заметил Климов.

Гурского генерал Климов считал человеком опасным, стопроцентным демагогом, умеющим отлично маскировать свои истинные намерения. Найда в сравнении с ним наивен и прост. У того на первом месте «интересы государства», «план», «требования свыше». Найда же вечно твердил о «совести», о «чести», о том, что еще дед его бил каменщиков, которые криво сложили ему плиту в хате, а что теперь, мол, все норовят свалить на технику, на машины, на государство. А однажды Алексей Платонович заявил на совещании, что ему лично надоели разговоры о героизме и ночных авралах, пора, дескать, создавать такие условия, чтобы работать можно было без штурмов и лихорадки, чтобы комплекты регулярно поставлялись на стройплощадку. «Ваше неумение руководить, товарищ Гурский, стоит молодым рабочим бессонных ночей, пропусков занятий в вечерней школе, нервотрепки из-за плохих плит». Тут Гурский разошелся! Он умел защищать свои позиции, а тех, кто любит «ровненькую», «спокойненькую» жизнь, называл не иначе как «демагогами» и «мещанами».

— Жалко только, что я как-то сдал в последнее время. Годы, видно, берут свое. Да и одиночество сказывается... Неустроенность в семейной жизни.

— Рано вы в старики записались, Алексей Платонович,— с женской прямолинейностью заявила Анна Мусиевна,— жениться вам надо, и все...

— Нас, фронтовиков, нынче причисляют к самому старшему поколению. Знаю ветеранов, которые молодятся, ордена свои не больно выставляют напоказ.

— А мой Афанасий Панкратович гордится своими боевыми наградами.

— Афанасий Панкратович — прославленный генерал!

Климов скромно откашлялся, махнул рукой.

— Хватит об этом. Все мы одинаково тогда смерти кланялись.

— Не хватит, товарищ командарм! — повеселел Найда, радуясь, что удалось переменить тему разговора.— Вы полмира прошли, Прагу освобождали.

Тема была затронута важная. Климов хоть и не любил говорить о своей персоне, а как только речь заходила о войне — весь преображался. Его армия едва ли не первой ворвалась в осажденную фашистами столицу Чехословакии. Да и потом не раз еще случалось смотреть смерти в глаза.

— Помню, с американцами мы уже обменялись рукопожатиями, провели демаркационную линию, вроде бы мир, живите, добрые люди, спокойно. Как вдруг немцы идут на самоходках, и пехота ихняя, СС, прет на прорыв. Нелегкий бой выдержали напоследок. Один американский генерал, очень молодой, обнимал меня потом, клялся в вечной дружбе, даже нацепил мне орден «За отвагу в штыковых атаках». Есть у них такой орден, стоящий, скажу вам. И я вроде его заслужил. Возле своего же штаба бой принял. Против эсэсовцев с комендантской ротой дважды ходил в атаку.

Генеральше воспоминания мужа больно резанули по сердцу. Она прошла вместе с ним не одну фронтовую дорогу: у нее у самой есть ордена и медали, телефонисткой служила при стрелковом батальоне. Однажды, когда они ехали на «виллисе» в штаб армии, на них случайно наскочил немецкий отряд во главе со стареньким генералом, на котором, как на палке, болталась длинная шинель без пояса, на носу — круглые в оловянной оправе очки, вместо дужек — веревочки за ухом. То ли с перепугу, то ли от усталости генерал вытянулся в струнку перед советским офицером и попросил взять его часть в плен. Дескать, Гитлеру капут, а он хочет передать свой штаб и документы советскому командованию. Сейчас трудно даже поверить такому...

Снова заговорили об Ольге Антоновне.

— Ее отец, кажется, вместе с вами был на фронте? — спросила генеральша.

Найда даже вздрогнул от неожиданного вопроса. Еще и теперь он как бы чувствовал свою вину перед Звагиным.

— Да, мы были в лагере... Нас обоих в первый же день войны интернировали гитлеровцы. Под Лейпцигом. Там же он и погиб. Ольгу я разыскал уже после войны.

— Бедная! — покачала головой Анна Мусиевна.— Одна детей воспитывает.— И, придвинув стакан чаю, при-

бавила: — А вы чего тянете? Чего выжидаете? Разве чужие дети — помеха?

— Я... Не тяну, Анна Мусиевна,— выдохнул Найда.— Слишком стар для нее... Что люди подумают? Скажут: «Привез молодую, воспользовался ее бедой».

Тут Климов, лукаво глянув на свою дородную супругу, произнес, словно делясь со своим другом мужской тайной:

— Ничего не скажут, а позавидуют, дорогой мой. Говорю вам от чистого сердца: позавидуют!

* * *

Ольга Антоновна уложила дочерей спать. Старшая, Маринка, сказала рассудительно, как взрослая:

— Мама, он тебя не любит?

— Не знаю, Мариночка.

— Ну и пусть, ну и пусть!

— Хочешь, чтобы он стал твоим папой?

Лицо у Маринки стало серьезным. Подперев рукой щеку, она сказала:

— А что он нам такого хорошего сделал?

Для девочки дядя Алексей и вправду человек чужой, молчаливый, вечно озабоченный своими делами. Правда, он хорошо относится к маме, но в гости к ним не ходит. Девочка ждала, что ответит ей мать. Но вот она со свойственной ее возрасту беспечностью начала веселиться. Упала на постель, кувыркнулась через голову, крикнула:

— Мы другого найдем! Другого! Лучшего!

Ольге стало не по себе.

— Не смей так говорить! Не смей, говорят тебе!

— И пошутить нельзя. А почему же дядя Алексей к нам не приходит?

— Придет, доченька,— пообещала Ольга Антоновна.— Завтра скажу ему, что ты соскучилась. Он и придет.

— И я соскучилась! — пискнула из-под одеяла младшая, Наталочка.

— И от тебя передам, Наточка. Только спите спокойно,— потеплевшим голосом сказала Ольга.— Вот приберу на столе и тоже лягу. Спите, детки.

Она принялась вытирать пыль с подоконника, поправила на столе чернильный прибор, вытерла розовый аба-

жур. Аккуратно сложила газеты и письма, которые отовсюду пишут бригадиру Найде: из Москвы, Иркутска, Варшавы... Она взяла одно из них, присмотрелась внимательней и сразу нахмурилась. Письмо было с заграничными марками.

Старшая дочка, которая еще не спала, спросила:

— Кто нам пишет, мамочка?

— Не нам. Это немецкое письмо... Лейп-циг,— прочла по складам.

Маринка мгновенно села на диване.

— Мама, а ты немцев любишь?

— Немецких фашистов не люблю, Мариночка. Они твоего дедушку убили и село наше сожгли. Мы с бабой Феклой только и остались в живых. Но есть другие немцы — хорошие. Вырастешь — все поймешь.

Ольга Антоновна поколебалась минуту, затем, поцеловав дочек, взяла письмо и пошла с ним к Найде на генеральскую половину.

* * *

Когда она подала письмо Найде, тот словно бы даже испугался. Взял конверт, и Ольга Антоновна заметила, как он внезапно побледнел. Быстро вскрыл конверт, вытащил листок. Был и взволнован, и обрадован. Наконец догадался предложить Ольге сесть. Молча указал на диван.

— Спасибо, я постою,— сказала она. Ей было любопытно, кто пишет, почему так разволновался Алексей Платонович. Давно пора ей забыть о прошлом, а она все не теряет надежды, все ей чудится голос отца. Может, и не голос его, а хоть какая-то весточка о нем...

Найда пробежал глазами первые строки и бросил нетерпеливый взгляд на Ольгу Антоновну. Пускай бы уж села. Чуть ли не силком подвел ее к дивану, усадил.

— Юрген Крайзман, тот, о котором я вам рассказывал...— принялся он объяснять, словно оправдываясь перед женщиной.

На пороге появился Климов в тренировочном костюме и в тапочках на босу ногу.

— Послушайте, Афанасий Панкратович, что мне пишут: «До сих пор вспоминаем дни вашего пребывания у нас. Скоро и мы приедем на Украину. Вы нам показали

много полезного, а теперь хочется своими глазами увидеть, как вы строите дома. Да и соревнование наше без живых контактов не очень сдвинется с места. Про фрау Густу ничего нового узнать пока не удалось. Правда, один бывший политзаключенный, который знал Густу, собирается выпустить о ее героической жизни книгу. Я уже дважды встречался с этим человеком. Хорошо помнит вас, даже прослезился, когда зашла речь о концлагере. Говорит, что вы спасли ему жизнь, защитили от какого-то Шустера...»

Найда положил письмо на стол, задумчиво поглядел на исписанный листок. Кому это все нужно? Разве что Инге? Но даже она едва ли будет особенно рада новым подробностям... Вспомнил, что на перроне Инга как бы избегала разговора о матери. Видно, тяжело ей...

Ольга Антоновна тихо встала и скрылась за дверью. Климов, сдержанно кашлянув в кулак, незаметно вышел из комнаты. Лишь бумажный листок печально белел на столе, и страшно было притронуться к нему, словно он таил в себе что-то недоговоренное.

Он думал: разве помнит она, эта светловолосая девушка, зимнюю морозную ночь сорок шестого года, когда Шустер бежал из Визенталя, когда горел сиротский дом, когда наши солдаты преследовали его шайку?.. Найда мысленно перенесся еще дальше, в ту зловещую ночь, когда Густа прибежала в клинику Шустера и помертвевшими губами прошептала: «Готовьтесь к побегу...» Бедная девушка с красным крестиком на шапочке сестры милосердия исчезла тогда, чтобы через год вернуться в другой форме, в страшной форме эсэсовки. Густа, Густа, что же произошло с тобой? И почему перед смертью не сказала последнего слова?

* * *

С утра шел дождь, серое небо, словно затянутое дымом печей крематория, давило, угнетало, от него веяло холодом смерти, каменный карьер тоже вселял ужас.

В полдень охранники подали команду отдыхать, и Найда, вконец изможденный, в своей полосатой хламиде, в грубых брезентовых, на деревянной подошве башмаках, упал навзничь на землю. Думать не было сил, чувствовал себя способным лишь на то, чтобы безучастно смот-

реть в небо. И еще у него хватало сил, чтобы чувствовать свое тело, боль и ссадины на руках и ногах.

Временами вдруг вспыхивало воспоминание — причудливая цепочка дней, ночей, месяцев, перенесенных мук и утраченных надежд: второй побег, разумеется, не удастся. Для второго побега у человека просто не хватает сил. На сей раз судьба может вынести свой окончательный приговор: пулю в спину, виселицу на плацу или медленную смерть в каменном мешке около главной канцелярии...

Их увезли ночью из больницы в небольшой лагерь под Визенталем и бросили в холодный затхлый погреб возле лагерной кухни, чтобы утром учинить первый настоящий допрос. Наверное, еще думали, запугав, заставить инженера Звагина перейти на их сторону. Он был им очень нужен, о нем знали в Берлине, в главном управлении безопасности. Поэтому их и не повели сразу в лагерные блоки, к другим узникам, оставив им какой-то резерв надежды: вы здесь временно, и мы надеемся на ваше благоразумие, инженер Звагин!

Ночью Звагин пришел в сознание и, как это бывает в критические минуты, почувствовал себя способным к действию. Они лежали в темноте, на деревянных нарах, маленькое оконце было открыто, и из него тянуло сыростью. Звагин словно нутром почуял, что снаружи никого нет, перед оконцем только какая-то темная куча (после выяснилось, что это был уголь) — и мрак, мрак, мрак... Звагин будто весь потонул в нем, погрузился в эту волглую тьму. Вцепившись в подоконник, прислушивался с минуту и шепотом сказал, что именно сегодня, сейчас нужно попытаться бежать, так как другого такого случая не предвидится, их бросили без надзора, о них забыли, а может, лагерь еще по-настоящему не оборудован, нет надлежащей охраны, и этим нужно немедленно воспользоваться. В оконце они увидели невдалеке обыкновенный деревянный забор, правее какие-то ворота, будку с часовым, слабый свет, льющийся из-под двери; оттуда доносился негромкий говор и смех, изредка дверь открывалась, и тогда полоса света прорезала темень, как свет паровозного фонаря. Сейчас, только сейчас! Найда подсадил Звагина, вытолкнул его в окошко, вылез сам и сразу же, стоя на коленях, ощутил под руками мокрую жесткую траву. Похоже, осока, что растет в болотистой мест-

ности. Значит, где-то близко есть болото, глухие мочажины, и если им удастся перелезть через деревянный забор... Если им выпадет счастье одолеть этот единственный барьер...

Ползком двинулись к ограждению. Звагин тяжело дышал, и Найда, подхватив его к себе на плечо, потащил что было сил вперед, дальше от зловещего погреба, от их первого заточения.

Вдруг в будке часового отворилась дверь, и в ясном проеме четко обозначился силуэт человека в длинной шинели, без пилотки, с ведром в руке. Охранник зашагал куда-то между бараками, видно набрал воды, и появился снова. «Интересно, как поживает советский инженер? — сказал он кому-то в раскрытую дверь.— Я бы охотно вылил на него это ведерко». Он еще минутку постоял, словно раздумывая, может и вправду намеревался подойти к окну и облить водой Звагина,— разумеется, ради забавы, ради удовольствия. Ведро было полным, оно оттягивало ему руку, он стоял и переговаривался с кем-то, кто находился в караулке, потом поднялся по ступенькам и затворил за собой дверь.

Найда, продрогший, послушал еще минуту и потащил Звагина дальше. Ему не было страшно, ему было даже любопытно, что могло бы произойти. Если бы этот паскудник приблизился к ним с ведром, он, Найда (уже нащупал рукой камень), расколол бы ему череп. Даже стало жаль, что тот не подошел, словно предчувствуя смерть. Ну и ладно, ему суждено жить, а им — спасаться.

За забором был молоденький сосняк — они поползли, миновали какую-то ложбину и оказались возле топи: то ли это было лесное болотце, то ли какой-то ручеек, и вокруг него — густая трава, кусты, низкая ольха.

Пробирались всю ночь, путались в топких котловинах. Какое-то внутреннее чувство подсказывало самое верное направление — туда, где нет людей, нет жилищ, где только темень и непролазные дебри. Путь их был бесконечен, и казалось, что они прошли сотни километров. И думалось с облегчением: они совсем одни во всем мире, и мир этот, окутанный мраком, будет таким всегда, и никакой Шустер не сможет их настигнуть.

Но солнце все-таки взошло. И когда первые мглистые лучи легли на землю, на кочковатый луг, Найда с тоской увидел невдалеке широкую заасфальтированную дорогу.

В отдалении стояло несколько грузовиков, мотоцикл с пулеметом в коляске, солдаты вокруг него, и еще по всей линии были видны фигуры людей с автоматами в руках. Значит, их здесь ждали, отлично зная, куда они в конце концов выйдут. Тот, что собирался вылить ведро воды в их погреб, вовремя поднял тревогу, зря они его там не прикончили.

Как только солнце поднялось выше, со всех сторон послышался собачий лай. И сразу же от большака полоснули автоматные очереди, защелкало, засвистело, весь воздух, весь белый свет заполнился пулями, и автоматчики от шоссе редкой цепью двинулись по кочкам.

— Не дамся живым,— сказал Найда, лежа среди кустов лозняка. Он держал в руке камень, будто это было оружие, которым можно было обороняться, чтобы дорого отдать свою жизнь.

— Пусть берут живыми,— спокойно ответил Звагин.— Мне осталось чуть-чуть... а ты живи, борись!

Он первый поднялся на слабых ногах, замахал руками, словно хватаясь за воздух и подавая знак, что сдаются. Всех его сил, казалось, только и хватило на этот взмах, больше он не мог стоять и лицом упал в болотную жижу. Тогда Найда, слыша, как по кочкам с лютым лаем мчатся овчарки, понял, что все может закончиться раньше, чем подбегут солдаты, упал на безвольно распростертое тело своего друга. Обеими руками обхватил его, вдавил в землю и так замер, ожидая нападения разъяренных псов.

Кто знает, что учинил бы над ними начальник охраны местного лагеря Вилли Шустер, взбешенный их побегом, непокорством, их отказом подчиниться его требованию. Возможно, их растерзали бы у болотца эсэсовские овчарки или кто-нибудь из стражников прошил бы автоматной очередью. Но пленники уже не принадлежали ни лагерной администрации, ни взбешенному Вилли Шустеру. Судьба Звагина с определенной минуты стала частью большой политики: Берлин приказал передать его в распоряжение немецкого генерального штаба.

Звагина понесли на носилках, прикрыв грубым одеялом, и, когда Найда, придя в себя, из кузова машины в последний раз глянул на бледное, безжизненное лицо своего товарища, ему показалось, что в глазах того блеснули слезы. Звагин тихо, почти беззвучно что-то

шептал. Это, вероятно, были его напутственные слова, которых Алексей не разобрал.

Его перегоняли из одного лагеря в другой, он настрадался и намучился так, что и вспомнить страшно, но ни на миг не забывал инженера Звагина, его глаз, что так молчаливо молили ничего не прощать и, если выпадет счастье, разыскать жену Катерину, доченьку Ольгу и не бросать их, горемычных, на произвол судьбы.

Найда пробыл в разных концлагерях более года. Возможно, в канцелярских гроссбухах пунктуальных немецких писарей было все это зафиксировано. Искорка живой мысли, тлевшая в нем, временами вспыхивала, и он сознавал, что еще существует, и, следовательно, время должно привести все к какому-то исходу.

Рядом на мокрой дресве лежал его немецкий товарищ Ингольф Готте, рурский шахтер: плечистый, высокий, с крутым упрямым лбом. Он принадлежал в подпольному лагерному центру сопротивления и не имел от Найды секретов. Оглядевшись, Готте тихо сказал:

— В лагерь прибыл новый комендант. Говорят, будут уничтожать всех слабых.

В лагере действительно появился новый комендант, но Найда равнодушно принял это известие. Мало ли у них менялось начальства: были жестокие, деловые, корректные, озабоченные, ленивые. Но все требовали одного: железного послушания и безотказной работы в карьере, в станционных пакгаузах, в ближнем лесном хозяйстве, куда их водили заготовлять на зиму дрова. И вот опять новенький. Какой-нибудь вымуштрованный зверюга. Будет снова мучить их на аппелях и собственноручно устраивать расправы... Все они одного поля ягоды.

— Комендант знает тебя,— продолжал немецкий товарищ.— И меня тоже.

— Кто... он?

— Вилли Шустер. Тот самый Вилли Шустер, который хотел сделать карьеру на инженере Звагине. Тогда ничего не добился. Но у берлинских сановников числится на хорошем счету.

Найда внимательно слушал. Появилось чувство любопытства. Даже удивления. Возможно, даже желание увидеть Шустера. Просто попасться ему на глаза. Удивляетесь, герр Шустер? Помните вашего отца, его клинику, его перевязки? Папа у вас был либеральным и даже со-

чувствовал нам. И девушка у вас была очень милая, помните, герр Шустер? И кочковатый луг, овчарки, крики автоматчиков, обессиленный Звагин, распластавшийся среди болотных кочек, потом удар по голове и звонкая черная тишина. Все припомнилось. И снова мелькнула мысль: все же интересно было бы повстречаться...

Они так давно знакомы, им есть о чем поговорить. Не сомневался Алексей Найда, что вместе с Шустером прибыла в лагерь и его, Найды, смерть,— может, с самыми тяжкими истязаниями, на которые Вилли, говорят, мастер. Жаль, что они не успели, что не завершат своего дела. Начали собирать оружие: по винтику, по проволочке, по железке. Капо Алекс — из своих, сумел войти в контакт с одним из пожилых охранников и понемногу приносил им в шестой блок разный ржавый хлам из свалки за кухней. Кое-что удалось раздобыть через подпольщиков в городе. Станислав Завойский — поляк из вольнонаемных, отчаянная молодая душа, безрукий инвалид, к которому немцы относились как к никчемному шелудивому псу,— тоже помогал: бывало, украдкой оставлял у блока то гильзу от патрона, то кусок тола, а однажды подбросил даже миниатюрный дамский пистолет, неведомо где добытый. Все до времени закопали под нарами Ингольфа, чтобы в урочный час взять оттуда, в тот последний час, когда не будет иного выбора: смерть или бой!

— А откуда он тебя знает? — вяло спросил Найда.

— Старые знакомые,— ответил немец.— В тридцать девятом мы были с ним в одном спортивном обществе, и он на меня поглядывал. Кажется, уже тогда служил в гестапо.

— Списки большие, может и не заметить.

— У него собачий нюх, он сам все проверяет. До всего докапывается.

— Тогда надо скорей... дальше медлить нельзя, Ингольф...

— Нет, рано, рано,— покачал лобастой головой немец, приподнялся на локте, и глаза его устремились в туманную даль над лесом.— Надо иметь несколько мундиров, хотя бы две обоймы к пистолету и еще гранату. Одной мало. Когда начнется катавасия возле машины, нужна вторая граната. Скоро нам достанут. Алекс обещал в ближайшее время.

Тянулись тревожные дни. Найде уже не хотелось попадаться на глаза коменданту.

Вот начнет проверять списки и, как только увидит его имя, потащит к себе: «Чего притаился тут? Думал спрятаться от меня, шкуру свою спасти?» Говорят, этот Шустер лютует все больше, даже лагерные охранники его боятся. Мстит заключенным за поражение под Сталинградом. Прибыла колонна с востока, пленные словацкие партизаны: изможденные, оборванные, измученные голодом и жаждой. Их вывели на главный плац и стали расстреливать на глазах у всего лагеря: каждого третьего, каждого третьего. Шустер потом ногой переворачивал трупы и добивал живых из пистолета. Целился прямо в глаза, боялся, чтобы не открылись и не глянули на него в предсмертной муке. Почему-то убийцы всегда боятся глаз своей жертвы, давно слышал про это Алексей Найда. Когда кулаки в их селе убили молодого почтальона-комсомольца, они тоже выкололи ему глаза; страшными черными провалами зияло его юное изуродованное лицо, и в их черноте словно запеклись все его проклятия убийцам, вся боль.

Лагерь, притаясь, ждал. Все настойчивей распространялись слухи о том, что Вилли Шустер, новый комендант, имеет прямое задание из Берлина очистить лагерь от «бесперспективных» и превратить его в трудовой лагерь, в центр даровой рабочей силы. А сколько тут «бесперспективных»? Все, наверное, каждая живая душа, которую еще не домучили, из которой не выдавили остатки сил и надежды. Пищевой рацион, правда, несколько увеличился, стали завозить баланду даже в карьеры, подкармливали там обессилевших заключенных: ведь мертвые рейху не нужны, какая польза от мертвых, и кем будет он, штурмбанфюрер Вилли Шустер, если его власть будет простираться только над мертвыми, над штабелями трупов, над кремационными печами.

Однажды среди ночи Готте стал толкать в темноте Алексея.

— Что?..— вздрогнул тот, не в силах сбросить с себя тяжкую глыбу сна. Только команды на аппель заставляли заключенных вставать с нар.

— Я должен тебе сообщить... Слушай! Я узнал сегодня...— нервно бормотал Готте.— В лагере эта... ты мне говорил о ней, помнишь?

Алексей перевернулся на спину, еще не придя в себя от сонного дурмана.

— Тебя хотела спасать... Ну, помнишь? Девушка, сестра милосердия...

— Густа Арндт.

— Густа... Вот эта самая Густа...— тряс за плечо товарища немец, и движения его были нервными и тревожными.— Она в лагере. Я знал ее... до войны еще... Сестра нашего товарища... Была в подполье... Конрад ушел в Швейцарию...

Найду будто полоснуло по сердцу. Спросил, в каком она блоке, когда привезли, с каким эшелоном?.. Но Ингольф покачал головой. Эшелонами таких не возят, в эшелонах прибывают жертвы, обреченные на гибель, а Густа сама в форме убийц. Она стала эсэсовкой.

Услышанное показалось Найде невероятным. Он медленно сел на нарах. Его била дрожь. Значит, и эта продалась, миниатюрная нежная Густа со светлыми волосами и красным крестиком на шапочке. Может, Готте ошибся? Все-то он знает, откуда только доходят до него эти слухи, самая черная правда лагерной жизни?

Да, прибыла Густа Арндт, стала работать в лагерной администрации. Найда увидел ее однажды издали и едва узнал: в хорошо подогнанном френче, в черной юбке и высоких черных сапогах, она совсем не была похожа на ту, юную Густу с большими удивленными глазами. Быстро шла между блоками. Лицо — загорелое, взгляд пытливый и резкий. Охранники уважительно перед ней вытягивались, отдавая честь. Она слегка кивала головой, слегка поднимала руку.

— Не могу поверить,— глухо бормотал Найда.— Ведь она была совсем другая. На память цитировала шиллеровских «Разбойников», и слезы стояли в ее глазах, когда произносила имя «Моор». Неужели вы, немцы, все пропали? Все до единого! Моор... Моор!..

— Сломили и ее, гады,— прошептал Ингольф.— Была отличная девчонка! Самая честная!

Что-то изменилось в распорядке лагерной жизни. Чаще устраивались аппели, длились дольше, были мучительнее, превращались в истязание. Разнеслись слухи, что ночами людей увозят на расстрел. Крематорий работал круглосуточно. Иных забирали днем. Люди знали, что их повезли «на газ». Так и говорилось с холодным безразли-

чием: «на газ», будто на прогулку, на какую-то временную работу или в другой лагерь, откуда есть надежда спастись.

Однажды аппель был особенно бесконечным. Узников под осенним дождем держали чуть ли не до сумерек, и люди совсем отупели от усталости. Вилли Шустер не обходил шеренг, как это делал прежний комендант; казалось, вся эта огромная, колышущаяся лагерная толпа, море полосатых фигур, пожелтевших лиц, черных капюшонов нисколько его не интересовали и он был занят какими-то важными и неотложными делами. Стоял с группой офицеров чуть в стороне, проверял какие-то списки, что-то вычеркивал, уточнял, сверял.

Найда увидел его широкое, властное лицо с маленьким подбородком, вспомнил больницу, перевязки у Генриха Шустера, его добродушного папеньки, и захотелось Алексею, чтобы опять была та маленькая, стерильно чистая палата, и был сонный охранник за дверью, и перепуганные глаза сестры Густы. Тогда еще не было всего этого — не было проволоки, собак, пулеметов, крематория. Тогда Густа была просто тоненькой девушкой в белом халате с красным крестиком на шапочке, хотела им помочь, привлекла к этому своего брата Конрада... И вот она — тут. И они — в ее власти. И уже никаких обещаний. Просто и страшно, как перед пропастью.

В эту минуту на плацу в своей элегантной военной форме появилась Густа: череп со скрещенными костями на синей пилотке, череп на петлицах мундира и длинный упругий стек в руке, обтянутой кожаной перчаткой.

Густа шла медленно, держалась уверенно, словно была здесь главной. Ее окружала свита из нескольких офицеров, она пристально всматривалась в лица заключенных, выискивая кого-то. Ее красивые глаза иногда суживались, она замедляла шаг, будто хотела что-то запомнить. Опять продолжала шествие и опять устремляла взор свой на чье-то лицо.

Вдруг ее брови резко приподнялись, а лицо точно окаменело. Потом на нем появилось то ли изумление, то ли скрытое торжество.

Молоденький эсэсовец лихо вытянулся перед ней в струнку.

— Слушаю вас, партайгеноссе!

Она увидела Найду, ее пухлые губы слегка дрогнули.

Найда какую-то долю секунды ощущал на себе ее непонятный взгляд, потом тело его обмякло, обессилело, а в голове запела тонкая звенящая струна.

— Этого вечером ко мне! — кивнула она в сторону Найды. Хлестнула стеком по сапожку и твердым шагом двинулась дальше.

Вечером шестой блок не спал. Все знали, что Найду должны забрать. Значит, остальных не тронут. Пуля ударила в кого-то другого — ты, слава богу, живой, ты еще — на этом свете. Лишь бы сейчас тебя миновала, а что потом — все равно. Никто не знает, что может произойти через минуту, через час, через вечность.

Люди в длинных рваных хламидах, точно призраки, сближая головы, шепотом обсуждали события дня. Страха не было, а только одно любопытство. Кто он и откуда, этот Вилли Шустер, и почему так странно ведет себя во время аппелей? Нестерпимо хотелось жить, выдержать еще месяц, другой, третий... Вон русские уже на Дону, уже приутихли крикуны из геббельсовского радио. Скоро конец войне, отмучаются, отстрадают. Что надумал проклятый Шустер? И почему именно теперь?

Найда и Ингольф Готте обдумывали различные способы спасения.

— Скоро за мной придут,— глухо сказал Найда.— Ненавидит она меня или боится?

— Хочешь, я пойду вместо тебя? — подал голос Ингольф.— Возьму гранату. Отомщу ей за предательство. Вместо ее брата Конрада.

— Умереть за меня? Товарищ Готте, ты плохо знаешь советских людей.

— Все равно я без тебя отсюда не вырвусь, а здесь мне — каюк.

— А почему ты думаешь, что она хочет меня уничтожить?

— Я прочел по ее глазам.

— Не верю. Не может этого быть.

— Я пойду вместо тебя,— настаивал на своем Ингольф.

Но они не успели ни о чем договориться. За дверью послышались голоса, и в желтый сумрак барака шагнула сама Густа. Позади нее у порога остановились капо и конвоир. Густа была без пилотки, волосы волнами стекали на обтянутую мундиром спину. С нар напряженно и со

страхом следили за ней десятки глаз. Она стояла в смрадном бараке, словно что-то решая, а рука со стеком равномерно и упрямо хлестала по глянцевому сапожку.

— Ты! — подняла наконец стек на Алексея Найду.

Он, криво усмехнувшись, почему-то пожал плечами, бросил прощальный взгляд на немецкого товарища, который оцепенело сидел рядом с ним, и слез на земляной пол. Кажется, Густа заметила его взгляд, брошенный на Ингольфа, хлестнула по сапожку и подняла стек на немца:

— Ингольф Готте?

— Да, фрау блокляйтерин.

— Это вы были в спортивном обществе «Свободная Тевтония»?

— Было такое дело, фрау блокляйтерин,— тихо ответил Ингольф Готте.

— Ну что ж,— после недолгого колебания жестко произнесла Густа,— собирайтесь и вы. С вещами!

Их вывели во двор под кисельно-бледный свет фонарей и погнали по асфальтовой дорожке. Стояла слякотная ночь, пронизанная слепящими лучами прожекторов на сторожевых вышках. Они шли в сторону главных ворот. Автоматчик грубо подталкивал Найду в спину дулом автомата, словно хотел выместить на нем свое раздражение из-за того, что ночью ему приходится заниматься таким канительным делом.

Сердце у Найды щемило, но парализующая волна безразличия уже затопила его душу. Он тогда поверил ей, поверил словам Звагина о немецком народе, надеялся на то, что ее брат спасет их... «Принесу одежду... Сегодня ночью...» Вот она, ее одежда с эсэсовскими черепами в петлицах и хлыстом в руке; того и гляди, огреет по загривку — чтобы не вспоминал о прошлом. За такие воспоминания полагается расплачиваться. За все в жизни нужно расплачиваться. Ох, боже ты мой, как мерзко, когда все летит к чертям, и никакого просвета, и некому довериться. Будь у него граната, та, что закопана под нарами, последняя их надежда на спасение,— кончил бы все разом, тут же, на месте. Один взмах — и небытие, мрак вечного сна.

Найда даже стиснул кулак, и почудилось ему, будто и вправду у него в руке граната, ребристая, тяжелая. Как захотелось ему рвануть чеку, швырнуть гранату в

конвоира и в Густу, услышать, как громыхнет взрыв, и — всё. Ловите тогда, ищите ветра в поле по ту сторону жизни!

Миновали третий блок, что у самых ворот, вышли на широкую асфальтовую ленту дороги, которая вела к главным воротам, и тут Найда вспомнил слова Ингольфа об овраге, куда возят расстреливать обреченных; туда, верно, и ведут их сейчас, на последнюю ночную беседу. Но почему-то ведут дальше, они проходят мимо часового на первом посту, Густа что-то бросает на ходу охранникам у ворот, их пропускают через караулку и выводят за второй барьер.

Найда оглядывается: тесные улочки городка, голые высокие деревья вдоль дороги. Уже видны коттеджи эсэсовской охраны, где-то за ними станция, и оттуда доносятся громкие гудки маневрового паровоза.

Они дошли до трехэтажного дома, который был выше остальных, и по тому, что его охраняли эсэсовцы, Найда догадался: комендант Шустер! Охранник стоял в позе статуи, руки застыли на автомате; стоял не шевелясь, на прибывших даже глазом не повел; тускло поблескивала жандармская бляха. Узнав Густу, в ответ на приветствие выше поднял голову в пилотке.

Их провели на второй этаж, где тоже стоял эсэсовец с автоматом. Этот оказался предупредительней, рванул к себе дверь и пропустил всех в помещение.

Найда, ослепленный ярким светом люстры, увидал в комнате за столом почти всех лагерных начальников: Шустер был в белой исподней рубашке, начальник службы безопасности Апиц сидел при всех регалиях в мундире. Здесь были еще какие-то женщины в вечерних платьях и старуха в черном.

— Ага, мои старые знакомые! — сказал Шустер и отставил рюмку с вином.— Русская птичка. И ты, Ингольф-музыкант! — Он взял и поднял бокал на уровень глаз, будто разглядывая темную жидкость и любуясь ее блеском.— Так вот что, господа,— обратился он к своим гостям,— я долго разыскивал этих моих «друзей». И судьба мне наконец улыбнулась, и я отдаю их в полное распоряжение партайгеноссе Арндт. Клянусь святым Августином, защитником и покровителем моей дорогой матушки,— он посмотрел на старуху в черном платье,— что наша Густа сумеет отправить их на тот свет со всеми по-

добающими им почестями.— Выдержав короткую паузу, торжественно поднялся и с пафосом произнес: — За верность нибелунгам, господа! Зиг хайль!

Снова вышли на улицу. Охранник возле дома снова невидяще смотрел на молодую эсэсовку, сохраняя прежнюю позу. Слабо вырисовывались коттеджи. Густа что-то сказала охраннику, тот нырнул в темень двора, и вскоре к ним подкатила широкая, с открытым верхом машина. Водитель ожидал приказа.

— Пленных в машину! —раздался голос молодой женщины.

Они мчались по городку, по пустынным улицам, мимо товарной станции, выехали за пределы города.

Густа велела остановиться возле глубокого оврага. Эсэсовец с автоматом, кажется, был несколько удивлен, но подчинялся беспрекословно.

— В лагерь их возвращать нельзя,— сказала она охраннику.— Этой ночью они готовили восстание.— И резким, высоким голосом обратилась к Ингольфу Готте: — Это правда, что вы готовили восстание? Отвечай, красный предатель!

— Да, я хотел убить тебя, гадина!.. Тебя, предательница!..— рванулся с заднего сиденья немецкий коммунист, но водитель дулом прижал его к спинке.— Вы еще предстанете перед судом... Всех вас будут судить!

— Вывести! — медленно, словно через силу, произнесла Густа.

Стоял густой туман, и пленные казались призраками, явившимися из мрака, в котором снова должны исчезнуть. Они подошли к оврагу, обнялись, готовые вместе свалиться вниз. Стояли спиной к эсэсовцам, к лесу, к молчащей Густе.

И тут грянул выстрел. Еще один, еще... Три выстрела прозвучали оглушительно, словно удары грома. Найда оглянулся и увидел, как оседает, заваливаясь спиной на борт машины, охранник с автоматом, потом увидел водителя, грузно навалившегося на баранку.

Густа подала им знак.

— Скорей, скорей! Оружие, документы, мундиры... Чего же вы стоите?.. Ингольф, я приказываю тебе: скорей! У нас ровно час времени. Комендант ждет моего возвращения. Товарищ Ингольф! Что случилось? Что с тобой?

— Ноги не слушаются, Густа...— Он медленно повер-

нулся к ней.— Моя граната... я хотел в машине... Боже, какое счастье, что я не успел!..— Он, пошатываясь, подошел к машине, открыл дверцу и выволок труп водителя.— Теперь здесь сяду я, Ингольф Готте!

* * *

День был как день, но все же чувствовалось и что-то необычное. Утром Алексей Платонович задержался в управлении вместе с прорабом Хотынским, потом они отправились на завод добиваться более своевременной доставки панелей. Поток должен быть беспрерывным: прямо с грузовиком тяжелые шеститонные плиты краном должны подниматься на верхний этаж. Их только подавай хлопцам, а они уже аккуратно уложат, приварят, укрепят.

На продуваемой всеми ветрами монтажной площадке Невирко наращивал наружные стены. Дело спорилось, и больше всех за него радовалась Ольга Антоновна. Глаза у нее зоркие, улавливающие любой знак Петра, и без команды «майна-вира» знает, что надо делать. И хлопцам с ней хорошо работать. Будто и не в кабине на верхотуре их крановщица, а здесь, рядом, присматривается, примеривается и, не успеешь оглянуться, уже посадила панель на фиксаторы. Теперь только закрепляй форкопфами да подгоняй по отвесу, чтобы стояло как по струнке. Растет стена, тянется ввысь, недвижная, как бастион, построенный навечно. И окна уже есть — загляни в них, полюбуйся открывшейся далью.

Все же что-то беспокоило, что-то было не так, как всегда. Невирко словно затаил какую-то мысль, не открывал ее товарищам, но все время был ею занят. Это видно было по его глазам, по резким жестам, по тем взглядам, которые он бросал на Ольгину кабину.

Нервничал из-за бракованных панелей, которые порой подбрасывали с заводского стана. Им что — лишь бы сбыть да план побыстрей выполнить до конца месяца, а тут... Невирко ощупал рукой неровный край толстой бетонной плиты, зло отбросил ногой обломок. Знал, что брака не миновать, что чем дальше, тем больше его будет. Давно уже пора поставить стан Козлова на капитальный ремонт, подогнать ролики, затяжки, рамы; износилась в конце концов машина, что же тут удивительного? Вон

в Москве три стана в работе, а два на профилактике. И панельки там что надо: заглядение, красота. Товарищ Гурский, главный инженер, все обещает пустить второй стан, на каждой партконференции заверяет, что вот-вот он вступит в строй, но все остается без изменения.

Вчера Майя вдруг позвонила в общежитие. «Жив, здоров?» — словно и не было между ними никакого разрыва. Голос — душевный, родной. На него нахлынуло давнее, вспомнил встречу на перроне, ее слова: «Только не это!» Неужели она ищет встречи? Как решилась на такой звонок? Против воли отца... Она очень доверительно сообщила, что папа посылает к ним на объект телехронику: «Мой подарок тебе. Слышишь, Петя?» Так и сказала: подарок! Хотя посылает главный инженер Гурский, но это подарок от нее. Он сразу же сказал об этом Найде. Тот возмутился: с какой стати? Их объект теперь на худшем счету, снабжение материалами — нерегулярное, идет брак, и вдруг — хроника! «Тут либо подлость, либо гнусный подвох. Я в таком деле участие принимать не собираюсь!» С утра уехал с прорабом, оставил стройку, все возложил на Петра. Тебе, мол, сообщили, ты и радуйся. Пусть тебя славят... У Петра вдруг испортилось настроение. Что он должен показывать перед камерой? И почему именно он? Почему без Бати? Улыбаться? Разыгрывать роль? Все у них отлично? А может, действительно отлично? Паклей забьют, зашпаклюют, замажут — и следа не останется. Разве какой-нибудь пенсионер, придирчивая душа, побежит в ЖЭК с жалобой, что у него промокает стена, что изоляция плохая. Да разве все учтешь? Дома вокруг растут, радуйтесь, товарищи, радуйтесь быстрым темпам, высоким цифрам. Он подумал о своем дипломе, который через год ему придется защищать. Там микронами будут измерять точность, с допусками в два-три миллиметра. Если халтуру поставишь — все строение развалится, как карточный домик. Точность была мечтой Невирко, была альфой и омегой всех его хитроумных чертежей, всех расчетов. Если дом в шестнадцать этажей, то все как-то может обойтись, а если тянуться к облакам — там, товарищ Гурский, ваши допуски обернутся бедой. Разумеется, он, Петр Невирко, никакой не инженер, все это пока что его мечты, из-за которых, может, и диплом не дадут защитить. Ну и что? Будут когда-нибудь возводить и такие

панельные гиганты, будет микронная точность и никакого брака, ни самой малой трещинки. Он, монтажник Петр Невирко, твердо в это верит.

— Чего хмуришься? — осторожно спросил его Непийвода.

— Да вот зеркала нет, чтобы вам прическу сделать,— ответил Петр, показывая на растрепанные волосы пожилого слесаря. Защитная каска на ней едва держалась.— Для кино порядок должен быть на голове.

— Лишь бы на площадке был,— ответил тот.

— Говорят, ты на комсомольской конференции критику на начальство наводил? — спросил Саня Маконький, ожидая, пока кран подтянет снизу новую панель.

— Да какая там критика! — улыбаясь ответил Невирко.— Просто дал совет главинжу и начальнику производственного отдела переселиться на остров Пасхи.

— А там что, наша продукция в моде?

— Там стоят на берегу двести каменных идолов, и плевать им на качество, на кондицию, на всякие допуски и вертикали. Тысячу лет стоят, и никакой технадзор им не страшен.

С другой стороны площадки послышался голос сварщика Виталия:

— Внимание! Все — наверх! — Он показал на исполосованный колеями двор.

В ворота как раз въезжала телевизионная машина с диковинным, похожим на радар устройством и со свернутым кабелем на крыше.

Операторы телехроники, два молодых человека в модных замшевых куртках, уже поднимались по лестницам. Один, с острой бородкой и в темных очках, видно, был главным. Поднявшись наверх, он деловито осмотрел монтажную площадку, окинул взглядом людей, словно они были частью этого железобетонного царства, о чем-то переговорил со своим товарищем, затем осторожно приблизился к краю площадки и глянул вниз.

Петру деловитая независимость операторов показалась оскорбительной, могли бы поздороваться, в конце концов. В эту минуту требовалось совсем немного, чтобы Невирко завелся, вспыхнул, наговорил грубостей.

— Без касок здесь не разрешается,— проговорил он подчеркнуто казенным тоном.

— Дадите каски — наденем,— важно ответил остробородый.

— А мы не выдаем, у нас не склад. Вниз придется ножками топ-топ,— ехидно посоветовал Виталий Корж.

— А кто тут за старшего? — спросил оператор, оглядывая парней, которые в своих касках и робах казались ему все на одно лицо.

— Вот наш начальник,— указал Виталий на Невирко.

— Мы из редакции теленовостей. Завойский,— сказал остробородый и подошел к Петру.— Вы за старшего?

— Вроде бы,— снимая каску, сказал звеньевой.

— Очень рад с вами познакомиться.

— Допустим,— холодно бросил Невирко.

— Наш план съемок таков,— начал Завойский,— сперва общая панорама, затем детализируем по отдельным пунктам, укрупняем, переходим на лица. Должен быть светлый, радостный фон, атмосфера общего подъема, энтузиазма...

— Значит, энтузиазма? — переспросил Невирко.

— Это, собственно, неважно,— смутился оператор.— Главное — пафос созидания, размах.— Он воодушевлялся все более, глаза его блестели, будто Завойский готов был и сам продемонстрировать этот «пафос созидания», который он должен был заснять на кинопленку.— Главное — настроение, а дальше мы даем полную свободу действий. Все реально, естественно, как бывает в жизни...

— Ясно! — прервал оператора Невирко. На лице его проступило какое-то лукавое выражение.— Делаем всё, как в жизни.

— Абсолютно! — довольно кивнул Завойский.— Теперь мы спустимся вниз, наденем ваши... эти самые каски.— Он поглядел вокруг.— Добавочного освещения не нужно. Вижу, у вас свои юпитеры.

— Дело ваше,— проговорил Невирко, и что-то в его тоне насторожило хлопцев. Сказал с нажимом: — Покажем так, как в жизни.

Все ждали, что будет дальше. Знали Петра Невирко и его интонации изучили хорошо. Как в жизни? Что же он надумал? Петр огляделся, свел брови на переносице, поднял голову к крановщице и крикнул:

— Ольга Антоновна, давай «тройку»!

Его тут же остановил дядька Непийвода, напомнив, что «тройка» бракованная.

Но Невирко и ухом не повел.

— Слышишь, Антоновна? — повторил властно.— Вируй «тройку». Ту, что вчера отставили. Вируй, вируй!

Ольга Антоновна подалась всем телом вперед: она почувствовала, что с Петром сегодня происходит что-то странное. Подавать «тройку»? Да что он задумал? Рука крановщицы легла на рычаг, но тут же отдернулась. «Тройка» ведь и вправду вчера была забракована, она не подходила по габаритам и не влезала на свое место. Это был самый настоящий заводской брак: панель с допуском в сантиметр, а то и больше не подходила для монтажа, она просто не «ввинчивалась» в схему здания. Вчера тут Невирко вместе с мастером составляли акт, ссорились с водителем машины, будто он виноват в том, что ему отгрузили бракованное. Он не увез панель, сказал, что не хочет встревать в неприятность, пускай приедет комиссия, специалисты с завода, им, дескать, и решать. Вот и осталась «тройка» в кассете, внизу, возле дома, мозолит людям глаза. А теперь ее, значит, поднять на площадку, теперь она уже вроде бы подходит? Или, может, ради смеха, ради шутки?

— Ольга Антоновна, «тройку» давай! Поворачивай стрелочку! — громко повторил Невирко, стоя на краю площадки, и вид у него был такой решительный, что женщина невольно покорилась.

Панель зацепили крюками, такелажник просигналил, и кран понес ее вверх. Хлопцы понимающе переглядывались, будто уже были посвящены в замысел Петра Невирко, даже вроде одобряли то, что он задумал. Решил, значит, перед операторами из кинохроники продемонстрировать панель, место которой разве что на острове Пасхи, где только идолы стоят, неподвижно и тоскливо глядя в океанские дали.

Взялись за дело на полном серьезе: хлопцы приготовились принять панель, крановщица обдуманно и медленно понесла ее по воздуху. Что ей? Приказано — должна выполнять. Она здесь всего лишь исполнитель чужой воли, ей доверен только этот кран, его сила и звенящее напряжение тросов, а всему голова — чернявый задиристый Петр Невирко. Ольга Антоновна с артистическим мастерством поднимает панель выше стен, еще выше, потом несет чуть вбок, правее, держит ее над всей бетонной громадой, плавно-плавно, с упругим натяжением

тросов, со звоном металла во всем корпусе крана. Затем, слегка притормозив, поворачивает влево и ведет плиту на указанное место. Замерла с ней. Что дальше? Куда ставить?

Невирко оглянулся на операторов, быстро снимавших весь ход монтажа. Во взгляде его было что-то недоброе. Он смотрел на плиту глазами врага, который вызвал на поединок противника и сейчас собирается помериться с ним силами.

— Снимаешь? — спросил у бородатого.

Предостерегающе подняв руку, чтобы Ольга не опускала плиту вниз, он поискал глазами тяжелую кувалду, взял ее и залихватски плюнул себе на ладони.

Оператор усердно фиксировал на пленку каждое его движение. Водя камерой, «расстреливал» ею Невирко, Ольгу, монтажников. Снова нацелил объектив на звеньевого и вдруг...

Кувалда взлетела вверх. Что это? Оператор, на мгновение опустив камеру, растерянно огляделся.

— Снимай! — крикнул ему Невирко, с яростью поднимая кувалду. Крякнув, ударил по краю панели, потом еще раз, еще и еще... Полетели осколки, защербилась монолитная плита, гул пошел по всей стройке.— Снимай! — с веселым азартом кричал Петр, и оператор, будто загипнотизированный всем, что происходило, снова поднял камеру и начал «расстреливать» Невирко. Опять загудел молот по железобетону, по этой уродливой плите-панели, и в разные стороны отскакивали обломки, взвивалась пыль, точно какой-то исполин вознамерился разрушить весь белостенный красавец дом.

Позже, когда молот лег на перекрытие, Невирко подошел к оператору и сказал:

— Вот так иногда работаем, если нам дают бракованные элементы. Не облупишь — не поедешь. Матушка-кувалда выручает.

— Технология у вас действительно...— иронически произнес оператор.

— А что же делать? Ждать, пока привезут аккуратненькие? Не всегда так бывает, но в трудную минуту находим выход из положения.— Он, казалось, не замечал, что помощник оператора поднес к его губам микрофон, и Петр говорил в эту черную штуковину обо всем, что накипело на душе: — Стан Козлова давно требует ремон-

та. Браку все больше и больше. Сами видели, товарищи, как нелегко нам тут с «передовой» техникой. Тысячи рублей, которые государство дает на реконструкцию, не осваиваются. Наши «боги техники» на комбинате слишком любят спокойную жизнь.

Операторы слушали его, магнитофон записывал каждое слово, камера снова снимала молодое загорелое лицо Невирко, который давал свое стихийное, никакими сценариями не предусмотренное интервью. Операторов увлек гневный, непримиримый тон молодого монтажника, и они, отбросив свой первоначальный замысел, снимали весьма драматическую и остросюжетную ситуацию.

— Спасибо, товарищ Невирко,— твердо проговорил оператор, опустив камеру.— Вы нас, конечно, немножко подвели, но в этом имеется свой смысл. Не правда ли, Аркадий? — обратился он к помощнику.— Покажем импровизированный «Фитиль»?

— Вам люди только спасибо скажут,— негромко добавил столяр Одинец, который на протяжении всей сцены молча наблюдал за тем, что происходило на площадке.— И первый это говорю вам я, парторг Одинец.

— Такое благословение нам весьма кстати. Хоть я не совсем уверен, что это понравится вашему начальству.

— Инженеру Гурскому не понравится,— уверенно сказал Невирко.

— И товарищу Найде, верно, тоже,— добавил Непийвода.

Оператор развел руками, как бы извиняясь за неприятность, которую он кому-то причинит. Жизнь иной раз вносит в искусство самые неожиданные коррективы. Он все же был славным парнем, этот, с бородой, в дорогой замшевой куртке. Не стал пыжиться, понял работяг, решил пойти на риск, теперь Невирко смотрел на него с откровенной симпатией.

Когда операторы уехали, к Невирко подошел Виталий Корж.

— Остыл малость? — полюбопытствовал, весело прищурив озорные глаза.

— Надо же хоть когда-нибудь почувствовать себя человеком.

— Будь спок. Только бы этот киношник не испугался.

— С Гурским теперь все счеты сведены. Не нужны нам его подарочки.

— Есть, Петя, типы пострашней.

— Кого ты имеешь в виду?

— Да одного своего приятеля из разряда новоиспеченных дипломников. Идти на ссору с высоким начальством — рискованное дело. Особенно для тех, кто мечтает о славе.

— Меня же мною запугиваешь? — разгадав его слова, насмешливо произнес Невирко.

— Смотри, тебе видней.

Невирко, смеясь, обнял друга.

— Философ ты, Виталька! Кто ее, славу, не любит? Тут вопрос в другом. Майка Гурская была на вокзале как шальная, и глаза какие-то дикие. Недавно позвонила мне и сказала, что нас приедут снимать киношники. Намекнула, мол, это мой подарочек тебе. При законном, так сказать, муженьке...

— Кстати, он — доцент политехнического. На кафедре Добрынина, у которого ты будешь защищать свой диплом.

— Скажи, для чего ей эта комедия? Правильно ли я поступил? Может, своей кувалдой я разбил собственное счастье? Погубил святые чувства? — спросил с горечью Невирко.

— Где уж святые! Любились-миловались, а замуж вышла за Голубовича.

— А ведь мы могли быть счастливы...

— Счастье и любовь — вещи несовместимые,— серьезно заявил Виталий.— Корень зла совсем в другом: она обманывает и тебя, и простодушного доцента Голубовича. А все потому, что не любит никого и ничего, кроме себя.

* * *

В кабинете главного инженера Максима Каллистратовича Гурского голос Найды звучал сперва растерянно и обиженно: он не поверил услышанному. Сидя у приставного столика, он нервно поглаживал его блестящую полированную поверхность.

— Особенно возмутительно то,— негодовал Гурский,— что этот Невирко опозорил нас перед всем городом.— Главинж достал платок и принялся старательно вытирать свою мясистую шею, щеки и лоб.— Показал для кинохроники бракованную продукцию. Я догово-

рился, чтобы сделали показательный фильм о вашей бригаде. Это вам сейчас нужно как воздух. Прославить Найду, чтобы все увидели, какие замечательные люди у нас трудятся, как мы выполняем план. И вот легкомысленный мальчишка, критикан все ставит под удар. Допустим,— развел руками Гурский,— привезли некондиционную панель, есть в ней какие-то трещины, оббитые края. Кассету — в сторону, мы заберем — и точка.— Гурский грузно подался всем телом вперед, налегая широкой грудью на стол, на разложенные бумаги.— Такую каверзу мне подстроить! Да, да, именно мне. Чтобы отомстить, очернить перед городской партийной конференцией.

Найде было известно о разрыве между дочерью главинжа и Петром Невирко, слыхал, будто парень не пришелся ко двору. Но не верилось Найде, что Петр способен на такую мелкую месть. Не такой он человек, уж он его изучил, было время приглядеться к своему заместителю.

— Зря так думаешь, Максим Каллистратович,— после минутного раздумья проговорил Найда.— Невирко не из мстительных.

— Плохо знаешь своих людей. Зачем тогда он устроил этот спектакль перед кинокамерой?

— Потому что вы нам не в первый раз поставляете брак. С техникой не все в порядке. Второй стан Козлова не пустишь в дело. Механизмы износились.

— Всему свое время, уважаемый. Мы же еще один бетонный завод строим. Туда идут фонды.

— Не знаю,— жестко бросил Найда.— То штурмовщина, то простои. Общежитие никак не достроите, и поэтому люди от нас уходят.

— С кадрами всюду нелегко.

— Э, нет! — поднял голову Найда.— К хорошему жилью каждый путник свернет. Государство выделяет нам средства, а мы их не осваиваем. У нас — лишь бы план. Любой ценой план! Халтуру, брак, приписки — только отчитаться!

Гурский заерзал на стуле.

— Давай, Платоныч, не торопиться с выводами. Для меня главное — честь коллектива, знак нашего комбината.

— Есть еще государственный знак качества! — напомнил Найда.

— Вот прицепился! Что можем, то и делаем. И вооб-

ще, Алексей Платоныч, зря ты сердишься. Сидишь, хмуришься, и я по твоим глазам вижу, что видишь во мне одно зло. Разве не так?

Найда помолчал. Из груди его вырвался вздох.

— Думаю я, думаю, Максим Каллистратович, и никак не могу понять, что ты за человек,— хмуро заговорил он, неторопливо поднимая на главинжа испытующий взгляд.— Не пойму — и все!

— Суди, суди. Рабочий класс, тебе и карты в руки.

— Да совсем не то, Максим,— попытался установить дружеский тон Найда.— Мы же с тобой однокашники по техникуму. Одну войну прошли, в одном общежитии пустой кулеш хлебали. Оттого и дивлюсь: почему у нас дело не клеится.

Гурский, неожиданно вскочив, хлопнул по столу ладонью:

— Хватит! Все мне мораль читают. Всем я поперек горла встал.— Он оперся руками на стол, с болью глянул в глаза Найде.— Алеша, ты ведь душевный человек. Неужели не понимаешь, что из меня больше выжать нельзя? Ночей не сплю, в кабинете просиживаю допоздна: бумаги задушили, оперативки, совещания, и все это — черт знает для чего.

— А ты пойди в горком и скажи: не тяну. Отстал, постарел.

— Судить — оно, конечно, проще,— отмахнулся Гурский, раскуривая сигарету.— Сидишь на своей верхотуре, любуешься небом. Недаром говорят: «Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу».

Найда только плечами пожал:

— Не тянешь, Каллистратович. Хоть сердись, хоть не сердись.

— Ну посоветуй: что делать? Будь на моем месте, что бы ты предпринял? Я тут все своими руками поставил, каждую пропарочную камеру проверял на всех режимах. Первые панельки сам развозил на стройки. Понимаю: молодые силы пришли, электроника, компьютеры. А что же нам, старой гвардии?!

Найда задумался. Ему вроде бы и жалко стало Гурского: искренне сокрушался, открывал душу.

— Возглавь хозяйственную часть... Или заместителем по быту...

— Позор! — Гурский прошелся по кабинету, на его

усталое лицо легла печаль.— Люди же не поймут. Скажут: кто нами руководил? Начнут косточки перемывать, да еще выражать сочувствие, а я не хочу жалости.— Он протянул через стол руку, почти умоляюще сжал локоть Найды.— Вспомни наше прошлое, Алеша! Помнишь, когда тебя в техникуме за фронтовые дела, за плен, кое-кто шпынял?.. Сволочь всякая!..

— Ты первый меня защитил. Спасибо.

— Нет, благодарности мне не нужно,— почти сквозь слезы промолвил Гурский.— Просто пойми: как человек человека. Я слыхал: на парткоме хотите меня выслушать. А там круто обходятся. За Невирко заступаетесь после его хулиганства. Куда уж дальше?

Найда встал, помолчал в нерешительности.

— Запутанный клубочек завязался,— проговорил наконец, и глаза его немного потеплели.— Но распутывать все равно придется, Максим, и ты нам поможешь.

* * *

Сегодня в комбинатском Дворце культуры вечер. В фойе танцы, в концертном зале выступает самодеятельный хор работниц, по коридорам ходят нарядно одетые девушки и парни. И музыка, музыка...

Петр Невирко прислонился к колонне. Лицо замкнутое и задумчивое. Может, и не стоило приходить сюда, сидел бы в общежитии, в своей тихой комнате, над чертежами, готовился бы к зачету. Да и проект-фантазию давно пора подкрепить точными, математически обоснованными формулами. Крайзман, конечно, умная голова, но в его идее много дерзкого, почти фантастического. Надо еще показать реальность такого проекта. Научный руководитель Петра — старенький профессор — сам когда-то мечтал разработать схему заоблачного гиганта из панельных конструкций. Немало видел разных архитектурных чудес, которые появились нынче на планете. Рассказывал, как однажды в США их водили по верхним этажам небоскреба, и молодой гид-инженер откровенно признался им, что его пугают такие железобетонные громады, пора, мол, вернуться к строениям низким и надежным. «Для тех, кто не верит в будущее, высотные здания всегда представлялись потенциальной катастрофой,— говорил профессор, руководитель Петра.— Мы же иного

мнения, и страха у нас нет. Нужно, чтобы высотное строительство стало явлением обыкновенным, будничным, повсеместным. С каждым годом плотность населения на планете увеличивается, растет сеть промышленных линий и объектов. Человек должен подняться над шумом дня, его всегда будут манить солнечный свет, прозрачность небесной лазури, надежный покой. Возводите высотные здания, мой юный друг. Мечтайте о сказочных заоблачных дворцах. За ними будущее».

Музыка в фойе умолкла, и стало слышно, как в зале мужской голос выводит песню о девушке, о дубе, о кринице, в которой плавает золотое ведерце... От песни у Петра защемило сердце. Какая волшебная сила в этих звуках, в мелодии, которая словно рождается из самого солнца! Нет, он не мог уйти сейчас домой и песню эту не мог оставить. Слышал ее однажды с Майей на концерте, она положила свою руку на его пальцы, и ему передался ее трепет. И он увидел слезинку в ее глазах, и боль, и нежность.

Познакомились они на пляже, где было тесно от загорающих. Кто играл в мяч, кто в домино, а иные уже с аппетитом уписывали домашние яства. Гремели транзисторы, плескалась в воде детвора, на широкой речной глади, среди мириадов солнечных вспышек, перекликались моторные баржи, и гулко раскатывался меж берегами задорный рокот моторок.

У Петра было тихое, элегическое настроение, хотелось уединения и покоя. Как раз сдал последний экзамен и отныне был уже студентом-вечерником четвертого курса. Что ни говорите, важная персона. Хлопцы из бригады намекали на то, что необходимо отметить это событие, мол, такой повод не стоит пропускать. Но он не пошел с ними, поехал на пляж и... попал в самый водоворот, в людскую шумную толчею.

Что ж, ему это не мешало. Забрел подальше и в уютном уголке присел с книжкой на толстое корневище вербы так, что вода плескалась под ним, прохладой обвевая тело. Читать не хотелось. Из-за ветвей вербы солнце осторожно подкрадывалось к нему.

На другой стороне, на крутом берегу, утопая в зелени парков, лежал город, из-за деревьев кое-где проглядывали дома, похожие на дворцы или на сооружения античной древности. Он мысленно дорисовывал контуры го-

рода: ему виделись стройные небоскребы, солнечные прозрачные стены из стекла и металла. Казалось, сама природа подготовила здесь место для столь дерзновенного зодчества: с вершин гористого берега открывались бескрайние дали, весь мир был бы виден из окон устремленных ввысь зданий.

Мимо прошла девушка в красном купальнике, бросила взгляд на Петра и, показалось ему, улыбнулась как-то призывно и ласково. Стройная, узкоплечая, с распущенными волосами, в руке — книжка. Он сперва и внимания на нее не обратил, мало ли тут ходит девушек, иные от скуки, иные, чтобы завязать знакомство. К девчатам Петр относился сдержанно, был «наивняком», как называл его Виталька Корж. Петр говорил друзьям: чем попусту тратить время на девушек — лучше почитать книжку или заняться спортом. И эта, что прошла по мелководью маленькими шажками, ничем его не поразила, даже вслед не посмотрел, а на ее призывную улыбку ответил равнодушным взглядом. Через некоторое время девушка появилась снова, вид у нее теперь был какой-то растерянный, она хмурилась, губы ее вздрагивали, а в глазах уже не было и тени кокетства.

Села у самого корневища, на котором пристроился Петр. Он видел ее согнутую спину, видел, как прутиком она чертит что-то на влажном песке. И внезапно послышалось ему — или, может, показалось,— что девушка тихонько, жалобно всхлипывает. Плечи ее вздрагивали, вся она съежилась, уменьшилась, стала похожа на обиженного ребенка. «Чудеса,— подумал Петр.— Только что улыбалась, а теперь плачет».

Он чувствовал себя неловко, будто был в чем-то виноват перед ней. А до чего хорошенькая! Впервые, верно, с таким напряженным вниманием Петр присматривался к девушке.

Она неожиданно обернулась, и на него глянули большие заплаканные глаза. Никогда не видел таких глаз — так ему показалось,— никогда не был в такой ситуации. Она смотрела на него выжидающе и словно хотела, чтобы он первый заговорил с ней. И он, собрав все свое мужество, спросил:

— Вас кто-нибудь обидел?

Девушка кивнула головой, и Петр отметил, как дрогнули ее плечи.

— Нас всегда обижают,— сдавленным голосом произнесла она.

— Нас... это кого? Женщин, девушек?

— И женщин, и девушек.

У него прибавилось смелости, и он подсел к ней. Был в брюках и в белой тенниске, а она в одном купальнике. И поэтому чувствовал себя неловко. Девушка спросила, не заболел ли он, что сидит одетый. Вот они уже целый день жарятся на солнце,— наверное, кожа потом облезет. Кто «они»? Их «компашка», собрались сегодня отпраздновать сдачу экзаменов.

— И я последний сдал,— не без гордости сообщил Петр.

Познакомились. Девушку звали Майкой, она так и назвалась. Он, краснея, назвал себя, протянул руку и сжал ее тонкие пальцы, ощущая их волнующую нежность.

— Петр Первый,— сказала она будто самой себе.

— Старомодное имя? Да?

— Нет, просто вы у меня первый знакомый Петр,— пояснила девушка. Сидела, подтянув к подбородку колени, глаза ее неотрывно следили за всплесками воды между корнями и ветками: видно, мыслями была не здесь, что-то ее беспокоило и волновало.

Отчего она все-таки плакала? Почему так внезапно изменилось ее настроение?

Она, словно угадав его немой вопрос, заговорила откровенно, не меняя своей позы, не отрывая взора от блестящей воды. Сегодня у нее жуткий день, ужасный, невероятный. Приехала сюда со своим женихом... Завтра идут в загс... Сшила себе чудесное белое платье... Заказан банкетный зал... Но... но...

— Что — но? — удивленно спросил Невирко.

— Я его не люблю.

— Действительно беда. Кто же вас заставляет?

— Никто. Была любовь, и вот... нет. Отец Игоря — большой начальник на Черноморском пароходстве, и сам Игорь — умный, честный, талантливый. А какой он красивый! Девчонки от него без ума, прямо невозможно с ним нигде появиться. И любит меня, предан, на такого в жизни можно положиться...

Петр слушал ее с плохо скрытой досадой, и ему казалось, что говорится все это как бы специально в укор ему. Чем больше Майя расхваливала своего Игоря, тем

неприятней звучали ее слова, он чувствовал себя униженным, даже оскорбленным. Что он в сравнении с этим Игорем, этим красавцем, отец которого — высокое начальство на Черноморском пароходстве? А он, Петр Невирко, сын обыкновенной сельской учительницы, и отца у него давно нет. Умер, когда Петру было шесть лет, осиротил его с малолетства.

Хотелось встать и прекратить этот нелепый разговор. На душе стало тяжело — испортила ему настроение эта пустая девчонка, для которой он — обыкновенный прохожий, случайно встретившийся на пляже. Села, расплакалась. Надо же кому-то излить свое горе...

Но Майка расставаться не хотела. Смутилась от своей откровенности или, может, уловила перемену в настроении Петра и уже готова была чем-то искупить свою невольную вину.

— Вы не спрашиваете, чем же меня обидели? — повернула к Петру грустное лицо — загорелое, худенькое, с милым остреньким носиком.

— Я догадываюсь,— неохотно сказал Петр.— Вы его не любите, а выходить замуж надо. Отсюда и все муки.

— Нет, нет! Меня не заставляют.

— В чем же беда?

— Я его не люблю. Просто не люблю. Вот и все.

— Не понимаю... Не любите — так и не любите.

— Что ты говоришь? — совсем просто, по-дружески перешла Майка на «ты».— Это же страшно. Ну... неужели тебе непонятно?.. Вчера я его любила, была от него без памяти, решили пожениться, и вдруг — пусто.— Она приложила ладошку к груди, словно уточняя, где именно у нее пусто.— Столько надежд на него возлагала!.. И все напрасно... А главное, все оказалось так просто и никчемно... Будто выкупалась в Днепре... Вошла в воду, выкупалась, и все...

— Не понимаю, в чем его вина,— проговорил Петр.— Вы разлюбили...

Майка решительно положила ему руку на колено.

— Можешь говорить «ты». У нас, у студентов, так принято.

— Ты разлюбила, и никто в этом не виноват.

— В том-то и дело, что виноват! Виноват! — с болью выкрикнула Майка и рывком поднялась во весь рост, загоревшая, стройная.— Если тебя любят, цени эту лю-

бовь, береги ее. Быть любимым тоже нелегко. А он не уберег. Он решил, что всё навеки его. Только и знает свою науку, свои чертежи, свои проекты, сварку. Вот и сейчас сидит на берегу с какими-то мудреными чертежами. Наверное, уверен, что его Майка никуда не денется.

— И никуда не денешься,— грубовато сказал Петр, которого Майкина откровенность и притягивала, и раздражала. Было почему-то неприятно, что она так открывается перед ним, делает его как бы своим соучастником.

— Не денусь? — в Майкином голосе послышались гнев и обида. Она стояла перед ним вытянувшись, словно готовая к полету, и он невольно испугался — не выкинет ли эта девчонка какой-нибудь глупости. Он смотрел на нее снизу вверх, ждал, что же она скажет дальше.— А вот возьму и денусь. Вот возьму... и все! Конец! — Она положила ему на плечо горячую, узкую ладонь, отчего Петра будто пронизало током.— Пойдем с тобой, отыщем хорошее местечко и весь день будем вместе. Целый день!

Все оборачивалось как-то странно, какая-то глупая выходка обиженной девчонки... Петру вдруг расхотелось даже говорить с ней, не то что искать «хорошее местечко». Он тоже поднялся, не зная, как себя вести.

— Но ведь там... твоя одежда? Товарищи будут беспокоиться...

— Я принесу одежду... не бойся...

— А он?

— Он и глазом не моргнет. Из гордости и самолюбия. Я его знаю.— Она уже полна была решимости; раз надумала, значит, так и должно быть, и ничто ее не остановит.— Жди. Минуточку. Сейчас вернусь.

Побежала вдоль берега, через корни, между кустами лозы, исчезла, как русалка, как шальной ветер. Петр еще немного постоял, глянул туда, куда она помчалась, пожал плечами и... побрел в противоположную сторону. Довольно с него этой пляжной одиссеи. Не станет же он ожидать ее полдня, чтобы она только посмеялась над ним.

Шел медленно, глубоко задумавшись, и все стояли перед ним большие, затуманенные слезами глаза и падающие на спину русые волосы, а сердце тоскливо и глухо колотилось в груди.

Стал вспоминать всю их беседу, и то, что казалось ему сперва невероятным, даже нелепым — любила, разлю-

била,— приобрело иные оттенки, иной смысл. Задумался над Майкиными словами, которые все более казались ему правдивыми и выстраданными, такими словами зря не бросаются, такие слова рождаются из боли, из мук, из горьких сомнений. Красавец, умная голова, а вот наплевать ему на то, что любимая девушка места себе не находит, истерзалась сомнениями, что завтрашнего дня ждет, как непоправимой беды. Вспомнились слова, вычитанные где-то: любовь надо завоевывать ежедневно, ежечасно, всю долгую жизнь. Иное дело, когда ты свободен и тебе безразличны все красавицы мира. Завтра утром придет на строительную площадку, наденет каску и брезентовую робу, возьмет ломик в руки, теодолит, и все встанет на место. Облака на горизонте, идет на посадку самолет, где-то трамваи грохочут, будто под землей. Чего же ты, дурень, загрустил? Обиделся? Словно завидно стало, что ты не сын влиятельного папаши и тебя не любит эта хорошенькая легкомысленная девчонка? Не любит, но не прочь полюбить, и в этом тоже радость. Он сдал экзамен, он уже на четвертом курсе, и если все сложится хорошо...

— Стой! — услышал вдруг позади отчаянный окрик.

Его будто хлестнул этот голос, он даже оцепенел весь и несколько секунд стоял не оборачиваясь.

Майка, едва переводя дыхание, догнала его, схватила за локоть и прямо повисла на нем.

— Как тебе не стыдно? — она говорила сердито, запыхавшись, и он ощущал жгучее прикосновение ее тела.

Девушка шагала рядом, свободно держась за его руку, с сарафанчиком, перекинутым через плечо, размахивая босоножками, висевшими на кончике указательного пальца правой руки. Она все никак не могла отдышаться и говорила, говорила, и он из ее торопливых слов улавливал только, что она и не сомневалась нисколько, она знала, что он уйдет, не поверит ей, не станет ожидать, но она бежала как сумасшедшая, чуть колено себе не разбила, даже в воду упала, вон какая история...

— Разреши, и я разденусь,— осмелев, сказал Петр.— Только ты на минутку отвернись.

— Хочешь, я закрою глаза? — спросила Майка и тут же крепко сомкнула веки.

А он бережно взял ее за подбородок, притянул к себе

и поцеловал в сомкнутые веки, трепещущие и чуточку соленые.

Она, словно протестуя, покачала головой, но глаз не открыла, и он поцеловал ее снова, но на этот раз в губы, прямо во влажное их тепло, и лишь тогда она посмотрела на него, и в ее взгляде отразился страх.

— Ты знаешь, что ты сделал? — Она положила ему на плечи согретые солнцем, душистые от солнца руки.— Ты все разрушил. В один миг.— Упала головой ему на грудь, прижалась лбом к его тенниске.— Ты все разрушил. Все, все... Боже!..— Она смотрела на него с искренним удивлением, с благодарностью и почти беззвучно шептала: — Спасибо тебе! Спасибо, спасибо!..

Он вечером, совсем поздней порой, проводил ее домой, когда уже последние троллейбусы изредка шуршали по пустынным улицам и поливочные машины водяными веерами окатывали тротуары. Майин дом — старинный, с высокими окнами, с бронзовыми виньетками на клетке лифта.

В парадном было полутемно, и Майка на прощанье сама обняла Петра.

— Ты мне очень нравишься...— сказала, поднявшись на цыпочки и нежно заглядывая ему в лицо.— Ты простой, но милый.— И, подумав немного, поколебавшись с минуту, попросила: — Петя... не приходи ко мне. Никогда.

— Что? — Он едва сдержался, чтобы не вскрикнуть, крепко взял ее за руки.

— Я должна все это как-то пережить. Мне будет трудно. Скажи, где ты работаешь? И вообще, как тебя найти?

Кто знает, что было бы, если бы они еще днем, там, на берегу Днепра, завели об этом разговор. Поинтересовалась она лишь теперь, в последнюю, быть может, самую последнюю минуту. Он ответил, что работает на стройке монтажником, что мама живет в селе, учительница, и он часто ездит к ней. Так что высоких родственников нет...

— Зато могут быть друзья в управлении строительного комбината,— не обидевшись на его намек, сказала Майя.— Мой отец...— Майя как-то виновато пожала плечами,— Гурский. Он тоже строит. Знаешь такого?

— Главный инженер Максим Каллистратович Гурский? — удивленно спросил Петр.— Исполняющий обязанности директора?

— Максим Каллистратович Гурский — родной папочка вот этой сумасшедшей девчонки,— указала на себя Майя и, подняв глаза кверху, прислушалась.— Кажется, сейчас я «на ковре» буду держать перед ним ответ за свою измену доценту Голубовичу.

Или ему померещилось? Она сказала: доцент Голубович?

— Именно так: Игорь Александрович Голубович. Мой друг... собственно, мой жених.

— Все ясно,— совершенно обескураженно протянул Петр.— Твой жених — Игорь Александрович.— И, пытаясь скрыть смущение, пробормотал: — Бывает же такое...

Открытие действительно было невероятное. Доцент Голубович у них на кафедре. Они хорошо друг друга знают. Возможно, он будет его, Петра, научным руководителем. По каркасному строительству. Самый толковый из молодых руководителей.

Смущение прошло, и он почувствовал себя даже немного польщенным. Отчетливо представил себе весь комизм ситуации: он, Петр Невирко, провожает домой невесту доцента Голубовича! По его лицу пробежала тень улыбки.

— Слава богу, я не прошу твоей руки, и доцент Голубович не будет на меня в обиде.

— Может, и попросишь, Петя,— вызывающе бросила Майя.— Иди. Я тебя обязательно найду.

И через несколько дней действительно нашла. Он увидел ее, когда монтировали санкабину, осторожно спуская ее краном в густой лабиринт «нутрянки», как называют строители внутренние стены. Она появилась в голубом платьице среди голых панельных перегородок, коричневая сумка на длинном ремешке свисает с плеча, глаза широко раскрыты от восторга. Видно, никогда не бывала на такой высоте, и Невирко показался ей совсем другим, не похожим на того, с кем познакомилась на пляже.

На своем рабочем месте Петр чувствовал себя хозяином. Что из того, что она — дочь главинжа? Тут он сам себе хозяин. Поздоровался с девушкой за руку, как водится меж добрыми знакомыми. Подвел к Найде и отре-

комендовал ему Майю. Дескать, дочь самого товарища Гурского пришла инспектировать работу их бригады. Она молча наблюдала за ним, удивляясь его простоте и уверенности, что ей необыкновенно импонировало. Почувствовала в нем силу, настоящую мужскую силу.

Найда, буркнув что-то в ответ на «здравствуйте», пошел куда-то вниз. Разве мало у него разных дел и забот? Майя все разглядывала Петра — внимательно, с любопытством.

— Что ты так смотришь? — даже рассердился он, чувствуя себя в ее присутствии смущенным и растерянным.

— Вот я тебе принесла... поешь,— сказала Майя и вынула из сумки что-то завернутое в белую бумагу.— Это я пекла.

Он неловко взял теплый сверток и догадался: Майя принесла ему пирожков. Ароматные, домашние, над которыми, верно, простояла немало времени. Лицо его залил румянец, и внезапно он почувствовал такой прилив счастья и радостного волнения, что слова застряли у него в горле, и он только благодарно кивнул головой.

— Мы в столовку ходим,— сказал он, отворачиваясь от любопытных взглядов товарищей.

— Я еще меду принесла. Ты любишь мед?

— Ну зачем ты, Майечка!

— И домашних котлет. У вас скоро обеденный перерыв?

Он огляделся вокруг, кинул взгляд на кран, который как раз подавал панель. До обеда оставалось еще полчаса. Неужели ждать? И кто мог ему запретить уйти раньше?

— Ребята... Саня... вы тут кончайте... я провожу девушку...

Саня Маконький с притворным равнодушием отмахнулся: ступайте, мол, нам и без вас хватает дела, обойдемся. Плита ложилась ровно, с точным прицелом, работа была в разгаре, парни старались, и Невирко догадался, что это они ради него, только бы он не тушевался и скорее уходил, если нужно. Никогда не видели своего звеньевого с такой красоткой.

Они отыскали возле дома скамью в палисаднике, устроились. И едва сели, Майя жадно припала к губам Петра.

— Петрунчик, милый, любимый... Я все эти дни жить не могла... Вот разузнала у отца, на каком ты объекте...

— А Игорь Александрович?

— Невероятно самоуверен...

— Но вы же должны были идти в загс.

— Притворилась больной, не пошла. Отложили пока. А я теперь думаю о том, как сказать ему правду,— Майя сплела пальцы рук так, что они побелели.— Ты ешь, ешь, Петрунчик. Тебя это не касается.

— Ты по-настоящему решила?..

— Я все делаю по-настоящему,— твердо заявила Майя.— Но ты не бойся, я все решаю сама.

— Не о себе я думаю... Только бывает так, что сгоряча человек решит одно, а когда одумается — все не так...

— Вот я и не хочу сгоряча. Но хватит... Не мучай хоть ты меня...— Майя с детским любопытством заглядывала Петру в лицо, ей было приятно видеть его в хорошем настроении, ей даже нравилось, что у него такой аппетит: он смачно откусывал от пирожка, запивал молоком, потом принялся за мед.

А Петр ощущал необыкновенную радость от того, что такая миловидная девушка, нежная, большеглазая, угощает его вкусными пирожками, приготовленными ею собственноручно, а он, словно важная персона, устроился тут в тенистом уголке и чувствует себя уверенно, знает, что его работа понравилась Майе и сам он вдруг предстал перед ней иным, лучшим, более привлекательным. Не поленилась, значит, пришла, перед всей бригадой не постеснялась показать свое расположение к нему.

Вскоре к ним на объект явился Гурский, приехал с целой свитой инженеров, они что-то долго обсуждали с прорабом и Найдой, и почему-то Гурский был недоволен, хмурился, шагая по этажам, внимательно осматривал установленные панели, а к молодому геодезисту Юре Сычу придрался: почему, дескать, не контролирует точность установки каждой внутренней стены.

Увидев Петра, вовсе потемнел лицом.

— Можно вас на минуту? — спросил он и пригласил его в сумрак коридора.

И там, властно взяв за локоть, заговорил о своей дочери. Все, оказывается, уже знал, обо всем рассказала ему наивная и простодушная Майя, ненаглядная доченька: и как познакомились с Петром на пляже в знойный воскресный день, и как из-за него изменила свое намерение выйти замуж.

— Жизнь свою искалечила, а девичья судьба — не то что у парня, и вы, товарищ Невирко, обязаны были хорошенько подумать, прежде чем врываться в чужую семью.

— Я ничего не разрушал, Максим Каллистратович,— тихо, но твердо заявил Невирко, сосредоточенно глядя себе под ноги.— Так получилось.

— Я ее отец... Я, может, всю жизнь ей посвятил.— Он крепче сжал локоть Петра, в его голосе зазвучали жалобные нотки, и выражение лица стало мягче.— Петр, вы не знаете, чем это кончится... Прошу вас, опомнитесь! Для вас это, может, развлечение, а девушка... Поймите, моя дочь...

— Хорошо, хорошо,— кивал головой Невирко, внезапно испытав жалость к Гурскому, к его отцовской обиде. И себя было жаль, и Майю. И было стыдно перед этим важным, солидным начальником, который так разволновался.— Пускай она решает... Я уважаю вас, но... пускай она решает...

В тот вечер он не пришел на свидание, мучился от нестерпимой тоски, от бессилия... Только бы забыться!.. Виталька Корж тащил на танцы, уверяя, что там девочки — загляденье! На танцы он не пошел и с девочками знакомиться отказался. Часу в одиннадцатом, не дождавшись возвращения Виталия, выключил свет и попытался заснуть. И в тот же миг услышал Майин голос. Просила разрешения войти.

— Ты? — Он словно окаменел, стоя перед ней в трусах и майке. Еще и свет включил!

Но это ее не смутило.

— Оденься, пожалуйста, проводи меня,— сказала она, с любопытством рассматривая комнату: две кровати, шкаф, стол с графином.— Я чуть с ума не сошла! Нельзя же так!..

Он натянул брюки, надел рубашку. Бормотал что-то о разговоре с ее отцом, о его просьбе-приказе. Отец, мол, сказал, что знает лучше, в чем ее счастье. Может, он

прав... Начальника Гурского он бы не послушался, но отца Майи...

Майя обняла его, стала целовать, взлохматила ему волосы.

— Милый, милый! — И, с ужасом оглядевшись вокруг, сказала: — Как ты живешь! Но это — временно. Я поговорю с отцом...

Он погладил ее по голове. Сказал, что говорить не нужно. Они едут с хлопцами в подшефный колхоз строить тракторные мастерские. На два месяца.

— Ты никуда не поедешь! — заявила Майя.— Ни за что!

— Надо,— вздохнув, улыбнулся Петр.— Своих я не брошу... Буду приезжать каждое воскресенье. А ты подумай. У тебя будет достаточно времени, чтобы серьезно подумать.

Он действительно уехал в дальний район, и там всю осень они строили мастерские, работая с утра до ночи, чтобы поскорее вернуться домой. Майя каждый раз встречала его на автобусной остановке, сидела в углу на скамье под навесом, в вязаной шапочке, продрогшая, бледная, задумчивая. Они шли пешком через весь город, и было так, словно не виделись долгие месяцы. Петр, обняв Майю, рассказывал, сколько за эту неделю положили плит, как они повздорили с председателем колхоза, так как он не выделил машин для фундамента, и как холодно ночами в гостинице. Обнимая Майю, он думал о том, что у них в общежитии сейчас уютно, чисто, Виталька, разумеется, отправился на танцы или в кино с девушками, и комната пустая, никого там нет, и, если бы Майя захотела, они могли бы прокрасться черным ходом, обманув бдительность вахтерши, и до позднего часа, до глубокой ночи вдвоем...

Майя обняла его за шею, губы ее тронула смущенная улыбка.

— Если ты не очень устал...— Она показала ему ключ.

Это был ключ от квартиры ее подруги. Вот оно что, сама обо всем подумала, сама решила за них обоих и теперь смущается, ей неловко оттого, что она первая надумала такое. Он промолчал, и это его молчание испугало Майю.

— Ни о чем не думай... Ты добрый, честный, знаю...

Пусть будет так...— губы ее дрогнули.— У меня скверное предчувствие. Что-то должно случиться, какая-то беда. Все против нас, Петруня!

Они не спали всю ночь. Под утро Петр вздремнул, куда-то его понесло, закачало, и он, будто сквозь завесу дождя, вдруг услышал Майкин голос.

Открыл глаза, а она, опершись на локоть, смотрит на него и шепчет его имя:

— Петрусь, Петрусь!

Видно, и глаз не сомкнула, а лежала, изучая в темноте его лицо.

— Ты не спишь? — спросил он, смутившись.

— Завтра ты уедешь. Не хочу спать.

— Меня сон сморил... Прости, Майечка...

— Ты спи, спи.— Провела пальцем по его черным густым бровям.— Я сказала дома, что мы женимся. Маме сказала, а папе еще нет.

— Я тоже напишу своей маме,— пообещал он и снова впал в сладкое забытье.

Под Новый год работали особенно напряженно. Управление обязалось сдать мастерские до января, да и хлопцам надоела холодная, неуютная гостиница, длинные вечера в чужом селе, куда и кино редко завозили. Договорились в воскресенье (это было последнее предновогоднее воскресенье) хорошенько потрудиться, чтобы полностью сдать заказ. Зато на Новый год будут до́ма и отгуляют за все дни. Правда, Петра мучила мысль: как же Майя? Каждую пятницу она приходила к последнему рейсовому автобусу, в снег и стужу ждала его, сидя в продуваемом ветром углу под пластмассовым навесом,— значит, и на этот раз она будет ждать. Надо бы послать ей телеграмму, но он не решился адресовать ее домой. Так он и не предупредил Майю.

Работы в селе закончились за день до Нового года. Председатель колхоза устроил небольшой сабантуйчик, рабочим вручили грамоты от райкома партии, школьный хор исполнил несколько песен. Председатель колхоза, растрогавшись, даже пообещал, что весной завезет каждому монтажнику в город по мешку картофеля. «Как раз на городских складах у вас уже вся выйдет, а мы вам и подбросим,— говорил он, захмелев от нескольких рюмок.— И летом можете к нам с семьями. Теперь мы свои люди. Считайте, вроде как родными стали».

Приехав в город, Петр отважился позвонить Майе домой. Трубку взял отец, Максим Каллистратович, сказал, что Майи нет, но Петра они хотят видеть. Пусть сейчас же приедет. Проговорил все тоном приказа, хотя в голосе слышались взволнованные нотки. Не случилось ли чего?

Петра несло по городу точно ветром. Не нашел такси, и пришлось бежать по заснеженным улицам и переулкам, сокращать дорогу, чтобы скорей услышать, что же там у них стряслось. Едва дотронулся до звонка, как Гурский уже стоял на пороге.

— Зять пришел! — с иронией крикнул жене.— Заходи, заходи. Спасибо, что не забыл родню.

От его голоса так и веяло холодом, а лицо было измученное, больное, словно он только что встал с постели после тяжелой болезни. В комнату приглашать не стали. Нина Григорьевна, Майина мачеха, бледноватая полная женщина, вышла в шелковом халате, прикладывая к глазам платочек. Горе у них, что ли? Неужели с Майей? Петр оцепенел, страшное предчувствие сдавило сердце.

— Спасибо вам, Петр Онуфриевич,— торжественно, немного картинно вскинув голову, проговорила мачеха.— Майя умирает... Спасибо вам за все...

— Как умирает?..— ошеломленно отступил к двери Невирко.

— Ждала вас до полуночи... воспаление легких...

— Где она? В какой больнице?

— Нет, вы туда не пойдете! — закричал Гурский, наливаясь гневом.— Есть более достойные, которым позволено сидеть возле моей несчастной дочери. И если ей суждено выжить...

Петра охватило тупое безразличие: он, кивая головой, слушая, как на него, выпучив глаза, кричал Гурский, не заметил, как ему в руки Нина Григорьевна ткнула какой-то конверт, незаклеенный и помятый.

Лишь на улице понял, что это записка от Майи. Видно, писала в больнице. Была нацарапана неразборчиво, каракулями, он сначала даже не поверил тому, что там было, перечитывал еще и еще раз, и наконец смысл записки дошел до него: «Теперь понимаю, почему ты не приехал в наше воскресенье. Отец был прав: нам не быть вместе. Прости за все. И будь счастлив. Майя».

Потом, уже в общежитии, хотел перечитать записку

еще раз, но не нашел ее. Видно, потерял по дороге. Виталию сказал, что плохо себя чувствует, простудился, наверно. Упал на постель и с открытыми глазами пролежал всю ночь.

...Петр стоял у колонны, и мысли его упорно возвращались к прошлому. Сколько времени минуло, а он все не может ее забыть. Никакой другой знать не хочет. Встретился с ней как-то. Сдержанно, даже враждебно глянула на него и не подала руки. Объяснений его слушать не пожелала, сказала, что ей некогда: у нее, мол, начинаются лекции. Знал, что уже вышла замуж за Голубовича, живут в его однокомнатной квартире.

Как мечталось и как сложилось!.. Господи, стоило ли столько переживать, если так просто все сошло на нет? Ну, любил, страдал, верил, терзался. И она верила. Все верят, пока не ударит гром. А когда загремит — прячутся в свои гнезда, и каждому — свое.

В толпе Невирко заметил Голубовича. Худой, щеки запавшие, лицо нездорового цвета, в очках, в толстом с высоким воротником свитере. Подошел к Невирко и, не здороваясь, озабоченно спросил:

— Вы Майю не видели?

— Не видел,— глухо ответил Петр, чувствуя, что краснеет.

— Что же мне делать? — оглядываясь вокруг, говорил Голубович.— Меня вызывают на симпозиум в Новосибирск, скоро самолет...

— Может быть, она в танцевальном зале? — сказал Петр.

— Удивительная беспечность! — Голубович достал сигареты, стал нервно закуривать.— Берите, пожалуйста...

— Не курю,— весь внутренне подобрался Невирко, которого эта простая и искренняя доброжелательность соперника доводила чуть ли не до отчаяния.

— А я все никак не могу избавиться от этой дурной привычки.

— Некоторые конфеты употребляют,— совсем уже некстати сказал Петр.

— Конфеты от курения?..— болезненно искривил рот Голубович.— Когда-то я летел через океан на француз-

ской «Каравелле» и увидел в салоне таблички с таким текстом: «В случае аварийной посадки на воду компания гарантирует двадцать пять минут непотопляемости». Дескать, дарим вам двадцать минут, а потом — адью к мадам акулам!..

— Вы много работаете, Игорь Александрович, у вас утомленный вид! — смущенно сказал Невирко.

— А что прикажете делать? Это, наверное, единственное, что осталось...— Он задумался.— Я хотел передать вам свои замечания по вашему проекту. Мне он нравится. Даже в сравнении с конструктивным решением американской фирмы «Спейс фортрис» у вас имеются сильные стороны. Фирма с таким претенциозным названием, как «Космическая крепость», могла бы предложить и нечто более солидное. Вы значительно выигрываете в смысле общединамической прочности. Профессор Добрынин целиком «за». Мне предложили быть вашим научным консультантом. Если вы, конечно, не возражаете.

Невирко крепко потер лоб рукой, его уклончивый, скользящий взгляд был направлен в сторону.

— Игорь Александрович,— проговорил он почти шепотом,— не мучайте меня своим великодушием.

— Личное отбросим.

— Как это?

— А вот так. Может быть, я виноват перед вами, а может, наоборот. Я люблю свою жену, хочу ей верить, и это главное.

— Тогда вы, вероятно, по-настоящему счастливы.

— Смотря как понимать счастье.

— Разве его понимают, Игорь Александрович? Оно есть, или его нет.

— Вам жаловаться грех.

— Грех — когда завидуешь другому, когда в душе творится черт знает что. Вы — народ ученый, у вас все разложено по полочкам. Вы, верно, и сердцу своему умеете приказывать.

— Ну, сердце у меня особенное,— горько усмехнулся Голубович.— Кажется, я его ношу не в груди, а в голове. Не даю ему воли. А вас я понимаю. Как терзаетесь, как беснуетесь от обиды, как проклинаете предательство Майки. Но не было здесь предательства. Просто таков ее характер — нервный, неуравновешенный. И полное отсутствие воли. Отец — вот кто ее властелин. Всей ее

судьбы. Упрямый, эгоистичный, честолюбивый и столь же бесцеремонный в выборе средств. Возможно, если бы не его вмешательство, вы с Майей были бы счастливы. Но теперь она, пожалуй, слишком далеко зашла в своем подчинении прихотям отца.— Он взял Петра за локоть.— Не мучайте себя. А я счастлив. Даже моя болезнь, да, да, моя обреченность не лишают меня счастья.

Невирко еще ниже опустил голову.

— Простите, Игорь Александрович.

— Прощаю, друг,— с глубоко затаенной болью произнес Голубович.— Виноватых нет. Есть наше дело. Ваше дело. Пока я в силах, рассчитывайте на мою помощь. Ну, до свиданья! Пойду искать Майку.

Сказал и пропал, растаял в толпе, среди незнакомых лиц, среди шума, а может, и не исчез, а просто его тут не было, как не может быть в реальности такой потрясающей, обезоруживающей душевной открытости.

К Невирко подошел Виталий Корж:

— Не слишком ли много грусти для современного молодого человека? — сказал он.

Вот у кого жизнь! Этим летом собирается Виталька отправиться в поход по Енисею, говорит, что настоящее наслаждение можно ощутить только там, на северных реках, в атмосфере суровости и величия.

— Опять, верно, Майку встретил? — допытывался Виталий, и на его широком розовом лице играла плутоватая улыбка.

— А у тебя неплохой нюх.

— Только против ветра,— хохотнул Виталик.— Как у охотничьей собаки.

Подошли две девушки: светловолосая и темно-русая.

— Виталик, познакомь нас с этим Байроном,— попросила светленькая, невысокого роста, полная и манерная. Губки ее вздрагивали, фиолетово подрисованные глаза излучали манящее сияние.

— Гений технического прогресса...— начал было представлять Петра Виталик, но тот сам быстро протянул руку:

— Рад и счастлив, что подошли. Петр. По отчеству Онуфриевич.

— Ох, держите меня! — воскликнула светленькая, словно падая назад, однако не упала, а жеманно протя-

нула Петру руку.— Себя разрешаю называть Вандой. Можно без поцелуев.

Ее подруга держалась скромнее, она протянула руку и сказала негромким грудным голосом:

— Полина.

Петру не хотелось вступать в разговор с девушками, они были ему неинтересны; и вечер, который он мог бы с ними провести, тоже казался ему скучным. Его хмуроватый вид и молчаливость не сулили компании особого веселья. Хорош собой, ну так что из этого? Если хорош — надо заноситься? На танцы ходят для развлечения, а мысли оставляют дома. Велосипеда все равно не изобрести. И прогрессивки за серьезность не дают.

Виталик решил спасти положение.

— Уважаемые Ванда и Поля! Как вы думаете, может, нам выйти на свежий воздух? Или потанцуем сначала?

Петр отмахнулся:

— Натанцевался сегодня с панелями. И вообще, по состоянию здоровья не танцую.

— Ясно,— глубокомысленно изрек Виталик,— для того, кто вынашивает великие идеи, танцы — слишком примитивный вид развлечения.

— Совсем не смешно,— даже обиделась за Петра темно-русая скромная Поля.— У товарища, может, тяжело на душе. Это с каждым может быть.

Угадала девчонка. Ой, как угадала! Не то что тяжело, а прямо нестерпимо, и сам не знаешь, что с собой делать, у кого просить помощи. Чудак он, только и всего. Неловко перед девушками, и милый Виталька так старается растормошить его, и все тут свои, собрались повеселиться. Петр глубоко вздохнул.

Думал было уже извиниться перед Виталиком, сказать что-нибудь в свое оправдание Ванде и Поле, но вдруг... он увидел Майку. Увидел в тот самый миг, когда она со своим Голубовичем и еще каким-то молодым человеком в вельветовой куртке спокойно прошла мимо него, не заметив; направились в глубь фойе, к столам со сладостями и лимонадом.

Петра будто качнула высокая волна. Сердце забилось быстро и неровно. Опалило желание что-то сделать, что-то немедленно предпринять, совершить нечто дикое, несуразное, нелепое. Ни разу не доводилось ему встречать их вместе. Доселе их брачный союз был для него чем-то

абстрактным, он не представлял себе, что это правда, он все еще верил и надеялся на возврат прошлого, на примирение с Майкой, на их любовь с Майкой, на радость и горе с Майкой.

Он неотрывно смотрел им вслед, и вид у него был растерянный и убитый.

— Что с тобой? — осторожно спросил Петра Виталик, коснувшись его руки.

— Извините... задумался немножко,— насильно улыбнулся Петр.

— Вам тяжело, правда? — сочувственно спросила светленькая толстушка Ванда и бросила заговорщический взгляд на Виталия.— Друзья, давайте снимем тяжесть с души товарища Петра.

— Правильно,— согласился, мигом уловив настроение девушки, смекалистый Виталий Корж.— А для этого сплоченными рядами направляемся к моему «мерседес-кадэту», который ждет нас во дворе.

Ванда захлопала в ладоши.

— Ура-а-а!

Петр для чего-то еще бросил взгляд в сторону фойе, будто посылая туда свою последнюю надежду. Где она, послушная дочь своего честолюбивого отца? Где они, счастливые супруги? Их уже не было видно. Пусть все будет так, как есть. Он тоже имеет право на свою маленькую утеху и маленькую радость.

— Давай свой «опель-кадэт», свой «мерседес-бенц», свой «роллс-ройс»! — отбросив колебания, согласился Петр.

Ванда от восторга обняла свою подругу и, бросив на Петра кокетливый взгляд, проговорила настойчиво и маняще:

— Только я сажусь сзади.— Она взяла Петра под руку, прижалась к нему.— И товарищ Невирко со мной...

Маленький скромный «Запорожец» Виталика мчался по вечерним улицам. Хоть и тесно в машине — не беда; все пребывали в отличном настроении, громко смеялись, шутили.

Остановились у Днепра, на взгорке, побежали все вместе к воде. Луна сияет, машина далеко светит включенными фарами. По середине Днепра фарватером движется величавая, похожая на дредноут самоходная баржа с красными и зелеными сигнальными огнями, проплы-

вает мимо них, точно хозяин этой водной стихии. На корме в каюте — освещенное окошечко, и в нем женская фигура — выпрямилась, подняла руки, блаженно потягивается. Маленький мирок, свое особое таинственное и непостижимое счастье, а может, печаль и одиночество.

Майя мечтала, что они отправятся в дальнее путешествие по Днепру, всё уже распланировали: где будут останавливаться днем, на каких пристанях будет отдых, как посетят могилу Кобзаря, а потом — серебристым простором вниз, к морю, мимо круч, через днепровские пороги, где шлюзы, и плотины, и могучие бастионы заводов.

Те давние захватывающие мечты теперь казались Петру детской забавой. Наверное, уже намечены маршруты Майи и Голубовича, ведущие их в счастливое будущее. Все им дается легко, начиная от обыкновенного билета и мест в гостинице. Помнится, Максим Каллистратович, разговаривая однажды с Петром, довольно ясно намекнул ему на то, что быть мужем Майи Гурской — большая ответственность и нелегкий груз. Доцент Голубович — откровенно издевался он над Петром — уже сегодня способен обеспечить Майе наилучшие условия жизни, одевать, хорошо представить в обществе, способствовать ее дальнейшему образованию. Майя, может, и не пылко в него влюблена, но понимает, как важно в жизни найти верного друга, надежного попутчика. Поэтому лучше им, Петру и Майе, не связываться, не портить друг другу молодые годы. Все равно он, Гурский, не допустит этого авантюрного, неумного брака.

Самоходная баржа растаяла в ночной темноте, лишь красные и зеленые огоньки ее еще мигали в черном мраке, и оттуда долетал басовитый рокот мотора.

— Имеется предложение,— подал голос с берега Виталик.— Едем туда, где наши предки охотились на кабанов...

— В «Дубки», в «Дубки»! — весело зазвенел голос Ванды, которая, очевидно, была хорошо знакома со всеми городскими ресторанами.

Что ж, у каждого свой маршрут. Барже — плыть к морю, ему, Петру Невирко, предстоит путь к веселым кострам, на охотничьи тропки давних времен. С этим Виталием и вправду не соскучишься, и в работе огонь, и в веселье первый. Жаль только, что с девушками так

обращается, обижает их. Сегодня у него одна, завтра — другая...

Проехали через весь город, мимо тысячи ярких окон, под неонами, светофорами, под шелестом густолистых каштанов. Виталька ведет машину, девушки обмениваются с ним шутками, а ты себе сидишь, будто в какой-то тесной летящей капсуле, и только мелькает за окошками волшебный свет ночи, только слышишь скрип тормозов и ощущаешь теплую Вандину руку. Бедняжка сперва решила затеять с Петром маленький дорожный флирт, положила ему руку на плечо, но он никак на это не прореагировал, и девушка обиженно отодвинулась от него, насколько это позволяли габариты тесного «Запорожца».

В ресторане шум, гам, музыка, мелькание раскрасневшихся лиц, обнаженных плеч, рук.

Странные эти ресторанные завсегдатаи, они казались Петру пришельцами из другого мира, хотя он вроде бы видел их раньше, встречал в конторах, за прилавками, на улице, знал работящими, озабоченными, занятыми своим делом, и вот они — здесь, и исчезло для них все на свете, и хочется им только одного: веселья, веселья и веселья! Будто торопятся куда-то, спешат ухватить миг призрачного счастья.

«Я глупец, я болван,— с горечью думал Петр Невирко.— Мир надо воспринимать обыкновенным, мир — это мы все, с нашими слабостями и характерами, с нашей изменчивой натурой — ведь часто мы сами не знаем своих желаний, вечно чего-то ищем. Какое право имею я осуждать этих людей, их смех, их преувеличенную веселость? Разве я лучше их? Разве и мне не дано жить просто, как живется каждому из них?»

Обвел глазами зал и, себе на беду, снова увидел Игоря и Майку с компанией. Их столик был неподалеку, на нем — бутылка шампанского и пирожные. Было видно, что эти люди явились сюда не чревоугодничать, это сидение в ресторане было для них обычным эпизодом, легким развлечением.

Майка в упор смотрела на него. Была в своем любимом платье с длинными рукавами, прическа гладкая, волосы на затылке схвачены ленточкой, лицо спокойное, умиротворенное, слегка грустное.

Она смотрела на него, взгляды их встретились, и

между ними начался немой, понятный лишь им одним диалог.

«Неужели ты поверила чьей-то лжи? — спросил он ее с горечью.— Неужели ты не знаешь, какой я на самом деле?»

«А ты — обрадовался, что я вышла за другого»,— упрекали Майкины глаза.

«Ведь мы клялись, мы обещали друг друга любить вечно».

«Наши клятвы существовали только в том, нашем мире. Его разрушили, и все разлетелось».

«Но мы с тобой живы, и у нас есть разум».

«Есть судьба, которую не сломишь».

Неожиданно от столика, где сидела Майя, отделился Анатолий Найда, без приглашения подсел к Невирко.

— Анатолий Найда...— представился он друзьям Невирко.— С Петром мы старые знакомые.— При этом он дружески положил на его плечо свою широкую ладонь.— Я из кинохроники.

— С хроникой мы знакомы,— откликнулся Виталий, который был уже, как говорится, под градусом.— Снимали нас ваши... полпреды. Ничего ребята.

Невирко с симпатией разглядывал Анатолия. Незаносчивый, добрый, без тени зазнайства, хотя, кажется, из важных — пишет, снимает. Его отец не раз нахваливал сына, гордился им. И вот он сидит — полноватый, лобастый, с чисто найдинскими серо-голубыми глазами. Немного, видно, утомлен после рабочего дня. Усталость чувствуется даже в голосе, в замедленной тихой речи.

Оказывается, знаком с Голубовичем, да и в доме Гурских свой человек. Анатолий рассказывает о фильме, снятом на их строительстве, очень удачная лента, прекрасно смонтированная, с откровенной критикой и даже с прямым попаданием в цель. Но по поводу одной детали Анатолий хотел бы поговорить откровенно. Пытался завести разговор об этом со своим отцом, но тот ссылается на Невирко: дескать, не мое это дело. Следовательно, Петру, и только Петру, необходимо подумать над этим.

— Над чем я должен подумать? — глухо спросил Петр. Выпив несколько рюмок, он чувствовал себя злым и задиристым.

— В той сцене, где вы говорите о бракованной продукции... Всю вину вы сваливаете на главного инженера Гурского.

— Потому что это и есть его вина,— резко сказал Невирко.

— Я понимаю, Петя,— накрыл его руку своей ладонью Анатолий Найда.— Скверная работа стана Козлова, необходимость его капитального ремонта, перебои... Отвечает за это в первую очередь, конечно, бог техники — Гурский, который вдобавок исполняет функции директора. Ну, Гурского вы покритиковали, бросили камешек в его огород, выказали принципиальность.— Анатолий плеснул себе в фужер минеральной воды, отпил глоток и, минуту подумав, продолжал: — Хорошо. Но вы-то знаете, что многое зависит не от Гурского, есть объективные причины, смежники, поставщики, субподрядчики. Наверху это учитывают и правильно оценивают...

— Вы боитесь показывать этот фильм?

— Мне бояться нечего. Нас только похвалят за такую вещь. Принципиальная критика всячески поддерживается. Я думаю о тебе, Петя,— перешел Анатолий на дружеский тон.— Для чего устраивать детонацию и портить отношения с людьми? С правильными людьми? Для чего раздувать в коллективе ажиотаж, раздражение? Бате и так трудно. А тут еще ты...— Он подумал минутку.— Что я хотел сказать?.. Ага... Критикуй кого хочешь. Пускай те кадры остаются. Их уже не вырежешь. Они крепко впаялись в общий сюжет. Но только...

— Не тяни, говори прямо,— мрачно проговорил Невирко.

— Фамилию Гурского я советовал бы снять.

— Как это... снять?

— Ну, придешь к нам, напишешь заявление, что ты продумал свое выступление во время съемки и считаешь его несколько преувеличенным,— начал убеждать Петра Анатолий.

— Преувеличенным? — повел густыми бровями Невирко.— Значит, я должен наклепать на себя, что ли?

— Да нет. Ну что ты дурачком прикидываешься? — начал сердиться Анатолий.— Ты перед микрофоном скажешь какую-то другую фразу. Например, жаль, что иногда еще бывают сбои в поставках материалов. Но мы, мол,

все хорошо понимаем, как трудно сейчас на комбинате в связи с его реконструкцией, и уверены, что в ближайшее время неполадки будут устранены.

Петр отвел в сторону глаза. Захотелось увидеть Майку. Если бы она принимала участие в этом неприятном разговоре и если бы услышала все, то, быть может, сказала бы, как ему поступить. Ведь это об ее отце речь, о Максиме Каллистратовиче, который выгнал его из своего дома. Но Майка спокойно с кем-то разговаривала, и Петру вдруг показалось, что она вовсе забыла о нем, ей нет никакого дела до этого разговора, даже руку положила на плечо Голубовича, совсем как-то по-домашнему, интимно.

Сердце у Петра заныло.

— Хватит, насиделись! — бросил он тоном, в котором чувствовалась угроза.

— Поедем? — спросила Ванда, глядя на Петра влюбленными глазами.

— Извини...— попытался задержать его Анатолий.— Мы же не договорились.

Невирко развел руками, болезненно скривился:

— Ну что ты ко мне пристал? Что ты со своими съемками! Хватит с меня! — Он готов был грохнуть кулаком по столику.— Мы зашли отдохнуть, а ты цепляешься, цепляешься!

Глаза у Анатолия сузились, что-то нехорошее, даже злобное промелькнуло в них.

— Уважил бы Алексея Платоныча.

— Не о твоем отце разговор, а о Гурском.

— И о Невирко.

— За меня, Анатолий Алексеевич, не беспокойтесь.

Анатолий сжал губы, видимо подавляя в себе желание сказать что-то резкое. Нахмурясь, помолчал, и вдруг его рука потянулась к внутреннему карману. Достал сложенную газету, положил на стол.

— И это тебе безразлично? — спросил иронически.

Все склонились к газете. Фотография, на ней знакомые лица, сдержанные улыбки. Ванда обрадованно хлопнула в ладоши:

— Наш Петрусь! Точно! С монтагой!

Это был снимок, присланный из Лейпцига. Петр мгновенно вспомнил, как фотографировали их во время монтажа, как попали они и в объектив «своего» же, москов-

ского, фотокорреспондента — сметливого, быстрого в движениях товарища, который потом записал в свой блокнот, кто они, откуда, каким управлением посланы. Была и небольшая заметка под снимком, в ней упоминались Найда и Невирко.

— О тебе уже знают наверху! — усмехнулся Анатолий.— Тут честь надо беречь.

Жаль было отдавать газету, но Петр аккуратно сложил ее и вручил Анатолию. Сказал сурово:

— Если уж беречь честь, то без ваших фокусов-покусов!

— Гляди, гляди,— с легкой угрозой процедил Анатолий и направился к своему столику.

Виталий живо наполнил всем рюмки.

— Ребятки, не тушуйтесь! Я предлагаю выпить за гениальнейшего артиста кино, за нашего знаменитого Петьку Невирко! Ура!

Они стоя выпили и сквозь кипение зала и грохот оркестра двинулись к выходу.

На улице возле «Запорожца» вышла задержка. Полина глянула на часы; видно, ей пора было домой. Петр стоял с безразличным видом. Но Виталик решил не сдаваться.

— Среди нас именинник — и уже по домам? А не рано ли? Хочешь или не хочешь, Петро, а мы должны почтить тебя по-настоящему. Скажу по секрету, что для такого случая в багажнике я храню хорошенький флакончик.

— Мало! — закапризничала Ванда.

— Нацедим из карбюратора еще один,— великодушно пообещал Виталий.— Только не здесь. Душа просит свободы, простора.— Он почесал затылок, явно что-то затевая.— Идея! Едем на наш объект! Да, да, милые мои. Едем туда, где мы собственными руками воздвигаем будущее.

— Но там же третья смена,— возразил Петр.

— Фома ты неверный! — засмеялся Виталик.— В эпоху массовой информации забываешь, что все данные находятся в этом компьютере.— Он стукнул себя пальцем по лбу.— Забыл? Ночной смены сегодня не будет. А сторож Жугай спит, верно, запершись в будке, чтобы его не выкрали вместе с ценным оборудованием и кудлатым Мациком.

— На объект! — повеселела Ванда.— Я хочу посмотреть, что вы воздвигаете.

Поля, вздохнув, посмотрела сокрушенно на Невирко, в глазах ее были усталость и грусть.

— Вот фантазер,— проговорила она, не решаясь отказаться.— Теперь до утра будем мотаться по городу. Романтики!

На строительной площадке было ветрено, холодно, неуютно, и настроение у всех заметно упало.

— Если бы погреться,— вздохнула Полина.

— Пожалуйста!..— промолвил тоном волшебника неунывающий Виталик.— «Пусть всегда будет солнце»!

Он двинулся куда-то в нагромождение строительных конструкций, меж наспех закрепленными панелями, потоптался там и наконец включил установленный на треножнике светильник. Яркое сияние четырех фонарей разлилось на верхнем этаже, со всех сторон окруженном ночной мглой. Сквозь незастекленные окна мерцали огоньки окраин, линии трасс, мостов.

Стало будто теплей, все почувствовали себя уютней, в надежном, теплом прибежище. Только Невирко, хмурясь, поглядывал вниз.

— Влетит нам за этот фейерверк, Виталий.— Хмель выветрился из его головы, и теперь явилось чувство трезвой и строгой рассудительности.

— Огонь Прометея,— сказала Ванда, стоя рядом с Виталием.

Ей, по правде говоря, хотелось веселых развлечений. Ведь в ресторане только начали, вошли, так сказать, во вкус.

Вспомнили о музыке. Виталий, оказывается, захватил с собой магнитофон, маленькую черную шкатулку, которой очень гордился, японский аппарат самой лучшей марки. Раздобыл он его по знакомству. У Виталика вообще всюду знакомства. Однажды повел Ванду в центральный универмаг и там купил ей роскошные югославские сапожки,— победно улыбаясь, вынес их прямо из подсобки. Есть же такие люди: словно бы простые, скромные, а везде у них знакомства, все им удается, и денежки водятся, и жить они умеют, думала Ванда, наблюдая за Виталиком.

— Ну, друзья, мало вам веселья? — задорно спросил

Виталик, налаживая магнитофон.— Все свое, видите, ношу при себе, как говорили в Древнем Риме.

— Не надо о Древнем Риме,— надула губы Ванда.— Я провалилась на экзаменах на исторический факультет.

— Петро, ты слышишь? — вздернул чубатой головой Виталик.— Она против расширения культурных связей с заграницей.— Он манипулировал возле своего магнитофона.— Погодите, девчата, скоро нас позовут выпрямлять Пизанскую башню, реставрировать Колизей, мостить заново площади Венеции. А там — найт клабс, машины с восьмицилиндровыми двигателями, кабальеро, пистольеро.— Он нажал на клавишу магнитофона, и ударила ритмичная музыка. Подхватив Ванду, Виталик принялся танцевать на маленьком бетонном пятачке.— В эпоху технического прогресса самое главное — жить просто и счастливо. Пить жизнь, как пьют терпкое грузинское вино.

Гремел магнитофон, сиял прожектор. Виталик и Ванда выделывали на узенькой бетонной площадке замысловатые па. Виталик был в ударе. Ванда взвизгивала от восторга. Это ли не жизнь? Не молодость?

Только Петр Невирко курил, стоя у окна, заглушая в себе досаду и недовольство. Снова вспомнился разговор с Анатолием Найдой. Мало у него было неприятностей, прибавилась еще новая — с этим фильмом. Эх, была бы здесь Майя. Взял бы ее за руку, повел бы по ночному городу или в парк на приднепровских кручах, туда, где с эстрады гремит музыка, а на тенистых скамейках сидят парочки.

Опять Майка не выходила из головы! Сладостно было вспоминать, как она смотрела на него через зал, призывно и жадно, будто обещала что-то или хотела напомнить об их любви. Подумал, что, вероятно, и этот фотоснимок в газете видела, знает о его делах, в душе, может, и сожалеет, что так все вышло. А может, оскорблена его заявлением перед кинокамерой? Ведь отца ее обидел, критиковал перед всем белым светом. Стоило ли это делать? Говорят, хоть и казенная душа, однако и себя не щадит, в труде двужильный, работает как вол: оперативки, заседания, выезды на объекты, инспектирование цехов. Иной раз явится прямо на строительную площадку, наденет каску — и давай шуровать! Однажды гайки всю ночь прикручивал на металлических пластинах, когда

«горел» план. Всех конторских заставил включиться в работу. Нет конторских, сказал, нет бухгалтеров, секретарей, когда дело горит. Нужно,— значит, нужно. Вот такой он, этот Гурский! Правда, во время этой шумихи не замечал никого, не снисходил до отдельных «единиц», а когда оставался с кем-нибудь наедине, то был резок и нетерпелив. «Я за комбинат отвечаю, а вы за свою голову! — отчитывал одного молодого прораба.— Помните: нам доверено огромное дело. Никаких жалоб слышать не хочу. Хоть руками ставьте панели, а чтоб норма была!»

Петру от этих криков всегда становилось не по себе. Что не жалел никого и себя самого — это правда. Но кричать-то зачем? Хочешь в лепешку разбиваться — разбивайся, но не выставляй себя на людях эдаким энтузиастом. Слава — она сама явится, не обойдет того, кто ее заслужил. Вот он, Петр, побывал в Лейпциге, его имя в газете упомянуто, статья о нем написана. А все-таки, что бы там ни болтали шутники, приятно слышать о себе похвальное слово. Жил себе неизвестный Петя Невирко, а теперь все узнают, кто он, какие у него золотые руки.

Когда был мальчишкой, отец, сельский плотник, бывший фронтовик, любил брать Петруся на руки и, пряча под рыжими усами довольную улыбку, принимался рассказывать ему свои военные бывальщины: как танкистом форсировал он Десну, как на Лютежском плацдарме в полночь их танковая бригада двинулась с зажженными фарами и с ревом сирен в атаку, как гнали потом фашистов до самого Фастова. За те бои отцу дали орден Красного Знамени, а товарищ его, Михайло Коршун, тоже водитель «тридцатьчетверки», Героя получил. Хороший хлопец, славная, отважная душа, погиб на Сандомирском плацдарме. В жизни, говорил отец, всегда кому-то больше везет, кому-то меньше, как сложится, но разве в том беда или обида, разве нет у тебя самой большой радости от мысли, что ты сделал для людей все, что мог, не покривил душой, не искал легких путей? «Сказали бы мне тогда на Сандомирском,— говорил отец с грустной задумчивостью на лице,— прими смерть вместо Михаила Коршуна, я и минуты бы не колебался, всего себя до последней кровинки отдал бы за товарища».

Петр вдруг подумал, что, если бы отец дожил до

этих дней, большой радостью было бы для него увидеть газету с фотографией Петра; пускай бы ветеран узнал, как вышел на широкую дорогу его сын Петрусь. Соседи сошлись бы в хате, под старой грушей на лавочку уселись, завели бы чинную беседу о том о сем, а отец, словно нехотя, достал бы из кармана газету, развернул ее перед соседями: гляньте, мол, вроде физиономия знакомая, не узнаете? Петрусь мой, рабочая косточка, на всю страну прославился! И может, зазвенела бы в его сердце радостная струна, потому что не обошла их семью радость...

Виталик, наплясавшись, подошел к задумавшемуся Петру, крепко обнял его за плечи.

— Вот ты у нас какой, Петрусь! — словно угадал его мысли.— Товарищ Слава открывает перед тобой золотые ворота!

— А ты что, завидуешь? — спросил Невирко.

— Если по-честному, то немножко есть,— сознался товарищ.— Но не золотым твоим воротам. Я для почестей непригоден, как говорил мой дядька. Но жизнь у тебя пойдет теперь полегче, широкая дорога перед тобой открывается, пошел и пошел по ней. Заслуженный, передовой! Меньше загорать будешь на площадке — чаще в президиумах.

— Хорошего же ты мнения обо мне, Виталий.

— Диалектика, товарищ Невирко. У нас любят всю славу отдавать одним и тем же.

— А что бы ты хотел?

Виталий взял Петра за отворот куртки, притянул к себе, лицо его стало непривычно серьезным.

— Я хотел бы,— ответил раздраженным тоном,— чтобы вы, передовые, славные и тэ дэ, и тэ пэ, болели за общее дело.

— А может, мы дорогу для других прокладываем?

— Может, и прокладываете,— нехотя согласился Виталий,— только вас догнать трудно.

Ванда с досадой крутнула магнитофон.

— Долго вы будете проводить свою оперативку?

— А ты новую пластинку поставь,— отозвался Виталий.— Погромче!.. А то развели тоску...

— Хватит шума,— погасил его порыв Петр Невирко.

— Заячьи вы души!

— Хватит, говорю, а то сторожа разбудим.

— Боишься старого Жугая? — хохотнул Виталий.— Герой!.. Испугался какого-то деда! А я не боюсь. Мы воздвигаем, мы и хозяева. Я его позову сейчас, нашего старого Жугайчика. Рад будет пропустить рюмашку!

Позвать деда, однако, не успел: он сам поднялся наверх со своим «ружжо́м», в долгополом кожухе выступил из темного лестничного проема. А за ним... два милиционера! Остановились молчаливыми суровыми призраками на лестничной площадке, ожидая, пока «хозяева», вдоволь натешившись, наконец угомонятся.

Первым заметил их Невирко. Сразу же выключил магнитофон.

Один из милиционеров раскрыл сумку-планшетку, вытащил оттуда бумагу.

— Прошу назвать свои фамилии, граждане,— потребовал неумолимым тоном следователя.— Место жительства? Откуда прибыли на строительный объект?

В дело вмешался дед Жугай: добродушный, с бородкой-мочалкой, сухощавый, с вечно слезящимися глазами. Откуда было ему знать, что тут свои? Увидев их, сразу переключился на шутейный тон.

— Гуляки вы несчастные! — крикнул он.— Из-за вас вот товарищей побеспокоил.— И к милиционеру: — Можете не записывать, своя кумпания.

Однако милиционер никого не собирался прощать: нарушение порядка, тем более ночью, в его патрульной зоне — дело серьезное.

— Как это — «своя кумпания»? — набросился он на старика.— Вы что, гражданин дежурный, забыли, на каком посту находитесь? Вот они — «свои»? — ткнул пальцем на девчат.— Начинают с танцев, а кончают...

Дед хотел было заступиться за хлопцев, жалел уже, что вызвал милицию, наделал такого шума. Принялся уговаривать старшего патрульного, что это, мол, хороший народ, трудовой, сами эти стены и возвели. Товарищ Невирко, разве не слыхали? К ордену представлен, первый монтажник в управлении, правая рука товарища Найды...

Все было напрасно.

— Про Найду слыхали,— кивнул милиционер.— Жалко, что его хлопцы в такую историю попали. И вы меня, дед, на беззаконие не подбивайте. У нас с ночными гуляками — свой разговор. Верно я говорю, товарищ

сержант? — обратился он за поддержкой к своему коллеге.

— Какие могут быть разговоры! — строго ответил второй милиционер.— Пойдемте в отделение — и точка!

Петр Невирко глянул, словно прощаясь, в оконный проем, беспомощно развел руками.

— Пошли, Виталик,— сказал невесело.— Вот и потанцевали!.. На панелях лучше с перфоратором танцевать, а не с магнитофоном.

И он первым зашагал к лестничному пролету.

В дежурной комнатушке Жугая было тесно и не убрано, на подоконнике играл маленький транзистор в кожаном футляре — передавали непонятную восточную музыку. Под потолком тускло светилась лампочка. Стоял непокрытый изрезанный ножом стол с черным телефоном, продавленный диван с двумя валиками, колченогий венский стул.

Все зашли внутрь, кроме Полины. Она стояла на улице и, прижимая ко рту кулачок, горько плакала. Ванда оказалась решительнее: протиснулась к телефону, набрала номер. Никто ей не ответил, и она набрала снова. Слушала долго, упрямо. Когда и на этот раз не ответили, она повернулась к Петру и сердито сказала:

— Ну, позвони же куда-нибудь, Петр!

Старший из патрульных глянул на нее сочувственно. Спросил, куда, собственно, звонить? Вопрос и так ясен. Он был по натуре добрым, и ему стало жаль девчонок. Сел к столу, положил на него планшетку, вздохнул. Чего уж там!.. Он показал рукой на дверь и сказал, что девушки могут идти. И пусть хорошенько подумают, с кем проводить по ночам время. Когда за Вандой захлопнулась дверь, принялся за хлопцев: основательно, с пристрастием и придирчивостью. Откуда, сколько лет, место жительства, пол...

— Пока что мужской,— сердито ответил Невирко.

— Так и запишем: мужской,— произнес, не обращая внимания на его тон, патрульный милиционер.

Милиционер в кителе, с широким поясом, при кобуре, в милицейской фуражке, сдвинутой на затылок, руки тяжелые, узловатые, трудовые. Заполняет все тщательно, очень точно, будто схватил настоящего преступника, к

которому не может быть доверия. Петр и Виталий стоят у двери немного подавленные: влипли в историю из-за такой ерунды. Кто, собственно, виноват? Надо же было с этой музыкой лезть на верхотуру. Противный старикашка! Петр искоса поглядывал на совершенно упавшего духом Жугая, который сел на продавленный диван,— козлобородый, в брезентовом плаще, в огромных сапожищах... Своих, своих подвел!..

Был заполнен один акт, потом другой. Ставились какие-то подписи, уточнялись фамилии, адреса. Под окном дежурки прохаживался второй милиционер: красный огонек сигареты ярко вспыхивал в темноте. Охрана, ничего не поделаешь!

Старший патрульный наконец поднял голову, снял фуражку и вытер ладонью реденькие, слипшиеся волосы. Устал папаша! Столько написать и — ни одной помарки. Дело складывалось неважно. Из нескольких слов патрульного Петр узнал: его младшего брата убили бандиты в Молдавии. Ворвались в сельскую кооперацию, думали, что легко отоварятся за народный счет, а тут случайно оказались двое из районной милиции. Началась драка, дошло до пистолета. Брат для острастки выстрелил в окно. Его свалили. Другого — тоже. Пятеро — на двоих. Топтали, издевались... Брат, не приходя в сознание, умер в больнице. Его товарищ выжил. Вот как было. И что же? Терпеть, возиться с такими? Бандиты были молодыми людьми, учились, умели говорить умные слова.

Старший патрульный обернулся к Петру и потемневшим взглядом окинул его красивую стройную фигуру.

— Вы ведь тоже учитесь?

— Кончаю институт, товарищ старшина,— тихо ответил Невирко.

— А мой брат недоучился.

— Понимаю, товарищ старшина.

— Вот так...— Милиционер разгладил ладонями акт, глаза его потеплели. Видимо, понимал, что имеет дело не с бандитами, не с хулиганами. И все же оставался беспощадным стражем порядка.

И тут послышались чьи-то голоса. Петр сразу узнал Алексея Платоновича. Явился совершенно нежданно, свалился как снег на голову. Потом выяснилось, что ему позвонила Полина. Приехал, запыхавшись переступил порог. Взволнованно осмотрел комнатушку с туск-

лой лампочкой под потолком. Что случилось? Почему здесь?

Его появление, видно, подействовало на патрульного. Найду в городе знали, и старшина обрадовался ему, как старому знакомому.

— У вас на стройке... беспорядочек...— Он показал сперва на парней, потом на густо исписанные листки бумаги.— Подписать бы надо.

Найда со слов Полины уже знал о случившемся. Естественно, нелепость. Прочтя акт, не нашел там ничего особенного. Попросил хлопцев выйти на улицу.

— Пусть поостынут,— сказал тоном, которому не решился перечить даже патрульный милиционер. И когда они закрыли за собой дверь, взял старшину за руку.— Я вас прошу только об одном... Возьмите расписку... Рапорт по инстанции... Что угодно. Но поверьте мне, такая штука может погубить их, если дело попадет в определенные руки! Не сегодня, не завтра, но будет беда!

Старшина поднялся, сдвинул плечи.

— Вам виднее, товарищ Найда. Хлопцы, видать, неплохие... И если вы считаете...— он нерешительно взял акт, пробежал его глазами,— если вы за них ручаетесь...

Он еще подумал, посмотрел на листки, сокрушенно вздохнул и разорвал акт на клочки.

— Спасибо, старшина,— сказал Найда и подал милиционеру руку.— Вы сделали доброе дело.

* * *

Сына своего Алексей Платонович навещал не часто.

На этот раз вышло так, что он находился неподалеку от его дома, возвращаясь из монтажного управления, и решил, что неплохо бы проведать внука, узнать, как там идут дела. Найда знал: живут трудно, неровно, не все у них ладится — нет полного согласия и доверия. Тося долгое время нигде не работала, ссылаясь на болезнь малыша. Мол, за ним нужен особый уход, здоровье слабое, и в доме некому следить за порядком. После все же устроилась в какое-то министерство. Посадили Тосю разносить и регистрировать бумаги и она регистрировала, занималась разными сплетнями, бегала по магазинам за модными тряпками. Потом Тосю из технических сек-

ретарш перевели на должность секретарши производственной.

Доходили и другие слухи: Тося изменяет мужу. Он, впрочем, этот вопрос не затрагивал, не хотел, чтобы в молодой семье начался разлад. Ребенок растет, она может образумиться, дурь ее пройдет. Она мать неплохая. Со временем и к Толе повернется душой.

У сына как раз собирались обедать, пригласили и отца к столу. Но он отказался, заявив, что у себя на стройке уже пообедал с ребятами.

— Вы ешьте, а я с Андрейкой поиграю,— сказал Найда, усаживаясь с малышом на диване.

Анатолий был мрачен. Хмурилась почему-то и Тося, гремела посудой, моталась из кухни в комнату, словно ветром ее носило. Опять поругались, что ли? Домашние ссоры — сколько они у людей отнимают сил, здоровья, времени! Почему-то в молодых семьях слишком часто ссорятся. Пока гуляют в парках, там им и счастье грезится, и клянутся в верности, не оскорбляют друг друга. А начнут жить под одной крышей — все уже не так, все наперекор. Не раз приходилось Найде слышать жалобы пожилых людей на молодежь. Кое-кто даже прямо заявлял: «Родители во всем виноваты, не учат своих детей уважению, сдержанности, все им с малых лет подают на тарелочке, растят барчуков. Слишком мы церемонимся там, где нужна строгость».

«А может, не строгостью, а добротой надо растить и воспитывать нашу молодежь? — размышлял Найда.— Привыкли кричать где надо и где не надо. От Гурского, кроме окриков, слова доброго не услышишь. На оперативках, бывает, с таким остервенением выступает, что стыдно становится, и грустно, и досадно».

Однажды за что-то обрушился на прораба Хотынского, под чьим непосредственным руководством работает Алексей Платонович. Молодой инженер, деловой, смекалистый, добросердечный, но Гурскому подавай иной «стиль». Набросился на инженера за какой-то недосмотр, пригрозил перевести на отдаленный загородный объект. Алексей Платонович тогда не сдержался и высказал Гурскому все. Сказал, что подобными методами до коммунизма не добраться, что не ради этого они сражались с фашизмом, отдавали свою жизнь... Гурский рассвирепел тогда: «Человек ты известный, орденов у тебя

немало, но для меня это ничего не значит. Я за план отвечаю, я хочу для народа побольше жилья, школ, больниц, детских садов, а ты меня толкаешь на путь гнилого либерализма? Не выйдет, товарищ Найда!»

Слава богу, Найду этим не возьмешь. Знают его всюду и уважают...

— Слушай, батька,— произнес Анатолий.— Я Гурского знаю. А ты ведешь себя не всегда умно. Больно шумишь!

— Вот и Петро то же говорит...— отмахнулся Найда-старший, ласково перебирая шелковистые волосики внука заскорузлыми пальцами.— Только уж поздновато мне переучиваться...

Однако Анатолий пытался убедить отца, что надо вести себя потише. Найда-старший замечал, что с годами в характере сына появилась практичность, даже какая-то изворотливость, ловкачество. Он считал, что надо жить умно, сообразуясь с обстоятельствами. Жизнь — штука трудная, только успевай вертеться.

— Помнишь, дед мой, Филимон, говорил: кусачего пса хватай за загривок,— гнул свое Анатолий, доедая суп.

— Убегать от собак не годится, а то штаны сзади порвут.

— Да разве кругом только одни собаки, отец? — усмехнулся Анатолий.— Есть у нас, конечно, и грубость, и хамство, и карьеристов хватает. Хороших людей больше. Зачем же паниковать? Зачем портить себе здоровье? И чего этот Гурский сидит у тебя в печенках?.. А между прочим, Гурский иногда ночи просиживает над своими бумагами, чертежами, себя для дела не жалеет. Постой, постой! Знаю, о чем ты! Правильно, папа, людей надо любить и уважать. Гуманизм — великое дело. Я только за разумный и практичный гуманизм, за то, чтобы твой Петя Невирко не демонстрировал перед кинокамерой своего геройства и не кидал камни в собственный огород. Не ясно? Поясню. Все знают, что твой милый Петя попросту мстит Гурскому, мстит за любимую девушку, он ведь потерпел фиаско, ухаживая за Майей. Слыхал, вероятно?

— Слыхал,— хмуро ответил отец.

— Вот и получается: какой-то парень, пусть даже самый замечательный, разумный, работящий, перспективный, сводя счеты со своим несостоявшимся тестем, ставит под удар Алексея Найду. Именно в то время, когда Найде следовало быть особенно осторожным, рассуди-

тельным, деловым. Знаешь сам, что успехи на работе зависят от многого: могут подвезти панельки, а могут и не успеть их вовремя доставить. И запасные детали тоже прибудут с опозданием — ты, папочка, со своей бригадой в вынужденном простое. И план — тю-тю!

— Хорошего они выбрали парламентера для передачи ультиматума,— горестно вздохнул Алексей Платонович.

— Я взял на себя эту миссию, папа, без их ведома,— заявил Анатолий, но по его виду Найда понял: сын говорит неправду. Видно, нажали на него...

С сыном следовало поговорить, уж лучше с ним, с родным человеком, чем со всякими прощелыгами. Тут, по крайней мере, можно добраться до истины, поставить все точки над «и». Настроение у Алексея Платоновича после вчерашней истории с Петром было неважное. Хорошо, что ему удалось вырвать у добродушного старшины милиции проклятущий акт. Ясно, что парень теряет почву под ногами. Ишь куда занесло! С музыкой на верхотуру! Среди ночи!.. Господи, кто бы мог поверить, что Петр полезет с девушками наверх и будет заводить магнитофоны, танцульками заниматься, да еще после ресторана, под хмельком. Алексей Платонович был совершенно уверен: с Петром творится неладное, не может парень задушить свою любовь — вот его и заносит. Тут нужны срочные меры. Или он остановится, или проляжет его дороженька по крутым склонам. Любит Майку. Только от такой любви сам черт голову сломает. У той муж, семья, папенька печется об их благе. Куда же ты лезешь, парень? Неужели не видишь пропасти под ногами? Неужели так замутилось у тебя в башке? Опомнись, пока не поздно.

— Итак, отец,— оборвал течение его мыслей Анатолий, садясь на диван возле старика,— если мне выпала миссия пар-ла-мен-те-ра, буду ей верен до конца. Считай, что передаю тебе... ну, не ультиматум... а нечто дружественное...— Анатолий обнял отца за плечи, даже щекой к нему прижался,— деловое предложение, так сказать. Вы с Гурским кончаете решение мировых проблем, и баста! Впереди работа. Он помогает тебе, ты входишь в его положение. В результате твоя бригада становится на «улучшенный паек», в первую очередь снабжается материалами... Потом подписываются кое-какие документы, ты готовишь бутылку армянского и...

Найда поставил на пол внука и резко поднялся с дивана. Больше не хотелось играть с мальчонкой, сердце сжалось от боли.

— Учил я тебя, учил, да, вижу, недоучил.— Дышать ему стало совсем тяжело.— Передашь своим друзьям, что «улучшенного пайка» моя бригада не желает. И еще передай, что Петра я в обиду не дам. Пусть это мне даже дорого обойдется.

Сорвал в коридоре плащ с вешалки, натянул на себя и вышел, хлопнув дверью.

Тося с любопытством и вроде бы даже с горечью посмотрела ему вслед. Потом села рядом с мужем и взяла его за руку.

— Жалко, если они его прижмут. Я в ваших делах не разбираюсь, но мне кажется: твой батя — настоящий человек.

Вечером Найде нужно было явиться в горком партии к инструктору Фомичеву. В такую высокую инстанцию его вызывали редко. Да и цель вызова была ему еще не ясна, и по пути он немного волновался, стараясь угадать ход предстоящей беседы.

Фомичев, молодой, строгий с виду человек в темно-синем костюме и безукоризненно чистой белой рубахе, сразу же стал расспрашивать о делах на стройке. Общую комбинатскую ситуацию как бы оставлял в сторонке. На объекте как? Как настроение рабочих? Кто работает лучше, а кого не следует слишком возносить? Например, Петр Невирко. О нем наши немецкие товарищи очень высокого мнения, и наши газеты пишут о нем как о передовике. Но не завышены ли эти оценки? Не слишком ли щедро осыпают Невирко комплиментами?

— Работает отлично,— твердо заявил Найда.— Такими людьми мы гордимся.

— Может быть,— уклончиво глянул куда-то в окно Фомичев. Немного подумал, что-то словно бы взвешивая, потом снова перевел взгляд на посетителя, однако не сказал ничего, и Найда почувствовал, что Фомичеву что-то известно о Петре, и молчаливый его взгляд выражал больше, нежели это неясное «может быть».

Фомичева Алексей Платонович знал немного. Он пришел в горком с производства. Машиностроитель, химик.

Построил со своими ребятами из внефондовых материалов цех, молодежь любила его и уважительно называла «шефом». Рассказывали о нем интересный случай. Нужно было срочно выточить для экспортного заказа серию соединительных муфт, сборочные цеха стояли в бездействии, завод лихорадило, и тогда Фомичев со своим заместителем и несколькими мастерами пришел на ночную смену и вместе с молодыми рабочими до утра простоял у станков. В проходах были горы стружек. Девушки все время варили кофе. Одна из них даже пробовала петь, чтобы не так тянуло ко сну. Потом была поездка в Сибирь или на Урал, кажется на Камскую ГЭС, работал он и на КамАЗе, прошел слух, будто заболел в зимнюю стужу, отогревая с ребятами замерзшие щиты на плотине, и снова объявился на Украине. Смущенно всем объяснял: «Здоровье подвело. Подлечусь — и снова в Приуралье». Пока Фомичев работал в горкоме.

Сейчас он смотрел на Алексея Платоновича внимательно и с чувством настороженности, так, словно все дела Петра Невирко ему давно известны, но ему любопытно было узнать, что скажет товарищ бригадир, наставник и начальство. Молодой человек отслужил в армии, хорошо зарабатывает и среди товарищей пользуется уважением. Но почему так нелегко складываются у него отношения с людьми? Справедлив ли он в своей критике начальства? Не очень ли честолюбив?

Фомичев, высказав свои сомнения, замолчал.

Медлил с ответом и Алексей Платонович.

Наконец Фомичев устало вздохнул. Ничего не сказав, медленно закрыл папку и спрятал ее в ящик. Казалось, он выполнил тяжелую обязанность, чем был весьма доволен, и теперь даже смог улыбнуться Найде.

— Скажу вам откровенно,— начал он обычным, не официальным тоном. — На вашем строительстве снят фильм. Он вызвал сомнения. Были даже звонки от ваших товарищей, дескать, не все в этом фильме объективно. Так вот, часты ли такие случаи, как в этом фильме, в вашей работе? Мне поручено выяснить производственную и, так сказать, психологическую стороны этого дела.

— Кое-кому правда колет глаза,— резко сказал Найда.

— Бывает правда отдельного факта, а есть еще правда более широкая, так сказать, со сложностями, противо-

речиями, с человеческими характерами. Короче, решено показать эту ленту сначала вашему комбинатскому активу. Проверим факты на месте. Это не «Фитиль», а наша школа. Поговорим о том, какие еще имеются трудности и как их ликвидировать. Вы согласны, Алексей Платонович?

— Пусть и Невирко скажет слово.

— В первую очередь! И Гурский, и вы,— Фомичев одобрительно улыбнулся. Он выдержал небольшую паузу, лицо его стало строже, видимо, в мыслях уже перешел к другому и подыскивал нужные слова, чтобы продолжить разговор. Тяжело оперся локтями о стол, и Найда в этой его новой позе почувствовал что-то тревожное. Так начинают обычно трудный разговор.

— Теперь, Алексей Платонович... есть для вас интересная новость.

Фомичев встал из-за стола, достал сигареты и, чуть приоткрыв окно, сел на стул против Найды. Немного подумав, заговорил о прошлом. Собственно, о военном прошлом. Сам он — круглый сирота, родители погибли в партизанах, и его спасли буквально чудом: на последнем самолете вывезли из окруженного немцами леса. Он знает, что такое война, и очень ценит военные заслуги товарища Найды.

Алексей Платонович внимательно слушал, глядя на красивое, смуглое от загара лицо собеседника, на ровный пробор в темных волосах, на светло-карие глаза, и думал, что для людей младшего поколения война, верно, по-настоящему не ощущается такой, какой она была, какой знал ее он. Он-то помнил немецкие светло-синие мундиры, помнил тяжесть фашистского сапога, падал с кайлом в руках в темном карьере, падал и снова поднимался, ибо каждую секунду мог получить пулю в спину или удар прикладом по затылку, после такого удара редко кто поднимался на ноги. Ему было и обидно и грустно, и он вдруг подумал, что военное поколение — особенное, всех участников войны надо бы собрать вместе, расспросить каждого подробно, в душу заглянуть и все это описать.

Чего он, собственно, хочет от Найды, этот умный, пытливый молодой человек? На фронте такие первыми рвались на самые трудные операции. Суховат, подтянут, собран, прищур глаз умный, даже дерзковатый. Сидит в аппарате, звонки, бумаги, отчеты. Но, видимо, рвется ку-

да-то, к большому делу, и поэтому живо все воспринимает, до всего хочет докопаться. Расспрашивает, уточняет, удивляется.

Найда почувствовал искренний интерес Фомичева к пережитому им в немецком лагерном аду. Возможно, это не простое любопытство. Он спрашивал так, как спрашивал его однажды Петр: что Найда испытывал, что чувствовал, от чего страдал, и Найда рассказывал все подробно, четко, называя фамилии и даты.

— Вы упомянули Густу Арндт. Что с ней случилось?

— О ней так просто не расскажешь, всю ее жизнь надо бы описать и все, что пережила эта женщина, все ее страдания, всю ее трагедию...

— Какую трагедию?

— Видите ли... как бы вам лучше объяснить? — заколебался Алексей Платонович, словно не желая впускать своего собеседника в священные уголки памяти.— Она дважды спасла мне жизнь. Собственно... один раз. В сорок первом ей это не удалось, гестапо и Вилли Шустер — был там один выродок, из наци,— забрали меня и Звагина в концлагерь. Позднее Густа снова появилась на моем пути, но на этот раз в форме эсэсовки, надзирательницы женского блока. И в последнюю минуту отчаяния, в последние минуты нашей жизни дала нам свободу.

— Кто такой был Звагин?

— Инженер из советского посольства.

— Он погиб?

— Его перевезли в другой лагерь еще в сорок первом. Больше я о нем ничего не слышал. Видимо, его убили.

— Вам посчастливилось,— с какой-то многозначительностью проговорил Фомичев.

— Густа Арндт освободила меня с Ингольфом...

— Простите... Новое имя...

— Ингольф Готте. Коммунист с тридцать второго года, товарищ Тельмана. Погиб, будучи предан, под Ошацем...

Фомичев бросил на Алексея Найду испытующий взгляд. Найда почувствовал это и вновь повторил:

— Да, предан... Под Ошацем,— подтвердил Найда.

— А сама Густа спаслась? Теперь кое-что проясня-

ется...— Фомичев помедлил немного.— То есть... некоторые новые сведения... Мемуары Шустера, начальника вашего лагеря. Он оклеветал Густу Арндт...

— Надеюсь, немецкие товарищи правильно реагировали на его клевету! — взорвался Найда.

— Из их письма мне ясно, что совершенно правильно. Шустер, публикуя свои мемуары на Западе, пытался бросить тень на доброе имя Густы. Называет ее верным солдатом фюрера, своей подручной, даже своей женой... Да, да, своей женой! Пишет, будто Густа в сорок шестом году отдала ему маленькую дочь Игну, чтобы он увез ее в Западную Германию...

— Вот негодяй! — сдавленным голосом произнес Найда.

— Имя Густы, я уверен, ему не удастся очернить. Но есть один момент... Собственно, об этом я и хотел поговорить с вами.— Фомичев сделал многозначительную паузу. Потом поднял глаза на Найду.— Шустер упоминает и вас. Пишет, что увезти маленькую Ингу (которую он, между прочим, называет своей дочерью!) ему помогли вы... бывший советский комендант Ошаца.— Фомичев сдержанно рассмеялся.— Вот до какой клеветы дошел бывший фашист... Дочь Густы в Лейпциге. Ей тяжко вспоминать прошлое. Она нашла в себе силы вырваться из того смрадного болота, куда ее затянул Шустер, и теперь она захочет узнать правду. Возможно, обратится к вам с письмом либо сама приедет сюда. Вы — единственный свидетель, так как вы разгромили банду Шустера.

«Надо было все рассказать Инге,— в смятении подумал Найда.— Как просто было сделать это в Лейпциге, когда она провожала нас на вокзал. А теперь я словно бы виноват перед ней».

— Разрешите мне идти? — устало спросил Найда.

Фомичев поднялся из-за стола, уважительно пожал ему на прощанье руку.

— Не принимайте это близко к сердцу, Алексей Платонович,— сказал он, словно извиняясь.

— Но ведь сердцу не прикажешь,— вздохнул Найда.

— Наши сердца заняты теперь другим,— ободряюще бросил Фомичев.— Стройте дома, побольше жилья для людей. И не забудьте пригласить нас на просмотр фильма. Коллективное мнение, полагаю, принесет вам пользу.

* * *

Им тогда здорово повезло. Переодетые в немецкую форму, они проскочили через все вражеские блокпосты и патрульные пункты, ни разу не задержанные, не опрошенные и не проверенные. Ночь прятала их, бесконечно длинная осенняя ночь сорок второго года, ночь на немецкой земле.

А ведь за ними гнались. Гнались и не могли догнать. Подвластная немецкому порядку, эта ночь все же проявила к ним милость и спрятала до рассвета на изъезженной трассе, протянула им длинные, свободные километры бетонированного шоссе, по которому они мчались на восток, мчались от лагеря, от Шустера, от смерти. Два автомата, пистолет и граната — это было все их оружие, с помощью которого они должны были пробивать себе путь к свободе, а в крайнем случае — защищаться до последнего патрона, чтобы дорого отдать свою жизнь.

Вел машину одетый в мундир эсэсовца Ингольф Готте, он крепко сжимал баранку, послушную и верную ему, словно он и вправду сидел на своем законном месте. Густа устроилась рядом с ним. Если их остановят — покажет аусвайс и назовет своего высокого покровителя. Было решено: скажет об экстренном приказе лагерфюрера Вилли Шустера, который послал ее в управление гестапо Варшавского генерал-губернаторства, дескать, времени у них в обрез, за ночь должны добраться туда с важными документами. Немец Ингольф тоже обронит несколько слов, но осторожно, как подобает скромному водителю, не смеющему преступать границ субординации. Третий, на заднем сиденье, Найда, будет пока молчать... Под плащом он прижимал к груди взведенный автомат, готовый полоснуть огнем и дать очередь, если создастся безвыходное положение и придется отбиваться. Был весь в напряженном ожидании, руки его чуть-чуть дрожали.

Он готов был драться до последнего патрона, сидел как в окопе, назад ни шагу, пусть даже смерть, пусть самые страшные испытания. Ошеломило известие, которое он услышал в дороге от Густы: она никого не предавала, не было и намека на измену, не было колебаний и предательства. Тогда, еще в сорок первом, после неудачи в клинике Шустера, едва не покончила с собой. Но Конрад поддержал ее, старый коммунист-тельмановец приказал

и дальше работать у Шустера, идти за ним в лагерь, войти в доверие к гестапо, делать все возможное, чтобы завоевать расположение Шустера. И она осталась, и снова все было как прежде: ночи, дежурства, выпивки, отвратительные приставания и снова ночи, ночи... Конрад ее успокаивал: «Так нужно для партии!» Но он не знал самого страшного, она не решилась признаться брату, что Вилли Шустер, обезумев от любви к ней, однажды ночью овладел ею. Один только раз свершилось дикое и нелепое. Когда она почувствовала близкое материнство, Конрад уже был в Швейцарии, и посоветоваться было не с кем. Родилась девочка. Маленькая, крохотная, болезненная. Назвала ее Ингой. Сперва она возила ее с собой по лагерям, по военным госпиталям и эсэсовским гостиницам (ведь все знали, что была любовницей штурмбанфюрера Шустера!), потом отдала ее в детский приют и, как приказал товарищ Конрада, связной из подпольного центра, согласилась на предложение Шустера устроиться в лагере. В одном, другом, третьем... Ездила за Шустером, подчинялась ему, угождала, обманывала, дурачила своей «преданностью» фюреру. Начала освобождать узников. Получала из центра списки, где указывалось, кого именно,— и она только ждала момента. Шустер томился от любви к ней, от ее холодности, от нежелания стать его законной женой, готов был на любые уступки, потакал всем ее капризам и однажды разрешил... собственноручно расстрелять несколько заключенных. Впервые это произошло в лагере, расположенном под Берлином. Там оказались свои люди, которые подготовили все как следует. Подсунули имена двух отъявленных негодяев из числа капо. Густа сказала Шустеру, что это — «предатели», «красные», «партизаны», что у них нашли оружие и какие-то листовки. Умышленно повезла их за пределы лагеря и в присутствии нескольких офицеров СС и самого Шустера застрелила из пистолета. Потом уже было легче. Вилли был в восторге от ее арийской решительности и предоставил ей полную свободу. Могла отбирать, миловать, казнить... И она отбирала и увозила к оврагу, а «расстрелянные», вырвавшись из лагерной зоны, уходили на свободу. В этот овраг сваливались остатки кремированных трупов, а порою и просто убитые и замученные — охрана лагеря не стремилась установить, как на самом деле проводила Густа Арндт свои экзекуции.

Перевод Шустера, а за ним Густы в лагерь, где содержался Найда, все круто изменил. Здесь не было надежного подполья, не на кого было опереться. И тут Густа увидела Алексея. Потом она также узнала Ингольфа. В это время пришел приказ о поголовном истреблении всех слабых и подозрительных. И Густа решила рискнуть еще раз. Последний...

Они мчались уже вторую ночь.

Временами сверяли по карте трассу, посвечивая карманным фонариком. Главное было — оторваться от преследования, достигнуть лесных массивов возле старой польской границы.

К счастью, ночных проверок не было, лагерное начальство еще не знало об их побеге, и Вилли Шустер еще не протелефонировал на жандармские посты приказ задерживать всех подозрительных, разыскивать преступников-беглецов. Густу, может, и не сочтут предательницей — ее будут спасать, за ней пошлют жандармов, чтобы вырвать ее из рук бандитов.

День провели в небольшом леске, в овраге, и снова летели сквозь мрак, сквозь зловещую неизвестность. Впереди был большой город с затемненными огнями, и ехать дальше они уже не могли. Скатив машину в заросшую кустарником ложбину, старательно ее замаскировали и вышли на дорогу.

— Мы возле польской границы,— сказала Густа, глянув на подсвеченную карту.— Геноссе Найда, вы дальше пойдете один. А мы вернемся и будем разыскивать своих друзей.

— А может, вместе со мной? — осторожно спросил Найда.

— Нас ожидают товарищи,— хмурясь сказала Густа.— У нас есть связь, явочные пароли.

— А после войны?

— Когда кончится этот кошмар, вы найдете когонибудь из нас в Визентале,— тихо ответил Ингольф Готте.

Они расстались у небольшой речки, в густом лозняке. На другой стороне было первое польское село, там Найде легче найти пристанище, услышать понятный ему язык, а быть может, встретить людей, которые поведут его дальше на восток, укажут ему путь к спасению, дорогу к своим.

Солнце садилось за покрытый тучами горизонт, и кровавое зарево на западе рождало в душе Найды глухую боль. Где-то там остался Звагин, может, еще живой, а может, замученный фашистами. Там был лагерь, где находились друзья, которым уже не избежать гибели: капо Алекс, старый еврей из варшавского гетто Самуил Цангер, маленький, похожий на мальчишку француз Поль Анре и еще один француз — Кристиан Дюмурье, коммунист-печатник из парижского предместья Сэн-Лазар... Густа собиралась вывести и его, но не удалось, и теперь никто уже не спасет этого сухощавого сгорбленного француза.

Попрощались молча. Пожали друг другу руки, обнялись. На глазах Густы сверкнули слезы. Увидятся ли они когда-нибудь? Он оставлял их словно в застенке, среди жестокости, коварства и смерти. Пойдут на явку, а кто их там ждет? Кто откликнется на их пароль? Что, если схваченные гестаповцами товарищи выдали под пытками условный пароль и эти двое попадут в лапы нацистов? Тогда страшным будет их последний час...

Он перешел речку вброд, тенистым берегом протащился несколько шагов, поднялся на холм и, оглянувшись, увидел Густу и Ингольфа. Они стояли рядом в холодном сером сумраке и ротфронтовским салютом посылали ему последнее «прощай».

* * *

Ноябрь на дворе, лютует свирепый ветер, срывает пожелтевшие листья, метет по тротуарам, а синь прозрачно и студено раскинулась над городом. Уже возведен восьмой этаж дома, вокруг стало просторней, куда ни глянешь — безграничная даль. Что-то величаво-спокойное ощущает Невирко в этой земной безбрежности, которая открывается перед ним. Правда, времени на разглядывание у него немного, кран не стоит, и у хлопцев сегодня рабочее настроение. На свежем ветерке как-то бодрей работается. К тому же у бригадира Найды взгляд стал строже, появилось в нем что-то недоверчивое, придирчивое. Переживает за своего молодого друга Петра. После ночного происшествия, расставшись с патрульными, Найда ни словом не упрекнул Петю. Милиционеры ушли, дед Жугай побрел осматривать свой объект, Ви-

талий тихонько улизнул. А Найда сел на продавленный диван и попросил Невирко рассказать все как было. Когда дослушал до конца, достал сигареты и глубоко затянулся дымом. И, затянувшись, с такой печалью глянул на Невирко, что тому стало стыдно.

Молчали минуту, другую. Наконец Петр не выдержал:

— Простите, Алексей Платонович... никогда больше такого не повторится.

Найда снова жадно затянулся.

— Не о том говоришь, Петя.

— О чем же надо, Алексей Платонович?

— Кроешься от меня со своей любовью.

— А-а!.. — будто простонал Невирко и сразу сник, потускнел. Говорить было нечего. Он опустил голову и выдавил из себя едва слышно: — Нету любви... Все покончено...— И совсем тихо: — Только больно, Алексей Платонович!

— Я вижу, что больно,— поднялся с дивана Найда. Его большая, разлохмаченная тень накрыла сидящего на стуле Петра.— Потому и девчат привел на площадку. Где всё нашими руками... нашим потом трудовым...— Он положил хлопцу на плечо руку.— Ты вот что... Ты чуток потерпи, не поддавайся. Без дурости всякой... Коли она тебя любит, то придет. Простишь ей, и будет у вас все хорошо...

Он сделал шаг к двери, обернулся, глаза его стали суровыми.

— Но ежели блудить и канителить будет... гляди! — Переступил порог сторожевой будки и быстро исчез в темноте.

Найда, конечно, понимал, что вмешиваться ему негоже. Дело тут нешуточное, с любовью связанное, как стало теперь совершенно ясно — с большой любовью. Но вот задача. Что Петр любит Майю Гурскую, он нисколько не сомневался. Да любит ли его Майя? И какая это может быть любовь, если замужем? На хорошее его положение позарилась, на деньги? Сперва изменила парню. Потом в Лейпциг ему письмо прислала. Потом на вокзале бросилась с поцелуями. Шальная! И он ошалел. И от этого может натворить больших глупостей. Слава богу, что удалось замять ночную историю. Неизвестно только — удалось ли? И как дальше поведет себя парень? Оставит ли Майя его в покое? Поэтому-то так вниматель-

но присматривался Алексей Платонович к Петру Невирко. И готов был, если что, вмешаться самым решительным образом.

Прошло несколько дней. Монтаж дома шел полным ходом. Найда весь был в делах, в заботах. Видно, опасаясь осложнений, Гурский приказал отгружать Найде лучшие панели и дал нагоняй смежникам. Элементы приходили теперь один в один, словно отточенные и отшлифованные.

Геодезист Юра Сыч радовался:

— Если б всегда такие куколки, мне бы только загорать у вас. Сделал разбивку, а вы ставьте. Десять сантиметров от линии. Как в аптеке.

Петру Невирко объявили по рации, чтобы спустился вниз, к телефону. Восемь этажей топать, совести у людей нет! Ответил вниз в прорабскую, чтобы перезвонили в обеденный перерыв, что сейчас он занят наверху. Но голос из репродуктора был требовательным и слегка ироническим:

— Девушки ждать не любят. Марш вниз!

«Девушки»... Значит — Майка!»

Несся вниз по узкой лестнице, перескакивая через три ступени, чуть шею не сломал, пока спустился. Пробежал мимо панелевоза, ворвался в прорабскую. Девушка-плановик протянула ему трубку.

— Там чуть не плачут, а тебя столько надо просить,— с добродушной укоризной сказала она.

Он сразу же узнал Майкин голос. Словно бы не такой, как всегда; говорила тихо, виновато, и ему даже показалось, что кто-то стоит рядом с ней, подсказывает, дает советы. Неужели Голубович?

Он так и спросил ее:

— Муж с тобой?

— Игоря нет дома. Он в Москве. Я уже второй день тебя ищу.

Хотел спросить ее, что случилось. Виделись (да разве это называется — виделись!) в последний раз в ресторане, и он хорошо помнил, как она положила свою загорелую руку на плечо Игоря. Однако на расспросы не решился — неизвестность таила в себе что-то неопределенное, обещающее. Второй день разыскивает, второй день хочет его видеть. В присутствии девушки-плановика ему было неудобно разговаривать, отвернулся к окну, кашлянул.

— Ну?..

— Ты, кажется, не рад моему звонку,— с обидой произнесла Майка.

Он вконец растерялся. Чего она, собственно, хочет? В голосе ее было то давнее, родное, зовущее, что всегда манило его, из-за чего он летел сюда из села зимними дорогами, мчался среди ночи. Он начал догадываться, сладкое предчувствие кольнуло сердце. Она не просто зовет его. Она действительно вернулась. Найда сказал: «Коли любит — то придет... и ты простишь ей». Не раз ночами, думая о ней, представлял себе именно такой звонок, и хотя знал, что Майка счастливо живет со своим Голубовичем, что у них вроде бы все в порядке, но где-то в подсознании не угасала надежда, что произойдет какое-то нежданное чудо, и она придет, и он простит, и тогда все переменится, возвратится к прошлому, к их жарким ночам, к той маленькой комнате с ковриком на полу, с красным линолеумом в передней и кухоньке. Значит, пришло их время? А может, это просто какое-то неотложное дело? Или только баловство, прихоть, каприз?

Он сказал, что освободится в четыре часа, и если нужно, то после смены в парке...

— Вечером, вечером! — кричала уже весело в трубку Майя. И снова была такой, какую он знал. К нему возвратились и надежда, и уверенность.

Он — человек свободный. Вечером так вечером. Пусть только скажет, где им встретиться. Может, она уже привыкла к ресторанам — так что ж, он согласен, можно и в ресторан...

Майя фыркнула в трубку, расхохоталась, и он услышал еще чей-то, девичий, голосок. Значит, была все-таки не одна, взяла себе в советчицы какую-то подружку. Что ж, он был рад и этой подружке, рад всему белому свету, оказавшему ему такую милость. Ресторан не нужен? Пойдут в парк? Ситро-мороженое, чертово колесо? Пусть хоть звездолет.

Найда встретил его на лестнице, глянул как-то настороженно. Вроде бы догадался, кто звонил Петру. Он в ватнике, из-под каски выбилась седая прядь.

— Я поеду в управление, а ты нутрянку заканчивай,— сказал деловым тоном.— Чтоб вторая смена бралась за перекрытие. Соседи нас и так уже обогнали.

— Вы действительно хотите показать класс?

— А зачем же было затевать соревнование? Чтоб потом в хвосте плестись?

— Зварича любят на комбинате, Алексей Платоныч.

— И нас полюбят,— посулил Найда, уже спускаясь вниз по ступеням.

Теперь Петру было безразлично, что там с нутрянкой и как дела у соседнего бригадира Зварича. Шел на верхотуру не спеша, сохраняя в себе хорошее настроение, предчувствуя какие-то перемены, которые должны были принести ему не только радость от долгожданной встречи с Майей, но, быть может, и что-то очень важное в его жизни. С тех пор как расстался с Майей, жил словно в тумане. Панели, перекрытия, кран, нивелир... Бегал на консультации в институт, вычерчивал там замысловатые схемы своего будущего проекта. Что-то вечерами читал, был даже с хлопцами на эстрадном концерте известного югославского певца, с Виталькой пил пиво, слушал его надоевшую трепотню. Все было, казалось, попрежнему, как всегда, и все же это была не его жизнь, будто это происходило не с ним, так странно и так непонятно все было без Майи. Теперь ему ясно — все дни и все ночи он ждал! И все его заботы были лишь бесконечно длинной, однообразно-скучной дорогой мучительного ожидания.

Когда поднялся наверх, окружающий простор показался ему сказочным.

— Виталик! Слышишь, Виталик? — подошел к Коржу, который рассыпал вокруг искры электросварки, соединяя металлическими пластинами панельные плиты перекрытия.

— Чего тебе? — поднял голову, сдвинув назад защитную маску, Виталий.

— Ты что-нибудь понимаешь, что-нибудь видишь?

— Ослеп от твоей счастливой физиономии, от предчувствия, что ты меня сейчас чем-то огорошишь.

— Угадал. Может, я и вправду счастливый.

— Тогда выкладывай. Люблю больше твердую уверенность, чем догадки,— сказал Корж, вставая на ноги и выпрямляя онемевшую спину.— Тебя вроде бы вызывали...

Петр достал сигареты, дал закурить другу. С наслаждением затянулся дымом, сказал с видом победителя, что его вызывали с полюса вечного холода. Не странно ли?

Какие-то удивительные перемены в погоде. То сплошной ветряк, холод молчания, то вдруг — звонок!

На Виталика этот поток красноречия произвел, однако, не очень сильное впечатление. Хмыкнул, пустил струйку дыма в небо. Стал бить прутиком электрода по бетонной плите. Не одобрял увлечения Петра, его долготерпения и питал органическую антипатию к Гурской.

— Выходит, ослеп не я, а ты, маэстро,— сказал сокрушенно Виталий.— Ну, смотри, ежели еще можешь что-либо видеть...

— Зовет меня на свидание. Отчего ж не пойти?

— В роли «временно исполняющего»? Или как?

— Думаю, нет. Голос искренний... Видно, решила что-то...— Его вдруг охватила растерянность.— Пойду, посмотрю.

Взялся за работу. Настроение было отличное. Монтажники радовались, не понимая, что случилось с Петром. Перестал хмуриться, кипит, суетится, весело покрикивает на ребят:

— Давай сюда монтагу, Санька!

Поднял рычагом панель, нажал на нее, будто с горы хотел скатить, подвинул к обозначенной метке. Лицо радостное, глаза сияют.

— Отлично по отвесу! — И к солидному Непийводе: — Василий Антоныч, гляньте в нивелирчик, как там по реперу? Ну, идет дело? Девяти сантиметров не хватает? Добавим на перекрытии. Все будет в норме. Давайте, давайте, хлопцы! Чтоб сегодня нутрянку закончить. Кровь из носа — закончить!

Много ли нужно человеку, чтобы настроение у него вот так поднялось? Один только звонок, один-единственный, и голос в трубке, такой родной... значит, они встретятся... Встретятся... Сказала, чтобы ждал возле парка. Там, где всегда. Любопытно все же, что она надумала? Как у нее с Голубовичем? И как будет себя вести, как поздоровается? Вот бы узнал Максим Каллистратович, что его доченька снова вызвала на свидание Петра Невирко, простого работягу, студента-вечерника, который живет в общежитии, ходит обедать в столовку, пьет с Виталием пиво без воблы...

Еле дождался вечера. Ветер дул еще сильней, похоже было — посыплет первый снежок. Петр шагал возле парковой ограды, как одинокий часовой, потихоньку за-

мерзая в своей синтетической куртке. Был без шапки, простоволосый, вихрастый, как и полагается молодому парню. Никого, правда, не видать возле этого парка... Может, он ошибся? Может, она имела в виду что-то другое? Есть еще парки, всякие там скверы, бульвары... Начинали мучить сомнения, а вместе с ними в сердце закрадывался холодок недоверия. Насмешка, что ли? От этой Майки всего можно ожидать.

Пробежали две девушки с их комбината. Узнал одну — Полина. Высокая, стройная, в красной вязаной шапочке, с портфельчиком в руке. Учится где-то в вечернем техникуме. Стало неловко. Быстро отвернулся. Хорошо, что не заметила, не спросила, кого он тут ждет. Было странное чувство вины перед Полиной. И еще было странное ощущение какого-то незаконченного разговора. Ведь она так откровенно рассказывала ему о своей жизни, делилась своей болью: мама живет в селе, часто болеет. Старший брат вернулся из армии, но жить с ними не захотел, уехал куда-то на новостройку, на БАМ или на КамАЗ. Есть еще младший братишка, Сашка. Поля любит его, все свободное время с ним проводит, заботится о его учебе, здоровье, досуге.

Темнело, ветер усилился. Прошел мимо милиционер и подозрительно оглядел согнувшуюся фигуру Петра. В парке было темно, неуютно, ни одной живой души там не было, но милиционер все же вошел в ворота, двинулся по аллее между голыми кустами. «Служба! — уважительно подумал Петр.— Интересно устроен мир. Каждый на своем посту. Каков бы он ни был, а ты стой на нем, стой и стереги. Может, этому милиционеру тоже хочется в тепло, к друзьям, а он, видишь, обходит свои владения. Чтоб порядок был. Человек — как часть огромного механизма, где все на своем месте и все должно быть в исправности, все должно знать свой ход. Кто это сказал? Кажется, в книжке о Нельсоне: «Каждый должен исполнять свой долг». Важная штуковина — долг. Не думаешь о нем, вроде и знать его не знаешь, а он — в тебе.

Майя появилась неожиданно. Из какой-то попутной машины выскочила. Потащила его к себе. Едем, едем! Он, не противясь, сел в машину, даже не спросил: куда, зачем? От нее пахло дорогими духами, волосы щекотали его щеку. Была она в замшевом пальтишке и высоких

сапожках. Сняв вязаную рукавичку, провела ладошкой по его щеке.

— Неужели это ты?

Как-то необыкновенно звенел ее голос, и он, повернувшись к ней лицом, несмело поцеловал Майю в губы.

— Ну, здравствуй,— сказал просто, хотя от волнения у него перехватило дыхание.

— Милый, милый! — шептала Майя.— Только умоляю тебя: ни о чем не расспрашивай!

Ему и так было хорошо, и было немножко тревожно, и еще какое-то неясное чувство теснило грудь. Не осознавал его, не хотел думать. Но чувство все же не покидало, и от этого становилось еще тревожнее. Да, да, он знал, что должен произойти разговор. О главном... О самом главном... От него не уйти, и от чувства тревожного ожидания не уйти тоже.

Ехали, оказывается, к ним домой. Отец в Москве, мачеха уехала в санаторий «фильтровать» свою печень. Ну, а Голубович...

Тут она замолкла, и он насторожился. Что же она скажет? Она словно споткнулась. Это главное, чего он боялся. Голубович. Заговорила вдруг, быстро и нервно:

— Ты должен знать... Ты обязан знать о моем несчастье..— В голосе ее была боль.— Всю жизнь я буду платить за свою ошибку.

Выходит, она все-таки сожалела о прошлом, ей было жаль утраченного, и никакого счастья у нее с Голубовичем не было. Нашла себе удобного мужа, вот и все. На душе у Петра стало почему-то тоскливо, вспомнился голый, темный парк, куда вошел патрульный милиционер, и явилась мысль, что он, Петр Невирко, словно целехонький день простоял возле парковых ворот, все ждал, все лелеял какую-то надежду, пока Майка не пришла, и вот сидит она с ним рядом, жалуется на свою несчастную жизнь, и в ее жалобном голосе ему чудится неискренность, стыдливая боязнь, что он станет укорять ее, обвинять в измене.

В Майкиной квартире он был не впервые. Помог Майке раздеться, повесил свою голубую синтетическую куртку на вешалку, вошел в комнату. Сверкающий паркет, ковры на стенах, в углу — цветной телевизор, на полированном столе в центре комнаты — хрустальная ваза. Страш-

но было ступать в мокрых ботинках по начищенному паркету, но снимать их не стал.

— Пойдем в мою комнату,— потянула его за руку Майя,— здесь неуютно.

Он знал, что они с Голубовичем жили не здесь, а в его квартире. Стало быть, «ее комната» — это было просто возвращением в привычное, в детство. Что-то его взволновало, когда отворил дверь в маленькую комнатку. Словно шагнул в Майкину юность, в далекие ее годы, когда еще девчушкой бегала в школу и все было так просто. А теперь — на стенах какие-то диковинные абстрактные картинки, диван, застланный мохнатой кошмой, поверх нее — пузатые подушечки, возле письменного столика сверкающий ящичек магнитофона «Юпитер» — дорогая штука, с четырьмя дорожками, со стереофоническим звуком.

Только заброшенность какая-то во всем, запущенность, будто давно здесь не проветривали... И Майя чувствовала себя в этой комнате неловко, видно уже отвыкла от нее.

Упав на диван, она показала Петру жестом: мол, не стесняйся! Садись. Чувствуй себя свободно. Но ему что-то мешало, подошел к столу, провел пальцем по магнитофону. Пыль? Давно ли касалась этого магнитофона рука Голубовича? И почему Майка молчит о нем?

— Ты странный,— обиделась Майя.

— Извини... обстановка... Надо освоиться,— пробормотал Петр.

Майя принесла вино, сладости, яблоки. Сказала, что яблоки из их сада на Днепре. Папа очень любит копаться в саду и на огороде. Даром что начальство, а как возьмется за лопату — ого-го! Даже о больном сердце забывает.

Чувство неловкости, однако, не проходило, было муторно, не по себе, какой-то невидимый барьер стоял между ними. Может, это яркий свет люстры сковывает их? Майя грызла яблоко, на ее круглом личике появилось выражение детской обиды.

— Помнишь, ты всегда поднимал рюмку к моим глазам? — она наполнила тоненький бокальчик густым красным вином, посмотрела на него сквозь свет.

Именно сейчас ему меньше всего хотелось п о м н и т ь. К чему эти воспоминания! Были обещания, жадные объ-

ятия, клятвы в верности. И они сами были совсем другие, не такие, как теперь. Неужели человеку дано испытать большое чувство только однажды? А потом — печаль?..

— Ты совсем чужой,— сказала Майя.— Если бы я знала, что ты все забыл, я бы не звонила.

— Ты хочешь повторить все сначала, но, кажется, еще древние говорили, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды.

— Тогда я предлагаю... Я предлагаю идти дальше.

— Но ты ничего не говоришь о Голубовиче.

— Его нет. Понимаешь? Нет, нет! — рассердилась Майя.— Хватит напоминать мне о моих ошибках!

Она решила взять инициативу в свои руки. Ей вспомнилось, как в свое время ее чары действовали на Петра. Разве она стала менее привлекательной? Разве так уж постарела за эти месяцы? Вот прижмется губами к его глазам... Еще немножко, еще... Взволновался? Разыгрывает из себя бесчувственного? Знаем мы этих бесчувственных, этих гордецов!

— Давай выпьем, — сказал он просто и своим бокалом словно отгородился от ее ярко накрашенных губ.

— Камень! Ледяная глыба! — воскликнула Майя.

— Выпьем за то, чтобы дальше было лучше, чем...

— Чем когда?

— Чем сейчас, вчера, позавчера, все эти дни, которые я провел без тебя.— Он выпил, обнял Майю и поцеловал в щеку.

Она совсем растерялась, подумав, что в этом доме настоящая встреча не получится. Тут все напоминает об Игоре и отце.

«Действительно, я веду себя странно,— мелькнуло в голове Петра.— И если Голубовича уже нет... Если он ушел из ее жизни... Господи, мы просто начнем все сначала. Пусть сегодня я ее как бы впервые увидел, и мы начнем все с самого начала».

Она потянулась к торшеру, выключила свет и приблизилась к Петру. Зашептала ему на ухо, что так будет лучше... Пусть он не видит ее лица и ни о чем не думает. Пусть помолчит, немножечко помолчит.

Лицо ее горело, голос дрожал от сдерживаемого рыдания. Он притянул ее к себе.

— Сегодня днем, когда ты позвонила, я думал, что сойду с ума,— шептал он ей нежно.— Ты словно поз-

вонила из тех дней... Помнишь, как тогда, в общежитии?

Майя тихо плакала, и он вдруг почувствовал, что и в самом деле вернулись все прошлые дни, все звонки и признания, и ничего не было плохого, и не выходила она ни за кого замуж, и не было никакого Голубовича. Он гладил ее щеки, лоб, шею, а она, покоряясь его ласке, только плакала все сильнее и сильнее.

Когда снова зажгли свет, Майя включила магнитофон, и полилась приглушенная, грустная мелодия. Майя сидела, прижавшись к Петру, слушала, думая, а может, ожидая чего-то. Все было как прежде, и они были прежними.

Лишь массивное кольцо на пальце напоминало о другом. Тишина в квартире как будто настороженно прислушивалась к их голосам. Казалось, они очутились под колпаком на дне моря, колпак этот из тонкого стекла, и надо быть осторожным, чтобы он, чего доброго, не разбился...

— Я знаю, что в твоих глазах я гадкая, предательница, что у меня нет ничего святого,— говорила срывающимся голосом Майя.— Но у меня есть святое. Это — ты. Ты!

Он встал. Она осталась сидеть. Смотрела на него снизу вверх, преданно и покорно. Вот так слушать бы и слушать ее голос, о котором мечтал, слушать самого себя, каким был раньше, каким, может быть, уже не будет никогда. Радостно, чудесно и... немножко грустно.

Он слушал ее, стараясь вникнуть в смысл ее сбивчивого рассказа. Потом понял, что речь шла об отце. О Максиме Каллистратовиче. Узнал удивительные вещи, которые могли бы показаться невероятными, если бы о них не говорила Майя. В ее глазах было столько печали, что он стал наконец ее понимать и проникаться сочувствием. Сел возле нее. Со строгим, сосредоточенным выражением лица взял ее за руки. Она рассказывала ему, какой замечательный у нее отец, сам вынянчил ее, носил на руках, заменил ей мать и всю родню. Ведь женился он потом, когда она стала совсем взрослой.

И еще говорила о том, какой он трудолюбивый. День и ночь буквально горит на работе, не вылезает из своего кабинета, даже домой приносит какие-то бумаги, документы, планы. Иной раз Майя проснется ночью, а у него

свет горит: это он срочно что-то готовит на утро. Потому и в главке его ценят, и коллектив его уважает.

Петру хотелось возразить, что не все такого мнения об инженере Гурском, ходят и другие разговоры, но прервать Майю не решился. С изумлением отмечал про себя, что не всегда был объективным в оценке главного инженера. Валят на него все неудачи, брак, некомплекты. Водители в воскресенье напьются, в понедельник их поставят на прикол в автоинспекции и не выпускают на линию, транспорт стоит, на стройках простои, люди нервничают, рвут телефоны, а виноват кто? Виноват Гурский, с него надо шкуру спускать, ему выговор, да еще самый строгий, и с работы могут попросить...

А какое кому дело, что он дочку свою Майку до пятилетнего возраста носил в ортопедический институт, что жена у него умерла, что ночами слепнет над проектами нового стана Козлова?..

Слушал сейчас Майку Петр Невирко и чувствовал, как лицо заливает ему краска стыда, и уже не мог, как прежде, плохо думать о человеке, которого, оказывается, совсем не знал.

— Ты тоже, Петрусь, поддался психозу. Папа говорит, что с ломом выступал перед кинокамерой,— продолжала Майя, глядя куда-то в угол комнаты.

— С кувалдой,— смущенно поправил ее Петр.

— Как герой-правдолюбец!

— Да, было... Понимаешь, панели бракованные, время идет, ну я и вскипел, погорячился.— Он чувствовал себя виноватым. Хотел оправдаться перед Майей.— Нам тоже нелегко. План давай! Соревнуемся, жмем, геодезист перемеряет, мастер следит, из управления звонят, в субботу работай, дохнуть некогда.

— И ты всё — на моего отца! — с горечью воскликнула Майя.

— Кто его знает. Мы люди маленькие. Нам — лишь бы нутрянку поставить.

— Что это такое — нутрянка?

— Внутренние стены, основные, несущие панели. На них, собственно, и держится дом. Точность тут нужна микронная и чтоб браку ни-ни! Я вот готовлю проект высотного дома, защищаться буду, и у меня выходит на каждые десять этажей, если допустить сантиметровое смеще-

ние,— ломающий момент силой в шестьдесят тонн. Представляешь?

— Нет,— честно созналась Майя.— Я в технике ни бум-бум.

— Прости,— опомнился Петр и тут же подумал о том, как это неловко — вот так забывать о других, лезть со своим, свое твердить. Майя ему про отца, а он ей — про «ломающий момент».— Прости,— повторил с нежностью, взял ее смуглую руку, поцеловал, прижал к своей щеке.— Зачем мы сейчас об этих делах? Ну их к чертям!

Но Майя упрямо покачала головой: она хотела говорить только об отце, хотела его защищать, оправдывать, потому что никто, кроме нее, не знает истины и никто за него не заступится. Слезы стояли у нее в глазах, она сидела рядом с Петром обиженная и возмущенная, и ему стало невыносимо жаль ее. Он внезапно ощутил свою вину перед ней, вину потому, что его любимая женщина ни у кого не может найти защиту, никого не может убедить в своей правоте.

— Ты не принимай все так близко к сердцу.— Он взял ее за плечи, ласково поглядел в глаза.— Не переживай так... Прошу... Все устроится.

— Спасибо, я верю тебе,— тихо сказала Майя.

— Главное, чтобы у нас все было по-настоящему.

— А почему бы не быть? — вдруг оживилась Майя.— Мы с тобой как-нибудь договоримся.

Слово «как-нибудь» вдруг больно резануло его по сердцу. Внезапная перемена настроения у Майки и виновато-лукавый взгляд из-под ресниц удивили Петра. Что все это значит? Ведь они должны начинать все с самого начала: жить по правде, отбросить ложь и все-все с самого начала.

И тут его, словно молния, пронзила мысль: как-нибудь с Голубовичем и как-нибудь с ним! Потому и «как-нибудь», что ничего определенного, настоящего. Говорила об отце, о матери, о детстве, потом они пили вино, слушали музыку, обсуждали строительные проблемы — и ни слова о главном!

— Ты сказала, что мы как-нибудь договоримся. Объясни. И вообще, что происходит? Твой звонок... Нет Голубовича... Ты свободна или нет?..— Он еще раз твердо повторил: — Свободна или нет? Вернулась по-настоящему или это так просто?..

Майя посмотрела на него отчужденным, холодным взглядом. Сперва, видно, не понимала, о чем он спрашивал. Потом все поняла. Голос ее стал раздраженным, почти злым:

— Не будь нудным, Петя.— Взяла его за руку, притянула к себе.— Я вернулась. У нас с тобой свой закон и свои нормы. Все остается по-прежнему.

Он смотрел на нее растерянно. Подкрадывался страх услышать самое худшее. Как это по-прежнему?.. Он мчался сюда с верой, был полон надежды...

Она успокаивающе погладила его руку.

— Будем иногда встречаться, Петенька. Та самая Зина, у которой мы когда-то ночевали... Она всегда даст ключ. Это даже лучше: таинственно и романтично.

Теперь все ясно. Страх был не напрасным... Таинственно и романтично... Никогда не представлял себя в роли любовника, да еще и узаконенного. Петр вырвал свою руку, которую она нежно гладила.

— Не думай, что так будет вечно... Ты ведь понимаешь... Любовь требует жертв. А потом, Голубович очень болен...

Он вскочил на ноги, отяжелевший, почти разбитый. Глаза его сузились, а лицо передернула гримаса.

— Жертв? Тебе мало моих жертв?..— И, выбежав в коридор, сорвал с вешалки свою синтетическую куртку. Отворил дверь и крикнул через все комнаты, в пустоту, в теплый мрак настороженности: — Не смей звонить!.. Знать тебя не желаю!..

* * *

Бывает, что зима уже где-то близко: хмурятся тусклые рассветы, дует холодный ветер, гонит опавшие листья, вздымает волну на Днепре, и кажется, вот-вот посыплет снег и все вокруг побелеет, затрещат лютые морозы. И внезапно, как сегодня,— все залито солнцем! Воскресный день пронизан солнечным светом, на улицах толпы народа, на Днепре снова зарокотали моторные лодки и речные катера, позабыв о ноябрьской поре, отправляются друг за дружкой в устье Десны, на Днепровское море, везут на своих палубах горожан, спешащих отдохнуть на лоне природы после трудовой недели.

Отправились на своем «дредноуте» и старые друзья —

Алексей Платонович Найда и Афанасий Панкратович Климов.

Найда правит, сидя у мотора. Климов готовит рыбацкую снасть. В этом деле он мастак. И, конечно, рассказывает давние фронтовые истории: серьезно, без шуток и ухмылок, как водится подчас у иных рубак, желающих немного покрасоваться перед молодежью. Командовал дивизией, тысячи людей посылал в бой. Даже теперь, через столько лет после войны, помнятся ему горести утрат, щемит душу память об ушедших навеки друзьях. Глянет, бывало, на убитого молоденького бойца, парнишку лет семнадцати, и как подумает, что на белом свете и пожить не успел, ни одной девушки, верно, не поцеловал,— так сердце кровью обольется, камень ложится на душу. Он всегда перед атакой приказывал не жалеть снарядов, ругался, если артиллеристам своевременно не подвозили боекомплекты.

Помнится, в сорок первом под Москвой он, тогда командир стрелковой дивизии, прибыл на КП танкистов, в деревню, растянувшуюся вдоль шоссе. Немцы перли как оглашенные. Выходили уже на Можайское шоссе, били из всех орудий, десятки танков на километр фронта. Ну, и понятно, какое было настроение у наших бойцов. Позади Москва, столица, Красная площадь... Мавзолей!.. Когда полковник Климов вбежал в землянку командира приданного ему танкового батальона, то застал там невеселую картину: комбат, плечистый, в кожанке, в шлемофоне,— видно, только из боя,— приказывал молоденькому лейтенанту выходить на огневой рубеж и в бешенстве кричал, что застрелит подлеца за трусость.

«Что тут у вас?» — спросил Климов у представительного комбата.

«Не хочет, стервец, идти в бой!» — гневно кричал комбат, указывая на молодого танкиста.

«Почему не хотите?» — мягко спросил лейтенанта Климов. Что-то в этом подтянутом парнишке с красивым мужественным лицом понравилось ему.

Лейтенант объяснил, что прибыл только что со своей ротой в распоряжение товарища майора, но у них нет ни горючего, ни снарядов. Прошли от Москвы более ста километров своим ходом. Хотя бы один боекомплект, а то и отстреливаться нечем.

— Почему же вы посылаете людей в бой без сна-

рядов? — строго спросил комбата полковник Климов.

— А где их взять? — нервно ответил комбат.— У нас тоже почти ничего не осталось...

Немцев на этом участке задержали, и лейтенант в том бою дрался отчаянно. Войну кончил полковником. Дошел до Берлина. Остался в Трептов-парке. Навечно. Генерал Климов недавно посетил эти места, ездил туда с делегацией ветеранов. И надо же такому случиться! Когда несли венки на братскую могилу, глянул, а рядом с ним идет тот самый... комбат, теперь уже, правда, генерал-майор, плечистый, седой, ссутулившийся...

Они мчались по днепровской глади, минуя мосты, что бросали на нее сумрачную тень, вдоль кустистых берегов, мимо каменных насыпей — туда, в понизовье, в глухие, излюбленные свои рыбацкие места. Но в мыслях словно бы догоняли свою трудную фронтовую молодость и, даже когда невольно от нее возвращались в сегодняшний день, все равно помнили разъезженные, в рытвинах дороги, ураганный залп «катюш», серые, сосредоточенные лица солдат перед атакой за брустверами траншей, и им казалось, что нет отдыха, нет тишины, нет расслабляющей душу уверенности в завтрашнем дне.

Климов за последние годы совсем высох, стал костлявым, резким в движениях. И хотя ему уже за семьдесят — еще боевой старик, во всех общественных комиссиях, на жэковских собраниях, в райсоветах и исполкомах — всюду слышен его голос. Недавно защитил молодую женщину, над которой измывался муж-алкоголик. Не дал ему выгнать жену из квартиры, такой шум поднял, что человек этот приходил к генералу с мольбой не раздувать эту историю. «Вы же наша совесть,— лебезил перед старым ветераном.— А совесть всегда заодно с сердцем». И все-таки уломал старика, спас свою репутацию, но из квартиры ему пришлось убраться, живет теперь в поселке у какой-то женщины.

— За каждого человека мы обязаны стоять горой,— бормотал Климов, устроившись на носу моторки.— Я смотрю на вещи просто. Если решили воздвигнуть общество справедливости, создавай его на всех фронтах. И не только для далеких потомков. Жить счастливо должен каждый человек.

Потом зашла речь об Ольге Антоновне. Уже прича-

ливали к берегу, когда Климов вдруг припомнил, что на днях, в рабочее время, приезжал к ним какой-то тип на «Жигулях». Смазливенький, вежливый, интеллигентный с виду, хотя глаза у него были какие-то неспокойные, ускользающие. Все расспрашивал об Ольге Антоновне: где работает, не нуждается ли, как детки? Климов спросил незнакомца, кем он ей приходится, почему интересуется, и тот, вежливо улыбнувшись, ответил, что он бывший муж Ольги. У них, дескать, произошло недоразумение, разошлись по глупости, он очень сожалеет и хотел бы снова с ней увидеться. Но Климов сухо сказал, что выходить снова за него замуж Ольга Антоновна не собирается и в опекунах надобности у нее нет.

— Ясно, Костик объявился.— Найда спрыгнул с моторки на поросший ивняком берег, вытянул ее на сушу.

— Правильно я поступил или нет? — спросил Климов.

Что мог ответить Алексей Платонович? Привязывая моторку к пеньку, загляделся на струящиеся днепровские воды, и подумалось ему, что все в его жизни проходит так же стремительно, и он не в силах поймать свое счастье, устроить свою судьбу. Хотелось ответить генералу: правильно. Рад бы и сегодня помчаться к милой Ольге, отбросить все условности, одолеть свою застенчивость, свою гордыню. Но есть ведь еще и разум, и рассудок, и ее женская воля.

— Пускай сама решает,— буркнул, насупясь, и взялся за рыболовную снасть.— Уговаривать не стану.

Климов, закинув удочки, долго глядел на зеленоватую гладь реки, будто что-то взвешивая, и тоже был нахмурен, даже, казалось, рассержен. Закутавшись в свою фуфайку, зорко следил за поплавками и о чем-то размышлял. Наконец все же заговорил. Об Ольге Звагиной, о ее жизни. И в словах его прозвучал откровенный упрек. Без злости, не обвиняя, все же сказал, что поступает он, Найда, неправильно. Получается, что испугался детей. Понятное дело, что сама Ольга Антоновна не отважится первой признаваться в любви, к тому же в нынешней ситуации: живет в его квартире, работает на стройке под его руководством. Неужели не ясно, что ему давно пора взяться за ум?

— Ведь жизнь, которой мы живем, одна-единственная, другой уже не будет, Алексей Платоныч. Ни единого

мига не проживешь вторично. Радуйтесь тому, что есть, не ждите ничего необыкновенного.

Долго, убедительно говорил Климов, был в его речи опыт прожитых лет, обстоятельная мудрость старости.

Небо тем временем затянуло тучами, и можно было ожидать дождя, а то и первого снега. Днепр потемнел, чернильно-фиолетовые тона появились в его красках, даль была ветреной, пустынной — ни лодок, ни барж, ни речных трамваев.

Правый крутой берег вздымался над ними, как бастион, и казалось Найде, что там, за этой крутизной, пролегли стежки-дорожки, по которым ему уже не ходить, что там — жизнь, по которой пойдут другие, юные, неизвестные ему люди. Неужели это он стоял где-то здесь тридцать лет тому назад? И тогда тоже были эти кручи, свинцовое, в тучах небо хмурилось враждебно, и страшно было подумать, что к этому берегу ведут дороги, тащие смертельную опасность... Он знал, что там теперь — прекрасный город, что люди в том городе смеются, радуются, любят, что там много света, добра, доверия, там площади, и парки, и скверы для влюбленных. Отчего же эти тяжелые мысли о жизни, которую он отвоевал своей кровью, которой отдал свою молодость?

—... Вот и получается так, что подлость хочет верх над нами взять,— ворвался в раздумья Найды негромкий голос Климова.— Вы все колеблетесь, а Костик от своего не отступится.

— Я всем сердцем привязался к Ольге. Она мне дорога...— поднял глаза от поплавка Найда.

— Раз Костику вход открыт, значит, не дорога,— резко обронил Климов. Он горячился все больше.— Простите, может, вмешиваюсь не в свое дело, но все в вашей жизни как-то не так... С этим Гурским, с его плутнями, демагогией. Простите за резкость... Не могу, не могу...— Старик крепко завелся, щека его дергалась.— На комбинате сидит очковтиратель, а все восхищаются: какой герой, какой человек!

— Гурский — действительно сильный человек.

— Тем хуже. Он не только вредную линию ведет, но и развращает людей.

— Ну, это вы слишком,— через силу усмехнулся Найда.— Есть в нем и хорошее. Человек он деловой. Неплохо исполняет обязанности директора.

— Зачем вы меня убеждаете в том, во что сами не верите? — взглянул на соседа генерал— Сами же знаете, что у него и штурмовщина, и авралы, и приписки.— И, подумав минуту, вдруг спросил: — А как там дела у вашего Петра? Кажется, он преподнес Гурскому хорошую пилюлю?

— Неизвестно, как с той пилюлей получится. Многое зависит от Петра.

— Петр свое сказал кувалдой. Запечатлено на пленке шосткинской фабрики,— съязвил старый генерал.

У Найды вдруг от этого разговора испортилось настроение. Если бы дело было только в кувалде. Перед кинокамерой Петя размахнулся крепко, и удар его может быть для Гурского весьма ощутимым. Но, кажется, Гурский уже начал готовиться к контрудару. Сильные у него козыри. Устоит ли Петр Невирко? Выдержит ли натиск его дочери? Вроде бы порвал с ней окончательно. Клялся Алексею Платоновичу, что навсегда. Знать ее не знает... Но сердцу-то не прикажешь. Звонила ему снова, просила, чтобы встретились. Подружку подсылала какую-то. И Гурский почему-то зачастил на их стройку. С Петром за ручку, уважительно, ласково. «Что нужно вашей бригаде? Как у вас с выполнением бригадного подряда? Не подводят ли смежники?» Тут задача: Гурский ли на свою доченьку нажимает, или она хочет через папу своего добиться, вернуть парня? Держись, Петя! Один порожек ты переступил, не согнулся перед сладенькими словами. Теперь будет порожек покруче — испытание твоей рабочей чести. Гурский тебе наобещает всего. Напустит туману. Эх, только бы голову парень не потерял!

— Итак, пилюля, говорите, еще не сработала? — с ехидным смешком спросил генерал, насаживая на крючок новую наживку.

— Ну, увидим...— Найда вдруг почувствовал уверенность.— Думаю, Петр меня не подведет.— И внезапно дернул удилище. На его крючке затрепетал увесистый, серебристо-матовый лещ.— Попался, миленький? Подслушивал наши разговоры? Погоди чуток, я с тобой поговорю по-другому.— Он снял с крючка леща, подержал в руках, любуясь серебристой чешуей и радуясь его весу. Потом бросил леща в металлическую сетку и подсел к своему старому другу:

— Если бы можно было выловить зло одним махом,

мы бы с вами потрудились, Афанасий Панкратович,— сказал Найда и добавил строже: — Не век же будут прощелыги и карьеристы существовать.

Возвращались домой ночью. Город сверкал огнями, крутые его склоны ожили, повеселели, от мощного электрического света веяло теплом, было в этом что-то обжитое, надежное, привычное. Рыбакам казалось, что они прибыли из океанского путешествия. Хоть и промокли, замерзли, с окоченевшими руками — ступили на землю с чувством хорошо выполненного дела. И причиной этого была, пожалуй, не рыба, привезенная в металлическом бачке,— настроение это создала откровенная мужская беседа, длившаяся между ними целехонький день. Правда, едва не поссорились, однако в главном пришли к согласию: злу уступать нельзя! Зло нужно брать подсаком, а если не поддастся — то и на крючок, безжалостно и решительно. Одним словом, как на фронте было, когда проклятый фашист не сдавался.

Дом встретил их освещенными окнами. Найда, посмотрев на часы, этому несколько удивился. Что там с Ольгой? Скоро уже двенадцать, а она, верно, до сих пор хлопочет по хозяйству. Когда вошли на генеральскую половину, Анна Мусиевна сразу же объяснила:

— Телеграмма Ольге пришла. Едет ночным поездом. А за детьми я присмотрю.

Телеграмма была от односельчан, точнее — от командира партизанского отряда, который в свое время действовал в тех местах, откуда была родом Ольга. Партизаны тогда жестоко отомстили карателям — перехватили и уничтожили всю немецкую зондеркоманду. Телеграмма сообщала о том, что завтра в Сосновке день памяти погибших. Съедутся все, кто пережил страшное лихолетье, родственники, близкие и знакомые расстрелянных. И бывшие партизаны, разумеется, будут. Ольгу Звагину пригласили тоже. Приезжайте, мол, здесь похоронена ваша мать, и вся ее родня в этом могильном яру. Хотим, чтобы и вы вместе с нами почтили добрую память замученных фашистами.

Услышав об этом, Найда тотчас же решил: он тоже поедет в село, где родился инженер Звагин, где родилась Ольга. Климов постучался и вошел к нему в комнату.

— Надеюсь, я вам буду не в тягость,— проговорил спокойно и веско.— На моей «Победе» доберемся быстрей.

— Да ведь ночью надо ехать...— растроганно проговорил Найда, тронутый его предложением.

— Вот и поедем ночью,— решительно ответил генерал.— Когда-то из «виллиса» по двое суток не вылезал.

— Спасибо, Афанасий Панкратович,— поблагодарил Найда.— Пойду Ольге скажу...

Постучал в освещенное окно. За гардиной мелькнула тень, и Ольга, уже в дорожном костюме, с какой-то одеждой в руках, удивленно встала на пороге. Услышав, что Найда едет с нею, немного отступила назад, словно все еще не веря. Потом шагнула к нему и внезапно, словно обессилев, головой прижалась к его груди.

— Спасибо.

Он гладил ее волосы, худенькие плечи, а она поцеловала его в щеку, долгим, проникновенным взглядом посмотрела ему в глаза и негромко произнесла:

— На всю жизнь ваша должница, Алексей Платонович.

Ей все еще не верилось, она была взволнована и с трудом сдерживала слезы. Найда стоял перед ней и чувствовал, что грудь его полнится сладкой болью. Он не решался прикоснуться к склонившей голову Ольге, а в груди его радостно и бешено стучало сердце.

— Ну зачем же, Оленька?..— сдавленным голосом твердил он.— Не надо, Оленька.

Она подняла голову, и он увидел мокрое от слез, милое ее лицо, увидел широко раскрытые, сияющие от счастья глаза. Как была она красива в эти минуты! Словно опомнившись, вошла в комнату, засуетилась, схватила небольшой чемодан, открыла его. Если вместе, надо же взять и его вещи, что-нибудь из одежды, и еды побольше в дорогу. Он, войдя вслед за ней в дом, смотрел, как она вынимает из холодильника и перекладывает в чемодан какие-то свертки, бутылки, банки, распахнула шкаф, достала его теплый свитер. Тоже пригодится. Ночами холодно, а у него нет теплого пальто. Дорога дальняя, сто двадцать километров — не шутка.

— Может, для кого-то и не шутка, а для генерала Климова — сущий пустяк,— повеселел Найда.— Могучий старик! Хоть сейчас в бой.

— Есть же люди на свете! — всплеснула руками Оль-

га.— Одним добром живут. Верно, оттого у них и старость счастливая.

Ехали холодной ночью на старенькой дребезжащей «Победе», фарами рассекая ночь, вспугивая настоянную на первых морозах тьму. Иногда вдали появлялись огоньки встречных машин, широко разливали вокруг лучистый свет, мимо проносилась тяжелая темная масса, что-то ухало, обдавало ветром, и вновь простиралась ровная дорога.

Климов, уверенно ведя машину — даром что весь день провел на рыбалке! — снова углубился в воспоминания о прошлом. Начал рассказывать, как его стрелковая дивизия вышла к Десне севернее Киева — первая серьезная водная преграда, которую с ходу не возьмешь: не тот барьер, не те силы. Трудней всего было с танками. Как ты их переправишь без мостов и понтонов? А переправляться надо было как можно скорей, приказ такой был, чтоб с ходу, не задерживаясь, не давая немцам даже минутной передышки, выскочить прямо на Лютежский плацдарм, к северу от Киева. Фашисты думали, что мы начнем штурмовать Киев из Букрина, Ходорова, а тут — крутой маневр, и дивизия идет через полесские леса, и Десна — как на ладони. Что делать? Каким способом форсировать ее? Решила дело солдатская смекалка, изобретательность. Повели свои танки... по дну реки. Сам Климов это видел. Прибыл член Военного совета фронта и тоже смотрел, даже сперва не поверил. По самому дну, с задраенными люками, с выставленными вверх трубами для воздуха (ведь без кислорода двигатели сразу бы заглохли на глубине!), пошел первый танк, затем второй, третий... Член Военсовета там же, на берегу,— всех к Красному Знамени. Разве не заслужили? Вот это был марш-бросок! Разумеется, для гитлеровцев — как гром с ясного неба.

...Утром прибыли в село, остановились возле сельсовета. Ольга только вышла из машины, как ее окружили знакомые.

— Звагина, ты?

— Дай я тебя обниму!

— Что это ты, Ольга, так похудела? В прошлом году видела в городе, так была женщина как женщина, а сейчас — прямо девчонка худющая!

Ольга, радостно здороваясь со всеми, говорила, буд-

то оправдываясь, что не хочет стареть и поэтому избегает лишнего веса. Да и работа у нее такая, что не располнеешь.

— На кране, что ли? — интересовалась дородная тетка в шелковой зеленой юбке и белой кофте.

— Именно там, тетя Паша,— отвечала Ольга.— Слыхали, может, что теперь модно бегать утром и перед сном? Доктора так советуют. Вот я и бегаю. Утром по железной лестнице наверх, а вечером — вниз. Да еще и на обед. Вот и талия у меня. Не ваша, тетечка.

Раздался хохот, люди тесней обступили Ольгу Звагину, им было приятно разглядывать эту красивую стройную женщину, работницу с высотного крана, которая, поговаривали, «порядочные денежки зашибает». Вот и нынче прибыла на легковой машине. И привез ее важный бородатый генерал, а затем выбрался из «Победы» еще один солидный товарищ, не так чтоб очень старый, но и не молоденький, лицом приметный и, видать, не из гордых, так как тоже включился в разговор, стал обмениваться шутками с женщинами, приглашать к себе на стройку: приезжайте, мол, я там бригадиром, станете строительной гвардией!

Райкомовское начальство, увидев важного генерала (три звездочки на погонах!) и узнав, что Ольга привезла с собой Найду, фронтового друга ее отца, оказало городским гостям особое уважение. Секретарь райкома, молодой мужчина с русым кудрявым чубом, сказал Климову:

— Мы хотим, чтобы сегодняшний день стал праздником не только боевой, но и трудовой славы. И все это вы добыли в боях, товарищ генерал. И вы, товарищ Найда.

— Какой уж праздник, если поминать будем? — вздохнул Климов.— А впрочем, вы правы. Дорогой кровью все это досталось.

Молодой секретарь извинился перед гостями, обвел глазами собравшихся у крыльца сельсовета колхозников, потом заторопился кому-то навстречу. Поговаривали, что на торжество прибудет иностранная делегация антифашистов. Бывший партизанский край не забыл ничего, и по сию пору он переживает горечь тяжких утрат.

Ольга, конечно, захотела увидеть, что теперь на том месте, где была ее родная хата. Ее повели туда. И Кли-

мова, и Найду также. Дальняя родственница Ольги — тетка Паша — по дороге рассказывала про село. После войны долго думали, как быть: оставить это черное пепелище как памятник для будущих поколений или же отстроить село заново, чтобы только на сердце остался кровавый рубец? Решили восстановить все, как было. Хаты, правда, теперь уже не те, пришла и сюда мода на кирпич, шифер, железо, только дворы остались прежними, огороды, сады. Семьи погибших решили жить на своих старых участках, там, где и предки их жили.

— Вот и твоя хата, Оленька,— указала тетка на красивый кирпичный домик, крытый листовым железом. Открыла калитку, по-хозяйски ступила на посыпанную шлаком дорожку, которая вела к высокому крыльцу. Достала ключ, отперла дверь.— Не удивляйся Оля. Теперь это моя хата. Я тебе ближе всех по отцу, вот мне и выделили эту землю.

— Родненькая моя! — со слезами радости обняла тетку Пашу Ольга.— Родненькая!

— И я родная, и есть теперь у тебя еще один родной человек.

— Не Григорий ли Антонович? Партизанский наш командир?

— Гриша. Мой муж. Теперь тут председателем,— с еще большей гордостью проговорила хозяйка.— Спрашиваю его: а ты Олю Звагину, племянницу мою, пригласил или нет? Смеется в усы. А как же! Нашу родню как к столу не пригласить!

— Спасибо, получила телеграмму, ну и... вот меня привезли,— указала кивком на Климова и Найду, стоявших у каменных ступеней крыльца.

Тетка окинула взглядом Найду, однако расспрашивать не стала: и так было видно, что Найда для Ольги человек не чужой.

Только вошли в дом, где все блистало чистотой и дышало достатком, как явился хозяин. Со двора послышался его раскатистый бас:

— Слыхал, слыхал, что Олюшка Звагина прибыла. Ну, где она? Показывайте мне ее!

Долго вытирал сапоги о половичок, и это понравилось Найде: видно, заботливый, аккуратный человек. Вошел, приветливо улыбаясь, усищи — как у запорожского казака, кепка сдвинута набекрень.

— Показывайте мне племянницу!

Ольга скромно поднялась, протянула руку:

— Здравствуйте, Григорий Антоныч.

— Ты мне руку не подавай, я вашего ручканья не признаю,— весело сиял глазами хозяин.— А ну, иди сюда, иди! — Прижался усищами к ее щеке и, держа за плечи, залюбовался.— Смотрите, какая красавица! Опеночком была, когда прибилась к нам в лес с Феклой. Что значит городские харчи. Ай да товарищ Звагина!

Глаза Ольги лукаво блеснули. Подошла к Найде, взяла его за руку.

— Григорий Антонович...— проговорила, слегка смущаясь.— Называйте меня теперь уже «товарищ Найда».

— Муж твой? — глянул на чуть растерявшегося Алексея Платоновича хозяин.

— Женимся, Григорий Антонович.— Она взяла Найду под руку, подвела к усачу.

Тот ласково обнял их обоих:

— Пусть жизнь ваша будет как добрая нива.

Тетка Паша тоже сердечно поздравила их и смахнула кулаком слезу. А ну их, эти слезы! Наплакалась. Пускай вороги наши плачут. Теперь только жить и радоваться.

Метнулась в кухоньку, вынесла оттуда чарки, бутылку, свежий каравай.

Стоя выпили. Только Климов, поскольку он был за рулем, нюхнул, почмокал губами и поставил чарку на стол.

— Разрешите и мне, дорогой друг, поздравить вас,— обнял он Найду и по-мужски расцеловался с ним.

— Значит, и моей родни прибыло,— сказала тетка Паша.— Спасибо и за это.

Она решила было сажать гостей за стол, однако муж удержал ее. Начальство ждет, люди уже собрались. Пора идти в лес.

При слове «лес» лицо Ольги вдруг вытянулось, побледнело. Видно, чем-то давним, тяжким повеяло на нее, даже сердце защемило. Надо было идти к тому страшному месту, куда всех жителей села — от мала до велика — каратели вывели на расстрел; ров зиял могильной чернотой; детей после добивали прикладами.

Густой темный бор, казалось, был объят траурной

скорбью, высоко и строго вздымались сосны вокруг поляны и длинного, заросшего травой холма, над которым возвышался обелиск. Это — место расстрела. Здесь находился тот залитый кровью наполненный стонами и мольбой ров смерти. Останки расстрелянных перенесли в село на центральную площадь, но холм остался — как страшное напоминание о войне.

Люди плотной, недвижной толпой окружили поляну, глаза, печальные и суровые, были устремлены на обелиск, на пионеров, которые в белых рубашках с красными галстуками стояли в торжественном карауле.

Потом выступили секретарь райкома, бывший партизанский командир Григорий Антонович, колхозники и гости. Школьники декламировали стихи, духовой оркестр исполнял траурный марш, а в холодном небе шумели сосны, будто космические радиопередатчики, которые посылали в мир весть о незаживающем горе села, о кровавом злодеянии гитлеровцев.

Затем все фотографировались возле холма, а пионеры, окружив приезжих, старались попасть в объектив. Каждому хотелось быть на снимке рядом с дорогими гостями, с генералом и с товарищем самого Звагина — Алексеем Платоновичем Найдой.

Уже собрались возвращаться в село, как вдруг на лесной дороге послышался рокот моторов и показались три легковые машины со столичными номерами. Выкатились прямо на поляну и стали в ряд. Из первой машины вышел секретарь обкома партии, из других стали высаживаться иностранные гости.

— Извините, товарищи, за опоздание,— обратился секретарь к присутствующим, и все сразу заторопились обратно, снова плотно сгрудились вокруг холма с обелиском.

Да ведь это приехали те самые представители антифашистского комитета, о которых сегодня было столько разговоров! Их задержала непогода, летели самолетом, оттого и припозднились.

Секретарь обкома представил каждого из них: высокого сутулого француза в кожаном пальто, двух пожилых полек, одетых в шубы, гостей из Голландии, Норвегии, Швеции. Особо выделил угрюмого с виду, пожилого немца:

— А это, друзья, товарищ Карл Земке. Прибыл

от коммунистов Германской Демократической Республики.

Лицо у Карла Земке было изможденное, с впалыми щеками, руки длинные, на тощей шее алело кашне. Он снял шляпу. Молча постоял минуту, склонив голову, потом поднял левую руку, словно призывал всех к вниманию. Завернул рукав пальто: на руке его синими рубцами был обозначен концлагерный номер.

Опустив руку, он заговорил, с трудом подбирая слова:

— Я есть концлагерный узник... город Лейпциг... Нелегальная группа Шуман и группа русский майор Румянцев. Вместе против наци... Я хочу передать боевой салют немецких коммунистов. Рот фронт, камераден!

Сжав кулак в приветственном салюте, он будто грозил невидимому врагу. Снова кивнул головой и отошел к своим спутникам. Тогда секретарь райкома партии тоже поднял кулак и тоже выкрикнул звонким, воинственным голосом:

— Рот фронт, товарищи!

И все, кто был на поляне, сотни людей, тесно обступивших холм с обелиском, проскандировали хором:

— Рот фронт! Рот фронт! Рот фронт!

Вышло не совсем дружно, но в многоголосом салюте прозвучали сила и решимость. Все невольно подтянулись, будто стояли в боевом строю.

Найда подошел к худому немцу из Лейпцига и заговорил с ним на немецком языке.

— Вы что, знакомы с ним? — спросил у Алексея Платоновича секретарь обкома, когда разговор окончился.

— Могли сгореть в одной печи,— ответил Найда и глянул на свои руки.— Я тоже был в том лагере вместе с майором Румянцевым. Слышал я, что коммуниста Шумана казнили в Дрездене за десять дней до освобождения города. Румянцев тоже погиб...

Иностранные гости вскоре уехали, а секретарь обкома еще задержался, побеседовал с колхозниками, генералом Климовым, не обошел своим вниманием и школьников, принимавших участие в этом торжественном митинге. Люди хорошо его знали, он не раз бывал у них в горячие дни жатвы, проводил совещания с сельским активом, не без его содействия построили в селе клуб, на фермах прокладывали водопровод, устанавливали дождевальные установки.

В сельском клубе был накрыт стол. Найду с Ольгой, как самых дорогих гостей, усадили возле сцены, у маленького микрофончика. Зал гудел, пока люди рассаживались.

Секретарь райкома, сидевший рядом с Найдой, встал, попросил слова. И тотчас гомон за столами стих, лица у всех стали серьезными, взгляды устремились на оратора.

Он провозгласил тост — сурово-торжественный. Народ одолел врага — фашиста, залечил раны, возвел новые дома на пепелищах. Разве легко это далось? Разве забылись те первые послевоенные годы, когда в плуги впрягали коров, лопатами вскапывали поле, из ржавых железок монтировали тракторы... Богатеет нынче село, сыновья и дочери сосновчан по всей огромной Стране Советов трудятся, учатся, строят новый мир. Летчики и ученые отсюда выходят, заводские умельцы...

— И космонавты будут! — крикнул кто-то с дальнего конца стола.

— Правильно. Сосновчане и на Марсе разведут скот, покажут класс свекловодства,— шуткой ответил молодой секретарь на эту реплику.— Только там, говорят, пахотной земли маловато, так что придется вам у себя двойную норму выполнять.

Еще говорил он о задачах села в новой пятилетке, сколько минеральных удобрений получит колхоз в будущем году, какой техникой оснастится.

— В общем, так повысим свой культурный уровень, что к нам даже из городов будут проситься на постоянное жительство. А мы еще подумаем..

— Верно! — послышались голоса.— Всяких бездельников прописывать не станем. У нас село с партизанской славой.

— А девчата такие, что не за всякого парубка выйдут замуж.

— Только кучерявых подавай!

— Агрономов с образованием!

— Музыкантов тоже!

— И в клуб массовика, чтоб свой драмкружок был!

Сердце Найды полнилось светлой радостью. Словно в родной семье очутился. До чего же славные все эти люди, сколько искренности в них, доброты, хотя жизнь каждой семьи здесь омрачена тяжкими воспоминаниями, горечью утрат. Ведь и Ольгина мать приняла смерть в черной яме,

где алеет теперь обелиск над холмом, под соснами, под вечным шелестом ветра.

Найда чувствовал возле своей руки Ольгину руку — горячую, напряженную, не мог забыть сцену в хате Григория Антоновича, где он испытал счастливые минуты душевной близости с добрыми людьми и жизнь его словно озарилась новым светом.

В краткое мгновение, почти подсознательно, промелькнула перед мысленным взором Найды вся его жизнь: немало прошел он дорог, уже седина в волосах, кое-кому мог бы показаться даже стариком или человеком предпенсионного возраста. Ну что ж, можно и в тридцать лет быть стариком. Его семейное счастье явилось к нему снова, и кто знает, много или мало лет осталось ему ходить по земле. Но от тебя зависит, какими будут эти годы, чем наполнишь их, какой добротой, каким уважением и заботой согреешь ты близкого человека, готового разделить с тобой все твои радости и беды. Запоздалое счастье? Осенняя любовь? Быть может, это и есть то самое сокровенное, о чем мечтал и на что уже перестал надеяться?

Ночевать остались в доме Григория Антоновича, хотя Климов настаивал на отъезде, верно, заскучал по своей Анне Мусиевне. Но все же уговорили его — уже поздно, путь неблизкий, да и снежок посыпал. Всякое может случиться на трассе.

— Ложитесь, товарищ генерал, на мягкой софе, среди простеньких ковриков, в теплой чистой хате. Молока можно выпить на ночь или холодного взвара из сушеных груш.

— Пойду спать в машину,— упрямо буркнул Климов.— Только подушку дайте, а укрыться есть чем.

Верно, расстроило его то, что после вечера в клубе включили магнитофон, загремела музыка, и молодежь начала танцевать. Для них, молодых, минувшей войны будто и не было. Почтили погибших, отметили памятный день, а дальше у них все по-своему. Молодое сердце долго грустить не умеет.

— Да разве можно сердиться на них? — рассуждал Григорий Антонович, когда генерал с подушкой и теплым одеялом (все-таки уговорили) стал на пороге.— Жизнь свое берет. Я даже рад, что там танцуют. Пусть не знают горя, которое изведали мы.

Потом сидели по-семейному у накрытого белой скатертью стола, пили чай. Найда рассказал о Звагине: как прорывались они к Берлину, как на рассвете 22 июня сорок первого года их сбил грузовик и они очутились в клинике Шустера. А после... расстались навсегда. По сей день осталось тайной, куда увезли инженера Звагина фашистские палачи, что с ним сделали, какую горькую чашу испил он напоследок. Такие, как Звагин, не предают и головы перед врагом не склоняют. Быть может, встретил свой смертный час, как легендарный генерал Карбышев, а быть может, был казнен в страшной берлинской тюрьме Панкрац.

— Будет уже,— прервала горький рассказ Найды тетка Паша.— Лучше расскажите, как живете, почему Ольгу к нам не пускаете? Отреклась от своего гнезда!

— Пока Алексей был мне только начальником, боялась надолго отпрашиваться,— с улыбкой призналась Ольга.— Он у нас строгий.

— Не верю! — покачала головой тетка Паша.

— Правда, строгий! — Ольга ласково прижалась к Найде, а в глазах — лукавая смешинка.— Держит меня в железной клетке.

— Зато, говорят, из твоей клетки весь белый свет виден! — пошутила тетя Паша.

Найда пояснил ей, что работа на кране действительно тяжелая и только что вынесено постановление, чтобы женщин от нее отстранить. По крайней мере на высотных стройках.

— Значит, ты меня оставляешь без работы? — притворно ужаснулась Ольга.

— Государство о тебе заботится, а мое дело — выполнять распоряжения,— улыбнулся Найда.— Кабы на то моя воля, вас, женщин, я бы вообще подальше от строительных работ... Ваше дело — дети, одежда, магазины, песни... Кстати, Оленька у нас певунья! Хор наш без нее давно бы захирел,— с гордостью проговорил Алексей Платонович.

— Ясно,— с шутливой улыбкой отозвалась Ольга.— Из железной клетки меня высаживают — и прямо в семейную, чтоб над кастрюлями пела свои песни.

— Тогда уж лучше к нам переезжайте,— подбросила словцо тетка Паша.— В достатке жить будете, домик себе построите — этому учить вас не надо. В клубе Ольга

сможет работать. Правда, Гриша? — обратилась она за поддержкой к мужу.

Он пытливо глянул на Ольгу, перевел взгляд на Найду. Идея эта, видно, ему понравилась.

— Верно. А то надоело уже с чужими людьми иметь дело,— досадливо махнул рукой хозяин.— От вас иногда приезжают наши шефы. Но пока их допросишься — сами бы лучше построили эти коровники.

Разговаривали долго, и Ольга начала подремывать за столом (ведь после целого рабочего дня!). Когда еще новое постановление утвердят, а завтра ей опять во вторую смену. Восемь часов на ветру, в снегопад — да на какой высоте!...

Тетка Паша, спохватившись, принялась хлопотать над постелями, принесла подушки из другой горницы, чтобы на широкой кровати постлать все свежее. И тут возникла досадная неловкость. Ольга поняла свою родственницу с одного взгляда. Как, мол, постель стлать? Ведь они вроде бы после помолвки?..

Ольга решительно взяла одну подушку и положила ее на стул.

— Я у вас на веранде видела раскладушку,— сказала так, будто и не возникало никакого сомнения.— Несите сюда. Спать хочу — прямо умираю.

* * *

Что бы ни говорили о главном инженере Гурском, делал он немало хорошего. В газетах о нем упоминали все чаще, комбинат постепенно выходил в число первых, ходили слухи, что к майским праздникам большая группа рабочих будет награждена орденами и медалями. Особенно внимателен стал Гурский к бригаде Найды и Невирко. С Найдой, правда, избегал встречаться, больше разговаривал с рабочими. Хорошие ребята, ничего не скажешь. Балагурил с ними, предлагал сигареты, уточнял кое-что по проекту, по чертежам. Глаз у него точный, умеет строить, чувствует линию. Настоящий инженер!

Полез на кран, в башенную кабину к Ольге Антоновне, и с ней долго там беседовал. Работяги пересмеивались: свидание выше ватерлинии! И на бригадира Найду косились сочувственно. Каково-то ему, а? Начальство с кем хочет, с тем и говорит.

Особенно долго о чем-то толковал с Петром. Остановились за стеной возле санкабины, укрылись от ветра и что-то доказывают друг другу. Найда нутром почувствовал: снова, видно, о Майке зашла речь. Может, нападает на Петра из-за дочери. А может, наоборот, пришел мирить молодых людей.

Беда с этим Невирко. Пропадет хлопец, загубят его, собьют с толку.

Совсем перестал нравиться Петя Алексею Платоновичу: дерзит, стал слишком уж самостоятельным, самоуверенным. В глазах появился холодок. Все толкует ребятам: «Наше звено станет лучшим. Вы только меня слушайте». Тянут из кассет панели, приготовленные для следующей смены, отбирают себе, что получше. Найда его однажды прямо за руку схватил:

— Ты чего от меня убегаешь? Не забывай, что у нас наряд на всю бригаду, а не только на твое звено.— И по-дружески обнял его за плечи.— Петь, что с тобой? Опять с Майкой связался?

Не ответил. Стояли как раз в слесарной будке, на верхотуре, возле электрического камина. Петр грел руки над ним.

— Чего таишься?

— Да никаких тайн! — бросил Петр.

— А я слыхал другое.

— Может, скажете?

— Ходят разговоры, что в родственники к Гурскому набиваешься...

— Чертовы трепачи! — взорвался Невирко.— От зависти все. Пускай завидуют. Я свое дело знаю. А если кто и похвалит, так всей бригаде на пользу.— Он перешел на доверительный тон: — Разве уж такой большой грех, когда человек в почете?

Найде что-то не понравилось в его словах и в тоне. Слишком уж прямолинейно высказал Петр то, чего говорить, пожалуй, не стоило.

— У нас одна стежка, Петя, смотри, чтоб не петлять по ней.

— Петлять не собираюсь, Алексей Платонович, но и своего интереса не упущу. Гурский пообещал, что создаст нам лучшие условия. И я ими воспользуюсь. Вы можете с ним спорить, Алексей Платонович, а мне все равно. Лишь бы дело спорилось.

...Найде вдруг пришла неожиданная мысль: надо поговорить с Майей Гурской. Не откладывая поговорить. Алексей Платонович был с ней знаком, она даже к нему в дом заходила, когда они дружили с Петром и дело к свадьбе шло. Знал, что она умная, рассудительная, с тонкой душой. Он должен знать правду. Обман здесь или не обман? Любит она Петра или не любит? Если любит, зачем мутить воду? Берите и женитесь. Много о девчонке лишнего болтают: такая, этакая... А то, что отец — хитрая бестия, не ее вина. Он ее и с Голубовичем свел, заставив порвать с Петром.

В театральном институте, где училась Майя Гурская, был как раз перерыв между лекциями. Алексей Платонович, раздевшись в гардеробе, медленно направился по узкой лестнице вверх. Мимо пробегали озабоченные студенты, куда-то торопились, некоторые стояли группами и оживленно разговаривали. Подойти к ним Найда не решился. Ходил по коридорам, осматривался: может, увидит ее, может, случайно встретятся. Наконец решился всетаки спросить у какого-то солидного, пожилого мужчины, видимо преподавателя, не знает ли он, где Гурская, студентка третьего курса. Тот непонимающе глянул на странного посетителя, посоветовал зайти в деканат: там точно укажут.

— Вы, наверное, ко мне? — вдруг вынырнула из-за спины Найды Майя. На ней было синее джинсовое платье и высокие на тоненьких каблучках коричневые сапожки.— Если не ошибаюсь, Алексей Платонович?

Она смотрела на него, мило улыбаясь, хорошо зная, как ее привлекательность действует на мужчин, даже на таких вот простаков, как этот старик в сапогах и рыжем свитере.

— Не ошибаетесь, Майя Максимовна,— слегка смутился Найда.— Я со стройки... Где Петя работает.

Она встревожилась: что с ним? Беда какая-нибудь? Тревога была искренней, и Найда порадовался: «Значит, переживает за него. Можно поговорить по душам». Сказал, что шел мимо, решил заглянуть на минутку, есть важный разговор.

Они зашли в какую-то аудиторию с длинными черными столами, настенными диаграммами, пыльными подоконниками и специфическим запахом старой мастики. Майя села на скамью и предложила Найде стул у доски,

исписанной крупными английскими словами. Алексей Платонович поднял с пола тряпку и положил ее на место.

Майя спокойно и с интересом смотрела на нежданного гостя. Внутренне она вся напряглась, ей было любопытно и в то же время немного страшно. Даром бы старик не пришел. Да и вид у него больно суровый, неприветливый. Теперь она вспомнила, как Петя приводил ее к Найде, как они пили чай с сухариками; кажется, было какое-то кислое домашнее вино; в комнате неуют, запустение, сразу видно — нет женской руки. Сейчас, правда, Алексей Платонович выглядел получше. И Майя сразу решила, что он, вероятно, женился.

— Я вас слушаю, Алексей Платонович,— напомнила она вежливым тоном, давая понять, что хотя и сидят они в пустой аудитории, но это ведь не дома, тут каждая минута дорога.

Он не мешкая заговорил о Петре Невирко. Пока шел сюда, все хорошенько обдумал, подготовил убедительные слова, которыми намеревался сразить Майю. Но вместо этого произнес коротенькую, совершенно неожиданную для себя фразу:

— Вы его не любите, я знаю...

Она вскинула вверх тоненькие брови:

— Петю... Я не люблю?

— Да, Петю.

Она не обиделась и не огорчилась, только стало неловко, что о ее чувствах говорит совершенно посторонний человек. Даже оглянулась на дверь. Не услышали бы. И тут же в лицо ей ударила краска, она зарделась и прикусила губу.

— Вы говорите какие-то странные вещи, Алексей Платонович,— заговорила она быстро.— Я не понимаю, почему... Недавно был у меня Петя, и мы с ним все обсудили... Она вдруг с подозрением взглянула на Найду.— Скажите, это он вас послал ко мне?

Найда решительно затряс головой. Даже руки к груди прижал. Заявил, что его никто не посылал и Петя ни о чем не знает. Но им нужно поговорить по-честному, по-хорошему. Иначе парень пропадет. С Майей, разумеется...

— Без меня будет жить, а со мной пропадет? — переспросила с легкой издевкой Майя.— Не знала, что обладаю такими демоническими способностями, Алексей Платонович.

К ней постепенно возвращалось чувство уверенности в себе. Во-первых, ложь, что не любит. Во-вторых, почему Петя с ней должен погибнуть?

Тогда тон его стал просительным, так мог говорить о своем гибнущем сыне лишь любящий отец. Петя — молодой, доверчивый, честный, его все любят. А сейчас в бригаде со всеми перессорился... Институт почти не посещает... А ведь у него отчим пьяница, больная мать, которой необходима помощь сына. Ему нужна девушка простая, чтобы была верным другом и хозяйкой в доме.

Майя достала из бокового кармашка сигареты, жадно затянулась дымом.

— Спасибо, Алексей Платонович,— произнесла упавшим голосом.— Я так и знала, что вы ко мне плохо относитесь... Все вы против меня...

— Извините... Я хочу как лучше...— растерялся Найда, поняв, что своим откровением обидел Майю.— Вы замужем, у вас семья.

— Да, у меня семья,— сухо сказала Майя.

— Вот видите... Голубович — очень уважаемый человек...— ухватился за новую мысль Найда.— Его все знают... Говорят, он очень болен... А у Пети проект, им работать вместе... Запутался парень... Ежели любите — любите. А ежели нет...

Майя поднялась. Она продолжала курить. Выражение лица у нее было упрямое, сосредоточенное. «А ведь ей нелегко»,— подумал Алексей Платонович.

Подойдя к Найде, она вдруг положила ему на плечо маленькую тонкую руку, отчего он весь окаменел.

— Милый вы мой Алексей Платонович...— в ее голосе была боль, безысходная тоска, почти отчаяние,— не понять вам ни меня, ни Петю.— Она тяжело вздохнула и убрала руку.— В том-то и беда моя, что я его люблю... Да, очень люблю... Пустая, ветреная — и все же люблю.— Глаза ее увлажнились.— Но обещаю вам... никогда больше! Пусть не мучится!.. Никогда!..— И выбежала из аудитории.

* * *

Было бы, конечно, ошибкой считать, что Майя Гурская, та самая очаровательная, с полными губами Майя, что так удивила Алексея Платоновича при встрече в ин-

ституте, была абсолютно искренна, когда на прощание бросила ему резкое и почти отчаянное: «Никогда!» И было бы в то же время не меньшей ошибкой не верить ей вовсе. Дело в том, что Майя Гурская сама совершенно запуталась и была в растерянности. Знала, что привлекательна, удачлива, что все может (если не она, то ее папа), что жизнь, уже принесшая ей множество приятных вещей, милых знакомств и сладких надежд, в ближайшем будущем принесет их еще больше. И вдруг все словно обернулось против нее, и началась полоса неудач, разочарований, срывов. Хуже того — началось неверие в себя, непонимание себя.

Вот и сейчас — бросила в лицо доброму, честному Алексею Платоновичу слово «никогда!», вложила в него все свои чувства, разрубила им всю свою жизнь, отказалась, отреклась. Но как только оказалась одна, в ней все взбунтовалось и запротестовало. «Неужели я так сказала?.. Неужели я могу без него?..»

Следующая лекция была по режиссуре. Ее читал известный режиссер. Лектор не жалел ни красок, ни слов, ни воображения, но Майя ничего не слышала. Равнодушно и тупо глядя в одну точку, она не могла и не пыталась окунуться в ту творческую атмосферу, которая охватила аудиторию. Никак не могла забыть своего «никогда!». Оно постепенно вырисовывалось перед ней во всей своей жестокой реальности. «Никогда!» — значит не видеть Петра, не чувствовать теплоты его сильных рук. «Никогда!» — первое настоящее испытание в жизни. До сих пор могла делать что угодно, могла повелевать кем угодно. И вдруг — это непроизвольно вырвавшееся «никогда». «Да я же его люблю, люблю, люблю... Как это случилось? Мы — разные... Но я люблю все равно... Не потому, что он красивый, не потому, что смелый и дерзкий. Нет, нет, я его люблю потому, что... люблю! И если его не станет в моей жизни, она будет пустой и безрадостной».

Она упрямо возвращалась к прошедшим дням и месяцам, пытаясь постичь, на каком рубеже жизни с ней произошло это, произошло настоящее. Были и раньше ребята. Но встреча с Петром у реки... Потом первая их ночь в Зинином доме... Его поездка в деревню... Потом разрыв, Голубович, папины слова о самом важном в жизни, о том, из чего слагается счастье и чего, по его

мнению, нет у Петра Невирко. Нет собственной машины, темно-синей «Волги» со стереодинамиком внутри и пушистой кошмой-накидкой на заднем сиденье, как у Игоря; нет квартиры в новом кооперативном доме; нет большой библиотеки; нет кандидатского звания... Все это было у Игоря Голубовича, ее мужа, погруженного в себя, вечно усталого, спокойного и все ей прощающего. Все это было, но почему-то не радовало. И не исчезало ощущение, что чего-то не хватает. Особенно она это почувствовала в тот день, когда Петр снова явился к ней. Она пригласила его просто так, ради скуки, да и за отца хотелось заступиться. Но когда он сорвал с вешалки свою синюю синтетическую куртку и рассерженный выскочил на улицу, она испугалась. Так уходят навсегда. Он теперь не вернется. Ему было мало тайных свиданий под красным торшером, ворованных ласк и краденых поцелуев. Майя поняла это совершенно отчетливо, как только утихли на лестнице его быстрые шаги. И странно: ей самой вдруг стало мало этого. Захотелось быть только с ним. Не обижая, не раня, расстаться с Игорем Александровичем. И быть с Петром. Жить где угодно: в общежитии, в снятой комнатке, на даче... Она начала звонить ему на стройку, посылать подруг: «Пусть он придет!» Казалось, еще немножко, еще миг — и он поддастся, не выдержит, простит, прибежит к ней. Но вместо него пришел... Найда. И она крикнула ему: «Никогда!»

Вечером отправилась к отцу. Он словно угадал ее настроение. Мачеха была на консультации у какого-то крупного профессора. Отец — в белой рубашке, с галстуком. Видно, только пришел и не успел раздеться.

— У меня есть хорошее винцо, доченька,— сказал Майе, обнял за плечи, повел на кухню.

У нее были припухшие от слез глаза, и ему стало невыносимо жаль дочь. Догадывался, видно, давно догадывался, как ей несладко. Голубович — умница, но оказался никудышным мужем: без конца болеет, хандрит, они нигде с Майей не бывают. Знает одну лишь работу.

— Пап,— шепотом произнесла Майя, держа перед глазами рюмку с густым красным вином,— что же ты натворил, папочка?

И две слезинки скатились по щекам дочери. Хрусталиками сверкнули в тусклом свете кухонной лампы. Да, да, натворил, конечно. И спорить нечего. Хотел как лучше,

а вот что вышло. Слезинки дочери горячими угольками падали ему в душу.

Тогда он встал, принес из комнаты коньяк, налил себе в стакан.

— Прости... не люблю вино...— И одним глотком все сразу.— Прости, дочка.

Собственно, здесь не только его вина, если быть справедливым. Упрекать всегда легко. Пусть другие отвечают. Пусть он, отец, решает, как быть. Сама же тогда зимой разревелась, прибежав с автобусной остановки: «Не хочу видеть его... Его общежития... Руки грубые, мозолистые, лицо красное от ветра...» Теперь папа виноват. Ясное дело! Хотел как лучше... Голубовичи! Одесские мореходы! Флотоводцы! В роду — адмиралы, герои, ветераны... Такое родство не помешало бы.

— Не буду ни тебя корить, ни себя оправдывать, дочка,— захмелевшим голосом произнес отец.— Видать, не угадала ты своего сердца. Не угадала в Петре личности.

— Ты считаешь, что он — личность? — оживившись, спросила Майя.

— Полагаю, да. Умен, напорист, башковит. Такие умеют делать карьеру.

— Я не о том, папа,— болезненно сморщилась дочь.— Вовсе не о том...

— Да, да, я понимаю,— быстро согласился отец.—Вообще тебе, конечно, виднее. Некоторая неотесанность со временем пройдет.— Он вздохнул, и губы его тронула ироническая усмешка.— Любовь — не пожар, а загорится, не потушишь.— Он подлил ей вина, плеснул и себе из коньячной бутылки. Охмеление всегда вызывало у него желание пофилософствовать.— Лучше жить с любящим, чем просить милостыню у нелюбящего.

— Но ведь он меня любит! — Майя едва не всхлипнула.

— Ну, это ты брось! Любовные страдания тебе не к лицу, Маюша. Уж кому-кому, а тебе грешно роптать на судьбу.— Он почти заискивающе ей улыбнулся.— Если с полной откровенностью, то я не очень верю в твою пылкую страсть к этому Невирко. Такие, как ты, нравятся мужчинам,— он ласково потрепал ее по бледной, мокрой щеке.— А он мужик! Ты можешь влюбить в себя самого принца датского. Не терзайся. Голубович еще покажет

себя. Больной, да. Давление, кризы и прочее. Но ведь и докторская у него на носу. А это кое-что значит... Потерпи...

Майя почти с ужасом посмотрела на отца. Он ее не понимал. Или, точнее, не хотел понять. Она говорила с ним о самом дорогом, а он? При чем тут докторская? Какой принц датский?

— Папа, милый, ты у меня чуткий и добрый,— заговорила она, стараясь как можно яснее выразить свою мысль.— Все было ошибкой. Я поняла... Может, поздно... Но я поняла... Игорь — хороший. Умница, верный товарищ... Я не хочу его обманывать... Но я люблю Петра. И только ты можешь...— Она подошла к нему, пригладила его редкие, тронутые сединой волосы,— помочь.

Этого он никак не ожидал. Удивленно глянул на нее снизу вверх. В ее взгляде, в упрямо глядящих на него больших глазах, в голосе была боль. Вот уж действительно: «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом!» Он встал, подвел ее к стулу и заставил сесть. Потом подлил ей вина и задумался. Чем же ей помочь? Пусть скажет — чем? Возвратить любимого? Заставить, чтобы он полюбил? Убедить, переубедить... Это просто невозможно. Да и неприлично...

Она не хотела слушать никаких отговорок. Снова поднялась, положила ему на плечи руки. Казалось невероятным, что она уже замужем, мучается, страдает. Он вспомнил те времена, когда носил ее на руках, лечил, пестовал.

— Ты пойми, что я даже не представляю... Просто ума не приложу, как...

— Я не прошу тебя, папа.— Голос ее срывался, она едва сдерживалась, чтобы не заплакать.— Я умоляю!

— Боже ты мой! Из-за какого-то паршивца!..— воскликнул он с горечью.

— Неправда. Ты сам сказал, что он личность.

— Ну сказал, сказал. Пойми: он мне неприятен. И он, и его так называемый «Батя». Все эти критиканы и демагоги... Более того, после истории с кинохроникой он просто опасен. Приходится заискивать перед ним, ручку жать, лучшие элементы, машины... все теперь ему. Да если хочешь...— тут Максим Каллистратович беспомощно развел руками,— он скоро всех нас переплюнет. В Герои выбьется...

— Нет, нет, я о другом.

— О чем же?

— Полюби его. Дай ему понять, что вы друзья. Что ты его не отвергаешь. Ты, отец Майи Гурской...— Она крепко обняла отца, прижалась щекой к его полному лицу.— Не знаю, как быть с Голубовичем, но без Петра я не могу. Какое-то сумасшествие, папочка! — Она стала покрывать его лоб поцелуями, говорила, глотая слезы: — Ты же умный, сильный, папуля...

Он снова налил себе в стакан коньяка, понюхал, но пить не стал. Сжал губы и крепко задумался. Потом поднялся и одним залпом осушил его.

— Дочка ты моя родная, глупое ты существо,— и поцеловал ее в щеку.— Все для тебя сделаю. Есть у меня одна задумка. Может, что и получится.

* * *

Комсорг Обрийчук, позвонив в бытовку, предупредил, что скоро будут соревнования и надо показать высший класс. Обрийчук всегда и всюду требовал «высший класс», выступал ли с трибуны, в компании ли друзей или за столом на товарищеском ужине. Ему везло в институте, и на комбинате, и в личной жизни. Бывают же такие счастливчики, которым удача сопутствует абсолютно во всем. Вот и в спорте. Он взялся организовать на комбинате первоклассную хоккейную команду. А уж если что задумал — добьется своего непременно.

— Чтоб ровно в пять возле стадиона! — кричал в трубку Петру Невирко, стоявшему в своей робе перед табельщицей.— Коньки подточим на месте.

Настроение у Петра было не больно веселое. Накануне был с ребятами в молодежном кафе. Была и Ванда из диспетчерской. Неплохо провели время. Только к концу все испортила Майя. Вдруг явилась со своей подругой, села неподалеку, заказала шампанское. В бархатном зеленом платье, стройненькая, красивая. А в глазах — печаль. Так и тянуло подойти и пригласить на танец. Но Виталька не пустил: «Держись и не верь! Крепче держись, старик!» Девушки вскоре ушли, и ему стало легче. Как гора с плеч. И только в груди ныло, и щемило сердце.

Каток был припорошен снежком, но его уже счищали,

и лед голубовато поблескивал под косыми солнечными лучами. Петр вышел на лед. Хорошо скользят коньки, и точить не нужно.

— А у меня черт-те что! — пожаловался Виталька Корж.— На поворотах так и заносит.— Сел на скамью, устало вытянул ноги, сонно сощурился.— Эх, жизнь! Трудись, дыши, наслаждайся! — Он скосил глаза на Петра.— А ты чего скис? Ребята тебя не узнают. Говорят: мечтаешь попасть под крылышко Гурского. Получить от него благословение...

— Я с Гурским расквитался еще перед камерой,— сказал Невирко.

— Э, нет! — возразил Виталик.— Главный инженер Гурский тебе все простил. Опять тебя в президиум приглашает, в докладах упоминает. Может, и с Майкой помиришься...

— Может, и помирюсь, а может, и нет,— неожиданно для самого себя признался Петр и продолжал доверительно: — Сам, Вить, не знаю, как быть. Она теперь совершенно другая. Жалеет о своей ошибке.

— А Голубович как?

— А я тут при чем? Я его не просил быть моим руководителем. Конечно, мне его жалко, к тому же он серьезно болен.

— Послушай, дружище,— презрительно скривился Виталик.— Есть такое старомодное словечко: порядочность. Если ты забыл, я тебе о нем напомню.

— Ты меня не учи порядочности,— буркнул Петр.— Я и без тебя знаю, что это такое.

— А я думал — забыл.— Виталик поднялся со скамьи, туже затянул не шее шарф.— У нас, простых работяг, такие номера не проходят. Пошли на стометровку! — И он помчался на коньках по сверкающей ледяной дорожке.

Невирко остался на скамье в одиночестве. В голове роились сумбурные мысли: «Он ушел на свою стометровку. У каждого все решает последняя стометровка. Всюду соревнования сильных. Если бы только можно было не иметь дела с Голубовичем!.. Зачем он так глядит мне в глаза? Почему простил? И виноват ли я в том, что встретился с Майей? Что люблю ее и... надеюсь?.. Виноват ли в том, что она порой так холодна со мной?»

Мимо него проехала снегоочистительная машина, с

грохотом подметая беговую дорожку. Скоро спрячется солнце, вспыхнут огни и заиграет музыка.

Из раздевалки вышел в синем костюме и белой шапочке здоровяк Николай Обрийчук.

— Невирко, на выход! — махнул рукой, подзывая Петра.— К тебе гости.

Петр решил, что с объекта. Может, что случилось? Может, вызывают в ночную? Но, войдя в кабинет администратора, увидел там молодого красивого капитана милиции, который сидел за столом, просматривая какие-то бумаги. Капитан оказался человеком приветливым, с юморком. Поднявшись, он пожал руку Петру, сказал шутливо:

— Извините, что сорвал вас с дистанции... Ничего не поделаешь...

Невирко смотрел на милиционера холодно, насупясь. Спросил, в чем дело, для чего его сюда вызвали. Дело выяснилось довольно быстро. Пригласив Невирко сесть, капитан достал из планшета какой-то листок, пробежал его глазами и проговорил деловым, официальным тоном:

— Вы знаете такую девушку: Полина Райчик, служащая домостроительного комбината, двадцати двух лет, незамужняя?..

— Точно, незамужняя,— резким голосом подтвердил Невирко.— А сколько лет... право, не знаю.

— Возрастом в таких делах не интересуются, это верно.

— В каких делах? — скривил губы Петр.— И вообще, вы с чем пришли?

— Ночная пьянка, оскорбление девушки, попытка к изнасилованию. Пострадавшая — именно эта Полина Райчик. Можете что-нибудь возразить? Заявление поступило лично на вас.

Невирко побледнел. Поля, секретарша из приемной Гурского, та самая симпатичная девушка, которая так задумчиво слушала музыку там, на верхотуре. Все смотрела с площадки сквозь незастекленные рамы на далекие россыпи огней за Днепром. Петру вдруг стало смешно. Сказал, что Полину знает и что действительно он с ней танцевал... Собственно, танцевал Виталий, и все было прилично, хорошо... В письме сплошная выдумка, клевета. Полина не могла такое написать...

— Я и не говорю, что она написала.— Лицо капита-

на прояснилось.— Я говорю: поступило заявление. А кто его написал — разберемся после.— Он раскрыл маленький, в красном переплете блокнотик.— Так вот, Петр Онуфриевич, очень прошу вас припомнить все, что касается того ночного... происшествия. Кто был с вами? Что вас побудило пойти на стройку? Почему были вызваны патрульные милиционеры?

— Значит, допрос! — возмутился Петр.

— Нет, для допроса я вызвал бы вас в отделение милиции,— строго сказал капитан.— Считайте, что я пришел к вам для получения информации. Неофициально. Хочу сам кое в чем убедиться.

Невирко горько усмехнулся:

— Тогда, товарищ капитан, я неофициально вам скажу: никого там не было, никаких фамилий я называть не стану. А Полина Райчик... замечательная девушка...

— Тем хуже...

— А вы покажите мне письмо. Какой негодяй его написал?

Капитан как бы с сожалением пожал плечами:

— Искренне сочувствую и вам, и себе. Дело в том, что оно...

— Анонимное?

— Теперь называют: без подписи. Разослано во все инстанции, откуда уже поступают запросы: как все было на самом деле, требуют разъяснений у дежурных милиционеров, хотят иметь показания «пострадавшей». Кстати, факт вашего пребывания на стройке в неурочное время подтвержден. Акт не был составлен по просьбе вашего бригадира Найды.

Невирко помрачнел.

— Товарищ капитан,— сказал он жестко,— не вмешивайте в эту историю Полину. Виноват я сам... Нарушал... Наказывайте... Только ее не нужно!..

— Спокойно, Невирко! — кладя руку на плечо Петра, проговорил милиционер.— Никого наказывать не будут. Но все нужно выяснить до конца. Хотя бы ради чести девушки.

— Вы мне верите? — Петр медленно поднялся на своих коньках.— Верите, что это наглая ложь?

— Сидите, сидите,— придержал его властным жестом капитан.— Считайте, что я вам верю. Считайте, что ничего

не случилось. И все же, товарищ... мы должны отреагировать. Законно отреагировать.

— Но простите... Что я могу? — спросил Невирко, мучаясь от нестерпимого стыда и обиды.— В чем моя вина?

— Видимо, в том, Петр Онуфриевич,— доброжелательно заговорил капитан,— что однажды осенней ночью вы со своим приятелем и двумя девушками забрались на верхний этаж недостроенного дома, принесли туда выпивку, музыку и, таким образом, превратили строительную площадку в место развлечений. Против этого возражать вы не будете, надеюсь? Значит, отвечать вам придется. Разыщите свою знакомую... эту самую Полину. Извинитесь перед ней, и пусть она напишет несколько слов. Или зайдет к нам для устного свидетельства. Сегодня же.

Разыскать Полину Райчик оказалось делом нелегким. На катке Петр отозвал Коржа в сторонку (тот насилу оторвался от шайбы и хоккейной клюшки), все ему рассказал, немного даже сгустил краски, намекнув, что анонимка, мол, написана на них обоих и теперь они должны немедленно положить конец этой нелепой истории. Заметив, как побледнел Виталик, Петр успокаивающе сжал его локоть и тихо спросил:

— Где она живет? Как ее найти?

— Не знаю. Провалиться мне на этом месте — не знаю.

— А все-таки? — Петра начинала разбирать злость.— Может, хочешь, чтобы за нас принялся следователь?

— Идиот! Я за Полю головой ручаюсь. Но хоть убей меня... Не знаю...— Виталий с опаской огляделся по сторонам.— Езжай на комбинат, отыщи в диспетчерской Ванду, спроси у нее.

— Ясно, товарищ Корж. Тогда продолжайте развлекаться,— холодно произнес Невирко.

Он переодевался, стиснув зубы, чувствуя себя оскорбленным.

Ванду он застал на комбинате. Услышав, что Петру нужен адрес Полины, она удивленно округлила глаза. Была бы рада поехать вместе с ним, любопытство и ревность распирали ее, но смена еще не кончилась. Она ограничилась тем, что назвала улицу и номер дома.

— Желаю удачи! — бросила вслед, тряхнув светлыми кудряшками.

* * *

Полина Райчик — из числа спокойных, уравновешенных девушек, но застенчива не в меру. Стройная, выше среднего роста, с нежной, матово-смуглой кожей, остреньким носиком, маленьким, красивой формы ртом.

Она чувствовала себя неловко, когда на нее обращали внимание, в особенности молодые парни. Ей становилось как-то не по себе, оттого что она... ну, словно бы немножко не такая, как другие девушки: и думает она, и реагирует на все окружающее как бы в замедленном темпе. Никто этого, возможно, и не замечал, но ей казалось, что все кругом удивляются ее вялости, инертности, неприметности. Лучше бы сидеть себе где-нибудь в заднем ряду большого театра жизни, и пусть этой жизнью наслаждаются другие, более активные, боевые, такие, например, как ее подружка Ванда из диспетчерской, белокурая хохотушка Ванда, мимо которой не пройдет спокойно ни один парень, ни один солидный инженер, да и сам Максим Каллистратович иной раз окидывает ее небольшую, но крепко сбитую фигурку заинтересованным, одобрительным взглядом.

Жила она вдвоем с младшим братом. Мать ее часто болела и, когда ей становилось лучше, навещала их, приезжала из села. Сашка, первоклассник, сорвиголова, находился целиком на ее попечении. И домашние дела, которые порой так усложняют жизнь, отнимали у нее все свободное время, все силы и энергию.

Вот и сегодня, придя с работы, она собиралась забежать в парикмахерскую, чтобы завтра, когда в приемной Гурского мимо нее будут идти на оперативку инженеры, плановики, прорабы, диспетчеры, выглядеть привлекательной. Хотела, да не получилось. Измерила маме давление — поднялось выше двухсот двадцати. Вдобавок прибежал из школы Сашок с разбитым коленом, ревет, жалуется на соседского Вовку, и, чтобы больная мама не услышала Сашкиного плача,— живехонько его в ванную, раздела там, выкупала, утихомирила. Пускай быстрей поест и к телевизору: смотреть мультики — самое большое удовольствие для мальчугана.

Только тогда и вспомнила о парикмахерской. Пожалуй, можно было бы и сбегать туда, как вдруг... звякнул в прихожей звонок — робкий и какой-то, показалось, даже виноватый звонок. Открыла дверь и увидела Петра Невирко.

Увидела? Нет, скорее он явился из какого-то сновидения. К ней пришел Петр Невирко, вместе с которым она один-единственный раз провела вечер. Потом постаралась забыть ту встречу, те минуты, когда они стояли у незастекленного окна высотного дома, ту сумасшедшую музыку, а затем приход суровых стражей порядка, которые увидели только веселые лица Виталия и Ванды, но не заметили тоски в глазах Петра и ее, Полины.

— Можно... Полина? — нерешительно спросил Петр.

Она кивнула головой, посторонилась и пропустила его на кухню. От растерянности даже не предложила ему сесть и спросить ни о чем не посмела. Если такой парень приходит к тебе в дом, значит, на это у него есть серьезная причина, он зря времени тратить не станет. Дело у него — это точно. И по всему видно, что дело непростое. Взволнован чем-то и вместе с тем словно бы встревожен, смущен.

— Разрешите сесть? — спросил он у нее.

— Садитесь, садитесь,— поспешно пододвинула к нему табуретку.— Верно, замерзли?.. Да вы раздевайтесь. У нас тепло.

Он разделся в передней, легко опустился на табуретку, оперся локтями о белую доску стола, сгорбился и стал совсем не похож на Петра Невирко, каким она его знала.

— Сколько же это вашему мальцу? — спросил из вежливости.— Не знал, что вы — мама.

— Да это мой младший братик,— она посмотрела на него ясными светло-карими глазами.— Он больше у меня живет, мама ведь болеет. Тут и в школу ходит. Да я вам о нем рассказывала...

— А я подумал...— Петр пригасил улыбку.

— А что же вы могли подумать?

— Такая молодая — и уже мама?

— Бывает и так! — улыбнулась Полина.— Но я вот бездетная. И никто меня не любит.— Полина сама удивлялась своей смелости.

— Вы знаете, что вас все любят.

— Если все, значит — никто, Петя. Вот, например,

вы меня не любите, потому что у вас есть Майя,— опять неожиданно для себя выпалила девушка.

— Шутите такими вещами...— пробормотал Петр, опустив голову и уловив в тоне Полины новые и почему-то взволновавшие его нотки.

Полина села напротив Петра, ее глаза стали похожи на два озерца.

— Вы тоже шутите, Петр Онуфриевич. Водили меня на свою верхотуру, жаловались на свою Майечку и вдруг — пропали! Скажите, зачем пришли? У меня дел по горло.— И тут же застыдилась своего раздраженного тона.— Может, поужинаете?

— Нет, дайте только воды,— сказал он пересохшими губами.

Она дала ему стакан с водой. Пил с жадностью, но небольшими глотками, и она замечала, как он постепенно успокаивается. Взгляд стал, как прежде, живым, открытым и доверчивым. Еще тогда он запал ей в душу. Петр поставил стакан, вздохнул и, глядя прямо в темно-янтарные глаза Полины, через силу улыбнулся:

— Беда у меня.

Эти слова прозвучали как-то неубедительно, да и не хотелось Полине верить, что у такого крепкого, уверенного в себе парня могла случиться какая-то беда.

— Послушаю, если расскажете,— сказала девушка, внимательно вглядываясь в мужественное, волевое лицо Петра.

— Ты хорошо помнишь вечер на верхотуре? Транзистор, холодина, ветрище, голые панельные стены, сумасшедший Виталик со своим магнитофоном и неугомонная Ванда, которая готова была танцевать хоть до утра. А потом пришел... то есть ты позвала Алексея Платоновича, и он выручил нас из беды. Меня выручил, а ты ушла.— Он с товарищеской доверчивостью перешел на «ты».— Припомни: может, я позволил себе что-то нехорошее? Может, как-то вел себя неприлично?

Он как будто не спрашивал, а слегка иронизировал над собой, одновременно за что-то сердился на нее.

— Ну? — склонился он вперед, и лицо его стало отчужденным.

— Весь вечер плакался...— заговорила Поля не без язвительности,— плакался, что Майя Гурская тебя раз-

любила. Помню: был такой несчастный, несчастный! Даже стало жаль тебя.

— Значит, ты меня слушала...

— Слушала. И мне хотелось плакать. Вот, думаю, бессовестный! За девушку меня не считает.

— Поля,— поспешно проговорил Петр,— когда-нибудь ты поймешь, что все это неправда.

— Мне ничего не нужно понимать. Ты слишком долго и скучно говорил.

Невирко тяжело положил на стол руку, будто припечатал какой-то окончательный свой приговор.

— Итак, Виталий и Ванда танцевали. Мы с тобой стояли у окна. Ты страшно замерзла, но танцевать не хотела.

— У окна! И танцевать не хотела!

— Точно?

— Куда уж точней! У меня потом даже горло заболело от сквозняков.— Она заметила на лице Петра настороженно-выжидающее выражение, заметила, что он нисколько не шутит и не насмехается над ней. А чем-то мучается и что его приход к ней может многое значить. Ей вдруг стало не по себе, даже страшно. Она протянула через стол руку и сжала его широкую жесткую ладонь.— Что случилось, говори?

— Случилось? — опустив глаза, переспросил он.— Ничего не случилось... Но один умник... не знаю кто... написал и разослал по всем инстанциям письмо... будто я тебя оскорбил или хотел оскорбить. Понимаешь? Был пьян, потерял над собой контроль и будто...

Ей это показалось смешным, вернуло уверенность и спокойствие, но немного задело. Действительно, есть на свете подлецы... Стоит ли переживать?

— Уверяю вас, Поленька,— строго и серьезно сказал Петр, перейдя снова на «вы», будто хотел отгородиться стеной подчеркнутой вежливости от того, что произошло когда-то на стройке.— Я пришел к вам просить заступничества и помощи. Пришел просить, чтобы вы... Чтобы написали несколько слов. А если не хотите, то чтобы пошли вместе со мной и сказали там, что все это ложь, клевета. Что я вас не обижал и вообще, говоря юридическим стилем, никаких насильственных действий по отношению к вам не применял.

Полина резко вскочила. Она должна ему помочь и

обелить перед людьми, перед той! Ну конечно же перед той! О ней он тогда весь вечер только и говорил! Спасите меня, Поленька! Как мне тяжело, Поленька! Я ее люблю, Поленька!

Даже губу прикусила и враждебно глянула исподлобья на Петра, сказала, что может пойти, а может и не пойти, может засвидетельствовать, а может и не засвидетельствовать.

— Тогда передадут на комбинат,— хмуро проговорил он.

— А! На комбинат! — вздрогнула Полина.— Скажут Гурскому. Ясно.— Она заставила себя улыбнуться понимающе, так, как улыбаются, решившись на великодушный поступок ради товарища.— Не унывайте, Петро. Я пойду... Майечка ничего не узнает.— В голосе ее звенела ревность, боль, досада.— Напишу, что вы идеально себя вели.

— Да при чем тут Майя? Лишь бы ваше имя... Чтоб не говорили... чтоб не болтали...

— Я понимаю. Ваше имя, Петенька, останется незапятнанным. Куда мне идти? — Она смело положила свою худенькую ладошку на его мозолистую руку.— И не терзайте себя больше. Договорились?

* * *

В деканате перед зимней сессией от Невирко потребовали характеристику с работы. Он пошел в управление, но характеристики там ему не выдали и посоветовали зайти к товарищу Гурскому, который, мол, позвонит, ежели что. А может, и сам напишет.

Петру это показалось странным. На следующий день после смены поехал на комбинат. В приемной — Полина. Когда он открыл дверь, ее худенькое, удлиненное личико вспыхнуло.

— Я тогда все сделала, как вы просили,— тихо сказала она ему.— Сейчас у Максима Каллистратовича люди, посидите немножко.

Усевшись возле стола, он смотрел на ее тоненькую шейку, на тяжелый узел волос на затылке, и ему вспомнилось, как он тогда, на верхотуре, отважился погладить ее по голове. Она сидела за столом неприступная, строгая, окруженная стопками деловых бумаг. Что-то отве-

чает людям по селектору, нажимает кнопки, говорит с Гурским, откликается на чей-то телефонный звонок. Петр представил себе все ее сложное «хозяйство» и невольно проникся уважением к этой скромной деловитой девушке. И подумал о том, что иной раз она и ему уделяла внимание, чтобы он спокойно работал, куда-то звонила, что-то кому-то доказывала, спорила, сердилась.

Улучив свободную минутку, Полина открыла дверь и пропустила Невирко в кабинет главинжа.

— Ты? — удивленно поднял брови Гурский.— Проходи, проходи. Садись. Что новенького?

В глазах Максима Каллистратовича — любопытство и в то же время какая-то тревожная напряженность. Машинально переложил бумаги, взял авторучку, словно собираясь что-то записать.

— С каких это пор характеристику для института надо согласовывать с вами? — с легким вызовом спросил Невирко.— Кажется, не один год здесь работаю...

— Ты о чем?

Возможно, он был не в курсе дел Петра.

— Для деканата справку не хотят давать в управлении. Будто я перед кем-то в долгу.— Невирко подавил злую усмешку.— Наверное, из-за анонимки, которую прислали в милицию? Или вы ничего не знаете?

Гурский быстро опустил глаза и обеими руками взялся за краешек стола. На его губах мелькнула непонятная улыбка, он поднял голову, и взгляд его стал пристально-внимательным. Произнес сочувственным голосом, что не только знает, но и посвящен в некоторые подробности.

— Значит, массовое производство! — взорвался Петр.

— Не знаю какое,— сдержанно ответил Гурский, всем своим видом изображая сочувствие. Откинулся назад, скрестил на животе руки: белые манжеты, позолоченные запонки.— Да-а, нехорошая история! Скверная история!.. Ночью, с девицами, с музыкой... Говорят, твой наставник вмешался. Правда?

Не хотелось отвечать: вопрос задан не ради ответа. Петр понял это сразу. Не ради ответа. Его тонко и умело шантажировали. И как быстро сработал механизм! В милицию, к Гурскому!..

— Ничего такого не было, Максим Каллистратович,— глухо выдавил из себя Петр.— Мне нужна характеристика.

Максим Каллистратович задумчиво прикрыл рукой глаза, будто стараясь что-то припомнить. Но тут же широко улыбнулся, встал из-за стола и подошел к Петру. Он совершенно был уверен в том, что это ложь. Но по комбинату пошли слухи. Есть немало мелких людишек. Главное — быть честным, правдивым и чтобы товарищи в коллективе доверяли. Тогда получишь справку хоть для полета на Марс.

— Мне нужна для учебы,— хмуро сказал Петр.

— Для науки — пожалуйста.— Гурский нажал кнопку, вызвал заведующего кадрами и, когда тот с предупредительной поспешностью вошел, обратился к нему полушутливым тоном: — Напишите этому молодцу самую лучшую характеристику.

Завкадрами вышел, и Гурский снова занял место за столом. Смотрел теперь на Петра дружелюбно, с затаенной лукавинкой в глазах, желая показать, что посетитель ему симпатичен и никакие анонимки не повлияют на это его доброе отношение. У Петра отлегло от сердца. Взглянув краешком глаза на Гурского, он заметил, как тот за последнее время похудел и осунулся. Мешки под глазами, лицо обрюзгшее, сероватого цвета. Не зря говорила Майя, что отец не щадит себя ради дела.

Гурский, видимо, был расположен к откровенному разговору. Полюбопытствовал, как у Петра дела в институте. Он, Гурский, хорошо изучил материалы по Лейпцигу, читал и статью в газете. В Москве интересовались, кого бы рекомендовать на Всесоюзное совещание рационализаторов, и Гурский предложил кандидатуру Невирко. Сил и энергии хватит, пора выходить на широкую дорогу.

— Жаль, что с Майей у тебя не получилось,— сожалеюще вздохнул он.— Майя, кажется, разочаровалась в своем выборе. Да что тебе рассказывать? Вы же иногда встречаетесь.

— Нет, мы не встречаемся.

— А были друзьями... Напрасно!..

— Я уважаю Голубовича и не могу так вот...

— Ты ей все же позвони, Петя,— отеческим тоном посоветовал Гурский.— Заварили вместе, а теперь ей одной расхлебывать...

Была какая-то горечь и недоговоренность в его словах. И это уж совсем удивило Петра. Что, собственно,

заварили? И что расхлебывать? Он ее не тревожит, не звонит, пусть себе живут счастливо.

— Строишь из себя наивного мальчика или действительно...— неодобрительно скривил губы Гурский.— Во всяком случае, даже после расставания нужно оставаться порядочным человеком.

— О чем вы, Максим Каллистратович? — насторожился Петр.

— О твоем Бате, милый мой. О его походе к Майе в институт.— И, увидев на лице Петра выражение полнейшего недоумения, Гурский рассказал ему о встрече Найды с дочерью.— Некрасиво вышло. Очень. Кто ему дал право? Упрекал, отговаривал, стыдил. Бедная девочка до сих пор не может прийти в себя.

— Я его не посылал.

— Тем более! — с гневом воскликнул Гурский.— Все это с расчетом. Цинично. Жестоко. Чтобы окончательно рассорить вас. И меня с тобой... А если хорошо разобраться... Гурский сделал многозначительную паузу,— просто какая-то патологическая зависть к тебе.— Он достал из ящика сигареты, протянул Петру.— Не куришь? А я никак не могу бросить эту гадость.— Затянулся, потом продолжал: — Не хочу на Алексея Платоновича наговаривать, учись у него, дело он понимает, много еще хорошего в жизни сделает. Но мой тебе, Петруша, совет: головы не теряй! Всякие бывают наставники. По-разному учат.

Петр нервно заерзал на стуле. В сумбурном потоке слов Гурского явно прослеживалась одна мысль. Он улавливал ее и раньше, когда заходила речь о Найде, а сейчас она больно резанула его по сердцу. Не хотелось верить, но невольно закрадывалось сомнение: неужели правда? И он с недобрым пристрастием начал прислушиваться к тому, о чем рассуждал Гурский.

— Алексей Платонович немало сделал для комбината. Но почему он все берет на себя? Разве не вашими руками, руками рядовых монтажников, творится вся его слава? Разве не ты, Петр Невирко, один из первых по выполнению плана? Так нет, у него свои взгляды. Он, видите ли, об общем благе бригады печется! Всего строительного участка! Ну... не буду тебе пересказывать, что он наболтал, когда мы хотели тебя отметить премией: и рановато, мол, и о других следует подумать, и прочее и прочее. Может, он где-то и прав. Да только личное здесь

впутывать не резон.— Гурский поднял вверх листок бумаги, многозначительно усмехнулся.— Это недостойно.

— Вы об анонимке? — ужаснулся Петр.

— А что? — сделал неопределенный жест рукой главный инженер.— Ведь один Алексей Платонович там и присутствовал, когда акт писали. Он и к Майе побежал, чтобы тебя в ее глазах очернить. И всякое прочее. Точных данных у меня нет. Утверждать не стану.— Гурский поднялся, оперся обеими руками о стол.— А все же советую тебе поосторожнее выбирать друзей.— Вышел из-за стола, подал Петру руку.— На днях устраиваем на комбинате для актива и гостей просмотр кинохроники. Мы, хозяева, должны обо всем иметь свое четкое мнение. Ты критикнул меня перед кинокамерой. Подумай. Хорошенько подумай о том, как объяснить людям свои слова.— И, проводив Петра до самой двери, улыбнулся доброй отеческой улыбкой: — А Майю все же не обижай. Она тебе друг!

Зима выдалась ветреная, снежная. Ставить панели теперь — нелегкое дело: бетон к металлическим пластинам примерзает. В слесарной будке целый день горел электрический камин, к нему по очереди бегали отогревать окоченевшие руки. Но и теперь хлопцы не теряли рабочего настроя.

— Я уже знаю, в какой комнате будет жить самая красивая девушка нашего города,— не умолкал и на морозе Виталий Корж. И продолжал фантазировать, как он явится к этой красавице в гости, как будет с ней пить чай с вишневым вареньем, как предложит ей руку и сердце.

Эту болтовню слушал и Найда, который как раз сверлил отверстия в соединительных пластинах. Хотя говорил все это шутник и балагур Виталий, слова его и буйная фантазия невольно заразили Найду. Он даже выключил сверло и провел пальцем по нагревшейся пластине. А потом словно бы увидел маленькую комнатку, стройную фигурку незнакомой девушки с выражением благодарности на красивом личике и ее приветливую улыбку, которой она отвечала на шутку бесшабашного хлопца. Черт-те что выдумал!.. Впрочем, что же тут удивительного? Разве не имеет права человек шутить и фантазировать? Бесшабашный Корж, который весь день привари-

вает на лютом зимнем ветру панели и, казалось бы, просто-напросто прикладывает металл к металлу, включает ток, соединяет меж собой пластинки — такая грубая, ординарная работа! — в сущности, ежедневно возводит не только стены здания, но строит для людей новые уютные квартиры, и там, где рассыпались искры его электросварки, будет звучать детский смех, кто-то будет радоваться, грустить, мечтать, а может, и вправду явится сюда Виталик Корж и сядет за стол, накрытый белоснежной скатертью, и будет пить чай с вкусным вареньем, шутить с красивой девушкой.

Почему-то Найде никогда не случалось раньше задумываться над этими простыми, будничными и такими понятными вещами. Собственно, в них — сокровенный смысл жизни. И то, что он сейчас почувствовал, заставило его еще с большим уважением взглянуть на своих ребят. «Как жалко, что мы мало думаем о смысле всего этого,— подумал он.— Тогда было бы побольше серьезности и старания. Люди всегда строили. И сотни лет тому назад, и тысячи... Одни строили, обливались потом, другие жили в роскоши. Одни знали, что строят не для себя, другие требовали чужих рук, чужих усилий. И так длилось бесконечно. И только теперь — все для себя. Для той девушки, о которой говорил веселый Виталик. Для детишек, что будут смеяться в этих комнатах. «Почему же тогда иной раз мы работаем с унизительным равнодушием? Откуда берется халтура? От спешки? Или от неумения?»

Он знал, что нынче вечером состоится просмотр телехроники. Там можно будет кое-что сказать. Хотя, пожалуй, там все уже сказал Петр, и здорово сказал, попал своей кувалдой в самое больное место. Генерал Климов узнав об этом, сразу воспрянул духом. Пришел к Найде (жили теперь они с Ольгой на своей половине), сбросил в передней длиннополое старое пальто, обмел веником снег с валенок.

— Вы там побольше на честность нажимайте,— посоветовал он, усаживаясь.— Почему у нас иногда дело не клеится? Потому что не у каждого хватает честности сказать себе: для такой работы я не гожусь. Дайте мне то, что по силам. Если бы, например, в свое время поставили меня командовать фронтом, что бы из этого вышло? Угробил бы дело, людей погубил, стратегические планы перепутал.

— Дело говорите, Афанасий Панкратович,— согласился Найда, который как раз обедал вместе с Ольгой.— Вы думаете, Гурский не старается? Как вол работает.

— То-то и оно, что как вол.

— Кстати, и упрям как вол. Советуешь ему, подсказываешь — так нет, амбиция. Он все знает лучше всех. А умения-то как раз и не хватает. И мужества нет признаться, что не хватает, что не профессионально работает.

В клубе комбината собралось немало народу, были приглашены на просмотр руководители нескольких смежных строительных трестов, работники из проектных организаций. Представитель горкома Фомичев, войдя в просмотровый зал, поздоровался с присутствующими и попросил Гурского в общих чертах изложить суть дела.

— Полагаю, что все будет ясно, когда посмотрим эту телехронику,— сказал, поднявшись с места, Максим Каллистратович, чувствовавший себя уверенно и свободно.— Снято, так сказать с натуры. Смотрите, товарищи. А потом обменяемся мнениями.

Найда занял место с краю, и как-то так вышло, что перед ним, чуть сбоку, оказался Гурский. Погас свет, и Найда сразу узнал на экране своих хлопцев. Сняты были крупным планом в тот момент, когда опускали внутреннюю панель.

Вот Петр Невирко подает сигнал крановщице. Вот идет крупная панель, опускается. Потом еще одна. Короткое объяснение диктора... Снова кран... Мелькнуло Ольгино лицо в кабине... Ее рука на рычаге... Стрела плавно поворачивающегося крана. Ольга... Все ведь от нее сейчас зависит. Найда напрягся, словно почувствовал, как ей там нелегко. Знал, что в тот миг ей было действительно нелегко, она готова была расплакаться, рвануть рычаг на себя, прекратить все это, образумить хлопца. Но об этом он услышал от нее позднее. А сейчас — все идет своим порядком, ровно, неотступно...

И вдруг — удар кувалды, огромной, увесистой, словно падение сорвавшейся в пропасть скалы. И летящие в разные стороны цементные осколки, куски, серая пыль. Упрямое лицо Петра Невирко под низко насунувшейся каской. Еще удар, снова удар...

Найда глянул на Гурского. Тот сидел, слегка сгорбившись, втянув голову в плечи, и, казалось, при каждом ударе вздрагивал. Найду поразила эта слегка вздраги-

вающая спина, и ему стало жалко Гурского. Он окинул краешком глаза большой, пронизанный серебристой мерцающей струей света зал. Где Петр? Как он там. Что он скажет?

Петр сидел в заднем ряду. Решение было принято, и он чувствовал себя уверенно. Нет, не совсем уверенно, пожалуй. Как бывает перед сложным экзаменом, на который идешь, все зная, абсолютно все зная и только чуть-чуть сомневаясь: а вдруг! Сейчас уже все улеглось, перегорело. А вчера не находил себе места. После разговора с Гурским не мог поднять глаз на своего бригадира. Хотя и не поверил ни одному слову главного инженера, грудь сжимало от боли, от нестерпимой обиды. Работал потом молча, ни с кем не разговаривая, даже Витальке нагрубил, бросив ему в лицо: «Не твое дело!» А все потому, что вдруг почувствовал свою вину перед Алексеем Платоновичем, перед всей бригадой. О встрече с Гурским в его просторном кабинете думал со стыдом: зачем выслушивал все эти гадости? Как мог усомниться в своем Бате? Ведь слушал, слушал... И не пытался возражать. А когда поздно вечером позвонила ему в общежитие Майя и каким-то далеким, плачущим голосом попросила его встретиться с ней («Не из-за фильма! Нет! Нет!»), он и ей сказал уклончиво, что, может быть, и встретится с ней, но только не сейчас. Мучился ночью от бессонницы, дурные мысли лезли в голову, снова и снова слышал Майин голос и будто видел, как она произносит своими пухлыми маленькими губками: «Не из-за фильма... не из-за фильма...» Хотя был уверен, что очень переживает за своего отца. Любит его и переживает.

Глядя на экран, он спокойно представлял себе, как после просмотра, поднявшись со своего места, он объяснит людям все, что произошло на площадке перед кинокамерой. Он будет обращаться к залу, к собравшимся, но, в сущности, это будут слова для Алексея Платоновича, только для него одного. И пусть не думает Гурский, что Петра Невирко можно околпачить и подкупить. Чушь, нелепость! Сейчас вот кончится хроника, и он скажет... сейчас он все скажет, как решил...

В зале вспыхнул свет, и наступила тишина. Огромный экран белел перед глазами, он как будто все еще продолжал светиться. Кто-то кашлянул. Послышался тихий говор.

Фомичев, в своем строгом темно-синем костюме, поднялся в первом ряду с места, оглядел зал:

— Нам известно, что это не единичный факт. Поэтому хотелось бы обсудить это. Какие будут мнения?

Никто не решался высказаться первым. Факт есть факт. Ничего особенного и ничего трагического. Но коекого лента эта задела за живое. Хмуро переговаривались между собой солидные начальники трестов, руководители предприятий, инженеры, плановики. Зачем их вызвали? Чтобы показать, как не следует работать? Или пристыдить главного инженера Гурского? А может, это призыв ко всем рабочим — действовать именно таким способом? Проявлять своеволие? Нарушать технологические нормы? И что, собственно, скажет по этому поводу сам Максим Каллистратович?

Фомичев оглядел зал. Он упрямо искал кого-то глазами. Да, он хотел увидеть Петра Невирко. Его прозвучавшие с экрана слова требовали объяснения. Там, на площадке, он был зол, полон непримиримости, гнева. А сейчас пусть он изложит свои мысли по-деловому: что правда, что выдумка?

— Хотелось бы услышать Невирко,— проговорил Фомичев.— Он здесь?

— Здесь! — крикнул кто-то из задних рядов.

Петр на мгновение замер. Невольно сжал деревянные подлокотники кресла. Был готов к выступлению и вдруг... растерялся. Столько людей обернулось к нему, все смотрели на него пристально, с нескрываемым интересом. Он встал и уже хотел выйти к трибуне, как вдруг услышал голос Максима Каллистратовича.

Гурский уже был перед экраном. Когда он успел выйти? Стоял возле Фомичева. Властный, решительный, готовый к бою.

— Разрешите мне сказать первому? — Он спокойно, с достоинством оглядел присутствующих, улыбнулся Фомичеву.— Хотя подсудимому, так сказать, слово в последнюю очередь.

Фомичев был смущен его тоном, его улыбкой. Развел руками:

— Говорите, Максим Каллистратович.

И Гурский заговорил.

Не торопясь, с легким оттенком горечи. Заговорил о себе и о комбинате, которому отдал лучшие годы жизни.

Какой у комбината был долг, сколько квадратных метров жилья недодано государству и сколько сдается сейчас — жилых зданий, школ, детских садов. Какой замечательный у них коллектив и сколько прекрасных людей работает на комбинате. Найда, к примеру. Человек сложной судьбы, но в работе — мастер! И ребята у него подобрались превосходные, отличные ребята. Однако, к великому сожалению... Тут Гурский сделал беспомощный жест, словно апеллируя ко всем присутствующим... К великому сожалению, брака еще много. Показанное на экране — истинная правда. Никакого вранья нет, никакой натяжки. Звеньевой Петр Невирко сказал сущую правду. Больше, чем он сказал на экране, едва ли скажешь. Горько слышать такое, но и отрадно. Если говорит рабочий человек, ему можно верить. И бросил через весь зал:

— Спасибо тебе, Петр Онуфриевич! Твое требование — по большому счету. Но уж позволь и мне потребовать от тебя. Покажем, на какие подвиги способен наш комбинат!

Выступлением Гурского разговор фактически был завершен. Никто больше слова не взял, и Фомичев объявил собрание закрытым.

* * *

Домой после просмотра фильма Алексей Платонович возвращался пешком. Приятно было смотреть на первые огоньки в окнах домов, на торопящихся с работы женщин, на киоски с пестрыми журналами, на ларьки с овощами и витрины магазинов. К вечеру город словно бы просыпался, начинал жить какой-то особой жизнью. Мимо тек бесконечный поток людей. И Найда подумал, что и он здесь не случайный прохожий, и он является частицей этого неудержимого людского потока.

Придя домой, он рассказал Ольге о том, что Петру не дали слова; Гурский, конечно, перехитрил всех: умен старик, такого голыми руками не возьмешь. Да не это важно. Главное — Петю поддержать. Чтоб не попал в какую-нибудь историю. Чтобы не затуманили ему голову.

Ужинали с Ольгой вдвоем. Дети, поев, уже устроились перед телевизором, сидели на стульчиках ровненько, серьезно, как в школе на уроке. Сказку для детей показывали, и, хотя Маринка в таком возрасте, когда сказками для

малышей уже не интересуются, она всегда вместе с Наталкой смотрела эту передачу. Личико у нее сосредоточенное, слушает внимательно, ловя каждое слово. И все она делает столь же старательно, за что бы ни взялась: помогает ли матери гладить белье, вытирает ли пыль с мебели, готовит ли уроки.

Ольгу радовало, что и дети быстро привыкли к Найде, и он к ним. Только почему-то смущается, будто неловко ему перед девочками. Маринка, как только увидит, что Алексей Платонович с работы пришел, сразу ведет его к письменному столу и показывает дневник. Она хорошо учится, одни пятерки приносит домой. Вот если бы только здоровье у нее было покрепче, а то ангины замучили. Найда водил ее к врачу, записался на консультацию к известному отоларингологу, и тот сказал, что девочке необходимо море, подлечить ее нужно, иначе это и на сердце может отразиться.

— Сегодня опять температура,— говорила Ольга.— На сквозняках в школе простуживается...— Она обняла его за плечи.— А о Петре не кручинься. Мне кажется, он найдет в себе силы справиться со своими переживаниями. И Гурскому не поддастся.

Она решила завтра на работе откровенно поговорить с Петром. Жаль было его. Да и Майю, говоря откровенно, тоже было жаль. Сердцем она чувствовала что-то хорошее в этой молодой женщине, понимала ее метания. И в семейных делах запуталась, и парня оставить не в силах. Молодость, что поделаешь!

Поздно вечером позвонил Одинец. Расспрашивал у Найды, как и что. Будь он на просмотре, непременно сказал бы свое слово.

— Свое слово сказал наш главинж,— бросил Алексей Платонович.— Вполне самокритично. Мне понравилось.

— Не верю в его честность, это все показуха,— пророкотал голос в трубке.

— Кто его знает... Может, и передумал немало из-за этой истории.

— А Петр как?

— Гурский его опередил. Все выложил за него. Во всем покаялся. Все взял на себя. И Пете уже нечего было говорить.

— Отмолчался, значит?

— Говорю же тебе: Гурский его перехитрил.

— Хорошо, я завтра с ним потолкую. Я ему устрою другой просмотр.

— Не надо. Лишнее. Парень, кажется, и без того переживает...

— Пусть попереживает. И нечего с ним церемониться.

Одинец был человек горячий. Его не отговоришь. На следующий день пришел на стройку хмурый, насупленный. В бытовке собирались хлопцы. Еще ничего не знали. Их ждал трудный день. Работать предстояло на двенадцатом этаже, под ледяным пронизывающим ветром. Хорошо одевались, обматывали шеи шарфами, завязывали под подбородками тесемки ушанок.

Едва появился Невирко, Одинец сразу подступил к нему:

— Тебя-то мы и ждем. Ну, выкладывай, что там вчера было.

Монтажники притихли. Редко случалось, чтоб старик был так строг с Петром. Виталик даже попытался как-то разрядить обстановку:

— Артель дружбой крепка, а вы цапаетесь.

— Не ты сеял, не тебе и косить! — оборвал его парторг.— И снова к Петру: — Расскажи рабочим, как ты отсиделся в углу.

Невирко был как в воду опущенный. Не смел глаз поднять на старого мастера. Молча присел на край скамьи, закурил и просмотрел журнал передачи смены. Казалось, он думает только о работе и предстоящей смене. Но Одинец не оставлял его в покое:

— А мы-то ждали от тебя смелого выступления, парень. Мы-то тебя послали туда как своего... Ну, что ж ты молчишь? Расскажи ребятам, как Гурский тебя перехитрил.— Жилистый, сухощавый Одинец уже был в рабочей фуфайке и шапке. Присел на скамью, чтобы обуть валенки. Кряхтя, бубнил с досадой: — Что ж оно выходит, Петя? Хорошее дело начал, в фильме тебя сняли, по-государственному критику навел на Гурского. А когда дошло до дела, так и в кусты. Дескать, мое дело сторона.

Невирко продолжал молчать. Хмуро, сосредоточенно водил пальцем по строкам в журнале. Как будто не с ним вели разговор. И, лишь услышав слова «так и в кусты», тяжело поднял голову, и во взгляде его отразилась такая тоска, что Одинец замолчал.

— Зачем вы так, Григорий Филиппович, если сами не слышали? — слабо возразил он старику.

— А чего там слушать? Все и так ясно,— упрямо гнул свое Одинец.— Ежели я не прав, объясни. Без нас все равно не обойдешься. Думаешь, тот губастый приласкает? — Это он имел в виду Гурского.— На прием побежал к нему, в ножки поклонился? — Старик понизил голос: — Всё мы знаем, Петя! И то знаем, что дрянь какая-то на тебя брехню написала, и как ты за характеристикой бегал к Гурскому. Прячешься от своих, скрытничаешь. А ведь мы тебе, Петя, первая родня. Ну, бывает, со всяким случается. Конь о четырех ногах, и тот спотыкается... Знаю, тебе нелегко. И про твои переживания знаю...

Петра будто по лицу ударили.

— Не имеете вы права залезать мне в душу! — взорвался он.

— Ну... извини, Петя,— смутился Одинец.— Я только к тому, что, может, тебе трудно. У нас, думаешь, сердце не болит? Да мы все гуртом... за тебя, мы — сила! — Он сжал кулак, крепкий, жилистый, размером с детскую головку.— Делай как знаешь, только бригаду свою не забывай.

Это, пожалуй, больше всего задело Петра. Разве он забывал бригаду? Разве о себе думал? Эх вы, друзья-товарищи мои!.. Такие добрые и такие глупые... Сейчас ли им сказать или после?.. Тут дело такое, они должны знать. Обо всем должны знать...

— Сегодня что устанавливать будем? — вдруг спросил Невирко, словно и не было никакого разговора с Одинцом.— Стенные?

— Какие подвезли, такие и поставим,— ответил один из монтажников.

— Не то говоришь, Гришуха,— загадочно улыбнулся звеньевой.— Подвезли, не подвезли! Плохо, коли не подвезли... А мы что — должны ждать? Порядок должен быть!

Монтажники удивились. Вместо того чтобы защищаться и оправдываться, Петр еще пытается наступать на ребят. Выходит, будто и не виноват. Видно, что-то свое у него на уме.

— Вы меня критикуете, хлопцы,— уверенно заговорил Невирко,— а я вам на всю эту критику одно скажу: слабаки мы. Да, да! И я слабак. Наслушался вчера речей

и решил, что поумнел. Задача стоит перед нами ясная, а мы всё тянемся помаленьку. Подвезут, подождем!.. Что подвезут? Чего ждать-то будем? — В его голосе появились металлические нотки.— Выбивать надо, требовать!.. Тут мне посоветовали не забывать свою бригаду, а я и не собираюсь забывать!

Одинец удивленно смотрел на Петра. Разошелся парень! Говори, говори , пока мы еще тут сидим, а не на морозе, не на верхотуре. А мы послушаем.

— В общем, так,— заявил улыбаясь Петр Невирко.— Мы должны сделать рывок. Всех обогнать. Если мы — сила, пускай нас слушаются, кому положено.

— Ты давай точнее,— ничего не понимая, попросил его со своей скамьи парторг.

— Будем выбивать все, что нам положено. Каждую панельку! — Петр даже кулаком кому-то погрозил.— Я за все буду отвечать!

На столе прораба зазвонил телефон. Парторг схватил трубку:

— Кого, кого?.. А, Невирко... Он тут,— и протянул трубку Петру.

Все, уже одетые, стали выходить во двор. Одинец вышел последним, с порога бросив звеньевому:

— Не больно долго, а то хлопцы ожидают на морозе.

Петр приложил трубку к уху. Голос Майи был тихий, виноватый, робкий.

— Петрусь... я все знаю... Хочу только сказать тебе... Спасибо, Петенька!..

— За что, Майя? — не понял он.

— За то, что папу защищал...— И замолчала, притихла настороженно.

Ему стало и приятно, и больно, и немножко жаль себя. Объяснять ей не стоит. А может, это игра? Или она действительно так думает?..

В трубке щелкнуло, загудело. Петр положил трубку на рычаг, надел ушанку и, скептически глянув на телефон, вышел из помещения.

* * *

Жаль, не было его, Найды, при этом разговоре. После просмотра телехроники и выступления Гурского он всю ночь мучился, трижды сосал валидол, чтобы успокоиться

и привести в норму ноющее сердце. Припомнился разговор с Майей в институте. Не навредил ли он Петру? А если парень по-настоящему ее любит?.. Пожалуй, не стоило вмешиваться...

Несколько дней Найда старался не встречаться со своим звеньевым. Петр работал молча и сосредоточенно. Он почти физически ощущал какую-то холодную стену между ними. Через день явился Гурский, сдержанный, неразговорчивый, величественно-властный. Записал в блокнот жалобы, обещал учесть предложения. Брака стало меньше, и рейсокомплекты начали прибывать по четкому графику. С каждым днем Найда все больше чувствовал отчуждение Петра. И ему невыразимо стало жаль и себя, и Петра, и тающую на глазах дружбу. Ведь ему хотелось сделать как можно лучше, пошел в институт с чистым сердцем, с желанием помочь, а что получилось?.. Видно, Петр на него крепко зол и не простит ему разговора с Майей. Как прежде гордился Найда спаянностью своей бригады, и вот — образовалась трещина, все стали словно чужие.

И более всех отдалился Петр Невирко. Был и в то же время не был. Работал и как-то вроде бы в стороне стоял.

Нет, в работе он был по-прежнему неистовым. Не щадил себя. Казалось даже, работой хотел заглушить в душе что-то тяжелое, какую-то свою обиду. Ни одной минуты не терял даром. И подручным не давал передышки. Когда нужно, сам хватал ведро с пастой и разливал ее под плитами. И торопился, торопился. Все ему было некогда, не хватало времени, жалел, что мало сделал.

Теперь в мыслях у Петра было только одно: выполнить данное ребятам слово. Много наобещал. Обещать — дело легкое. Попробуй выполнить, попробуй добиться. Конечно, есть один выход: обратиться за помощью к главному инженеру Гурскому! Позвонив ему по телефону, он сказал, что у него очень важное дело. Готов был немедля лететь к нему в управление. И вдруг услышал твердый голос: «Прошу ко мне домой! Сегодня же!»

Встретила его Майя. Просто, непринужденно.

— Я к твоему отцу,— будто извиняясь, с порога объяснил Петр.

— Спасибо, хоть так,— сказала Майя. Расстегнула пуговицы на его синтетической куртке, стянула ее с плеч, повесила на вешалку и повела в комнату.

— А где отец? — удивленно огляделся вокруг Петр.

— Временно его заменяю я.

— Ну что ж, подождем,— с хмурым видом произнес Петр и сел на стул возле стола.

Она села напротив на широкую тахту. Смотрела грустно и выжидательно. Вдруг взяла его за руку и перетянула к себе. Зачем строить из себя обиженного мальчишку? Если даже все кончено, они могут остаться друзьями.

— Можно, я закурю? — спросил он.

— Тебе здесь все можно,— ответила Майя.— Отец скоро придет,— и обняла Петра за плечи.— Прошу тебя: не отталкивай меня! Знаю: вечной любви нет. Со временем все угасает. На этот раз первым угас ты. Нашел причину: Голубович, законность... Послал ко мне своего наставника. Но я уверена: мы с тобой неразлучны. Мы все равно будем с тобой вместе. Пусть изредка, раз в месяц, в год... У нас будет свое маленькое счастье. Без упреков, без выяснений. Встреча на улице, в театре, возле моего дома — и так всю жизнь.

Вскоре явился Гурский. Поцеловал дочь, тепло поздоровался с Петром, пригласил в свой кабинет.

— Прости, Майя, у нас служебные дела.

Майя принесла чаю и вышла. Петр чувствовал себя свободно. Гурский вспомнил просмотр телефильма.

— Спасибо тебе, что не выступил тогда, не стал подливать масла в огонь. В горкоме это восприняли как проявление скромности. Я обещаю тебе полную поддержку. Всей твоей бригаде.— Вдруг улыбнулся: — Кажется, я тебе говорил: поедешь в Москву на совещание молодых строителей.

Невирко с досадой отмахнулся. Теперь ему только и ехать. И так забот хоть отбавляй.

— Не расстраивайся, Петр Онуфриевич. Все у тебя в норме. Действуешь ты правильно, история с кинохроникой пошла тебе на пользу, при первой возможности буду рекомендовать тебя на бригадира. Пора выходить на самостоятельную работу.

— Есть дела поважнее,— упрямо сдвинул брови Невирко.— Затем к вам и пришел.

— Рад послушать.

Невирко задумался. Хотелось говорить с полной откровенностью, открыться до глубины души: о том, что ребятам помочь хочет, Алексея Платоновича поддержать.

Чтобы не думали, будто Невирко о себе печется, о своей славе. Зачем ему эта слава! Батя на него бочку катит, обиделся старик, вот бы и сделать ему подарочек. Всем сообща навалиться. Да так, чтобы воз потом сам с горы пошел. Но тут же сообразил, что говорить об этом не стоит. Давно не в ладах Алексей Платонович и Максим Каллистратович. Их не примирить. Лучше уж об этом умолчать.

— Я слушаю тебя,— напомнил ему Гурский.

— Я, собственно, по поводу вашего заявления на просмотре.

— А-а!..— разочарованно протянул Гурский.— Ну, и что же тебе в нем понравилось?

— Вы сказали, что мы покажем, на какие подвиги способен наш комбинат... Вероятно, вы имели в виду что-то реальное?

— Я имел в виду тебя, мой мальчик.— Гурский поднес к губам стакан с горячим чаем, немного отпил.— Я хочу тебе помочь. Вот и будем говорить о тебе. Выкладывай все начистоту.

И сказано это было так доброжелательно, так искренне, что Петр почувствовал себя совершенно уверенно. Конечно, о себе, то есть о своей бригаде, он и хотел говорить в первую очередь.

— Значит, так,— начал он и вынул из внутреннего кармана большой красный блокнот и шариковую ручку.— Мы сделаем все, что от нас зависит... Пусть только нам гарантируют материалы... Вы их нам гарантируете?

— Мы? — удивился Гурский и даже стакан отодвинул от себя.

— Вы — комбинат, управление.

В комнату как раз вошла Майя, скромно, но не скрывая любопытства, присела на краешек стула в углу.

— О чем вы, папа?

— Петя задумал большое дело, нужно помочь.

— Помоги,— слегка улыбнулась Майя.

Гурский откинулся на спинку кресла. Что ж, если дочь просит, отказа быть не может. Но все же Петру Онуфриевичу следует знать, что все зависит прежде всего от него самого. Только от него. И уж если думать об этом всерьез, то и разговор предстоит длинный.

Бросив взгляд на свою дочь, Гурский многозначительно подмигнул Петру:

— Видишь, кто болеет за тебя? Ради вас я и стараюсь.

Беседа затянулась до позднего вечера. Петр вышел от Гурских с чувством уверенности. Хорошо, что все обсудили. Помощь гарантирована. Материалы будут. Доброкачественные панели. Договоренность со смежниками. Трудности с транспортом — но и тут есть выход: всегда можно решить дело полюбовно. Свои ребята, сделают лишнюю ходку, если понадобится.

А сейчас к Бате. Все ему рассказать слово в слово. Пускай обрадуется.

Петр сел в автобус и поехал на окраину, где под горкой белел кирпичный дом Найды. Снег здесь был слежавшийся, твердый, между сугробами на тротуаре протоптана узенькая дорожка. В окнах желтел свет. Петр прошел через сад, поднялся на крыльцо, позвонил.

Скрипнула дверь, и на пороге показался... Одинец, в ушанке и черном кожушке. Его провожала Ольга.

— Вот ты-то мне и нужен,— грубовато, даже со злостью сказал парторг.— Пойдем поговорим.— И стал прощаться с хозяйкой.

Ольга попыталась задержать Петра, приветливо улыбнулась ему, рада была такому гостю, но Одинец настойчиво повел Петра за собой. Дело есть. Гостевать будем потом. Как раз подходящий случай для разговора.

Мороз крепчал. Снег громко поскрипывал под ногами. С неба сыпала мелкая пороша. Они шли пустынной улицей, мимо крепких высоких заборов. Одинец, подняв воротник, долго молчал, что-то обдумывая. Петру хотелось оставить его и уйти, но было неловко, да и любопытство разбирало: что там такое случилось, зачем тот притащился сюда в такой поздний час.

Лишь внизу, когда спустились на широкое шоссе и вышли к автобусной остановке, Одинец остановился под пластиковым навесом и бросил на Петра укоризненный взгляд:

— «Скорая» была. Недавно только уехала.

Сказал это с горечью, и Петр понял, что это камешек в его огород, что это ложится виной на него.

— А сейчас как? — взволнованно спросил Петр.

— Вроде бы лучше. Хотели в больницу положить, но Ольга не согласилась. И я ее поддержал.

Петр молча слушал, не решаясь спросить о подробностях, и все более чувствовал себя виноватым.

В последние дни Найде крепко нездоровилось, однако он продолжал работать и работал до тех пор, пока совсем не свалился. Сегодня вечером позвонил Одинцу и сказал, что есть важное дело, просил приехать. Через полчаса Одинец уже был у него. Стали на кухне пить чай. Найда заговорил о том, что у него что-то не клеится в бригаде, что он виноват перед Петром Невирко. Сделал глупость, теперь раскаивается. Жалел, что вмешался куда не следовало. Очень переживает, места себе не находит. Вот и сердце дало себя знать.

— Платоныч о тебе печалится. Боится, глупостей натворишь из-за Майи Гурской.— Он плотней запахнул свой черный кожушок и глубже засунул руки в карманы. Он не сердился. Теперь он с грустью думал об этих трудных делах. Вдруг поднял глаза на Петра: — Ты с ним помягче, Петя... У него сердце совсем больное. Если бы «скорая» вовремя не приехала...— Одинец тяжело вздохнул.— Вот так живет человек, и вдруг — точка. Все.— Он что-то вспомнил, полез во внутренний карман кожушка и вытащил оттуда бумажный сверток, сунул его в руки Петру.— Это тебе. Спрячь.

Петр взял сверток, перевязанный шнурком, непонимающе поглядел на Одинца.

— Спрячь, говорю,— властно приказал тот.— Алексей Платонович тебе передал. Бери, бери! Может, польза будет...

— Польза? Какая?

— Там увидим...— бросил парторг.

— Спасибо,— холодно произнес Невирко и сунул пакет во внутренний карман куртки. Поглядим, что еще придумал Батя.

Он сухо попрощался с Одинцом и широким шагом двинулся вверх по проспекту.

* * *

Вероятно, был уже довольно поздний час, и Петру не терпелось поскорей добраться до общежития, подняться на свой четвертый этаж, где вдоль всего коридора зеле-

нела ковровая дорожка, словно нарисованная яркой краской, на стенах висели симпатичные акварельки, а в центральном холле стоял большой, массивный телевизор и перед ним аккуратные ряды стульев. Он мечтал поскорее войти в свою комнату, запереть дверь, а может, и не запирать — все равно Виталька после своего гулянья разбудит его.

Скорее бы, скорее! Ноги гудят от усталости, слипаются веки, и ужасно хочется спать. Позади такой насыщенный событиями день. Так нужно обо всем подумать: встреча с Гурским... Майя и, наконец, Батя, та «скорая».

Мороз к ночи усилился, улицы почти безлюдны, общежитие уже близко, вон за тем переулком, там, где стоят в ряд продрогшие на ветру осокори, где обледенелые скользкие тротуары. Сейчас вставит ключ в замочную скважину — и дома!

Петр прибавил шагу, взглянул на знакомое здание, на его освещенные окна и тут услышал громкую плясовую музыку, доносившуюся из нижнего этажа. Вспомнил, что Агата выходит замуж за курсанта из училища связи. Приглашали накануне и его, сама невеста приходила со своим курсантом. Гудел весь огромный дом, и казалось, что за каждым освещенным окном бушует веселье. Видно, все общежитие за свадебным столом. Поздно уже, ну так что? Доброму гостю на свадьбе всегда рады.

Молодые как раз вышли из комнаты: сержант в черном штатском костюме и Агата в чем-то белом и сверкающем. Не дав Петру опомниться, повели его к накрытому столу, усадили на почетное место.

— Штрафную Петру! — крикнул кто-то.

— И закусить дайте голодному!

Он с удовольствием выпил рюмку водки, не заметил, как съел уже остывшую котлету и соленый огурец. Потом огляделся вокруг. Как хорошо быть среди своих, которые тебя уважают. Одинец, Найда... Ему, Петру Невирко, все время что-то диктуют... А может, мы уже переросли ваши диктанты!.. И не трогайте нас! Мы — сила! Рабочий класс!

Петра повело от одной рюмки, голова у него закружилась. Видимо, устал за целый день от беготни, удач и срывов...

— Наливайте. Выпьем за нашего гостя, Петра Невирко! Все — до дна! Слышите? — кричал жених.

Все по очереди чокались с Петром. Кто-то уже пытался остановить его: мол, хватит, Петя. Остановись! Брось!

Вдруг в поле его зрения попала какая-то девушка. Ему показалось, что он ее знает. Да это же Полина! Да, да, Поля!

Она давно следила за Петром, заметила, что он не в себе. Тихо подошла и остановилась напротив него. Господи, да что же творится с ним? Что о нем подумают? Скорее бы домой его увести...

Петр, видимо, что-то почувствовал, резко обернулся к Полине.

— Ты чего тут торчишь с моей курткой? — спросил он недовольно.

Молодожены спохватились:

— Ты что? Куда собралась?

Полина с курткой Петра подошла к ним, сказала тихо:

— Хватит ему. Разве не видите, что ему плохо? Ему надо домой...

Но Петр уже не владел собой. Хмель сделал его неуступчивым и задиристым. Все его опекают... Вечно он кому-то подчиняется... Разве он в чем-нибудь виноват?..

— Не виноват ты, Петя,— стала успокаивать Невирко Полина, прижимая к груди его синюю куртку.— Ведь завтра тебе на работу. Голова будет болеть...

— Она у меня от другого болит.

— Так еще больше будет болеть.

— Больше — некуда.

Какой-то гость бросил ехидно:

— Столько наставников развелось, что скоро и на свадьбе не дадут покоя нашему брату. Учат и учат!

— Вот именно, учат! — Петр что-то вспомнил, и лицо его исказила злая гримаса. Неожиданно он вырвал куртку из рук Полины, поднял ее вверх, заявив, что во внутреннем кармане ее лежит какая-то штуковина от Бати: — Вот от Бати пакет, полюбуйтесь! Час назад получил. Интересно, что там... А ну-ка посмотрим...

Полина увидела бумажный сверток и с тревогой подумала: «Зачем он так... при всех?» Она догадывалась, что Найда наверняка передал Петру что-то важное, значительное, предназначенное только одному ему.

Она решительно выхватила из рук Петра сверток.

— Отдай... говорю! — сверкнул потемневшими глазами Невирко.

— Верну завтра. А сегодня... нет...

— Ну и забирай! — вдруг заявил Петр.— Не жалко...

Полина поняла: не хватит у нее сил увести отсюда Петра. Слишком много тут у него дружков. Завтра сам обо всем пожалеет. Она отыскала среди сваленной в кучу одежды свое пальтецо, быстро оделась и, держа в руке пакет, вышла на улицу.

* * *

Все понимали, что Невирко тяжело давался разрыв с Майей. Ко всем перипетиям его романа, казалось бы, привыкли. Мало ли он взрывался, когда, бывало, ссорился с ней? Покипит и теперь, думали все, покипит и угомонится. Переболеет душой, пока рана зарубцуется.

А Виталик Корж ко всему случившемуся отнесся по-своему.

— Я думал, что она порядочный человек,— сказал он однажды, когда они с Петром возвращались после смены домой.— А выходит, то с одним, то с другим... Это слишком!

Петр отмалчивался. Что-то в нем кипело и бродило, не находя выхода. Стал суровым, замкнутым и неразговорчивым. Почему-то все чаще думал о Полине. Что же тогда произошло на свадьбе Агаты? То ли он оскорбил кого-то, то ли его обидели. И все-таки чувствовал себя виноватым... перед ней. Готов был бежать в приемную Гурского, просить у нее прощения. Однажды встретил ее возле автобуса, но она куда-то торопилась и, кажется, была не одна — ее подсаживал худощавый представительный моряк с офицерскими погонами. И вторично видел ее с тем же офицером: гуляли возле ее дома, держась за руки, о чем-то оживленно разговаривая.

Через несколько дней получил от Майи письмо: розовый конвертик с пряным ароматом духов и нарисованным голубем мира. Не стал читать и, с досадой разорвав письмо в клочки, выбросил его в мусорную корзину. Когда Корж полюбопытствовал, что там у них, может, опять все склеилось, Петр отрицательно покачал головой и попросил больше не задавать ему подобных вопросов. Сказал, что сердечные проблемы придется решать позднее. Не за горами госэкзамены, защита дипломного проекта. И еще есть всякие важные дела.

— Не секрет, какие именно? — поинтересовался Виталий.

— «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Помнишь эти строки? Это он про нас с тобой. Через века послал нам свой наказ... Так что надо работать.

Петр и в самом деле никому не давал спуску, никого не щадил: его звено работало с опережением всех графиков. Ровно в восемь утра Невирко уже в стеганке, в каске, подает сигнал крановщику, чтобы поднимал панель. Когда ребята, подносившие раствор, задерживались, он сам хватался за ведро.

— Живей, живей!

Ставили панель, закрепляли форкопфами, и уже снова лязгал над ними кран. С неба пугающе зависала плита, ложилась на бетонную пасту. Петр подправлял ее по меткам, глядел в нивелир, еще раз подправлял, передвигал — готово! Даже мороз им нипочем при такой запарке, при этих бесконечных «майна-вира».

Найда и радовался за него, и вместе с тем тревожился.

— Не нравится мне его горячка,— говорил Одинец.— Все чаще халтуру гонит. Вон геодезист жалуется, что подправлять после него приходится.

— Зато какие темпы, Григорий Филиппович!

— На злости темпов не наберешь. Прежде он работу любил, а теперь гонит и гонит как бешеный. Подступиться к нему боязно...

Однако в управлении комбината смотрели на это иначе. Гурский все чаще упоминал в своих докладах имя Петра. Лучший звеньевой, учитесь у него, перенимайте его опыт. Однажды сам прибыл на стройку с группой инженеров и каких-то корреспондентов, поднялись наверх. Мела февральская метель, стрела крана была еле видна сквозь колеблющуюся снежную завесу. Солидные люди внимательно наблюдали за работой Невирко и его монтажников.

Был здесь и Найда.

— Хорошую смену воспитал, Алексей Платонович! — крикнул ему сквозь дребезжание кранового мотора Гурский.— Нужно делиться своим опытом с другими. Слышишь, Петр Онуфриевич? — обратился он к Невирко, который работал, словно не замечая начальства.— Завтра выступишь на комбинатском активе. Готовься!

И Невирко выступил. А почему бы и не выступить? Во Дворце культуры, где собрались лучшие производственники, где президиум и трибуна с микрофоном, а на столе, застланном красной скатертью,— макеты панельных зданий различных конструкций. Комсорг Обрийчук, предоставляя слово Невирко, сказал: «Растут новые люди на комбинате. Настоящие рыцари технического прогресса. Даю слово Петру Невирко, пускай поделится своими секретами».

Особенных секретов у него, может, и не было, но выступил с огоньком. Черноволосый, стройный, в отлично сшитом костюме, смотрел в зал смело и решительно. Было в его тоне что-то вызывающее и самоуверенное.

Говорил о том, какие резервы еще не освоены, как маломощны краны, как нередко подводят водители.

— Разве это дело, если мы часами ждем транспорта, устраиваем перекуры на два часа? Пора с этим кончать! Наша бригада Найды,— заявил звеньевой,— принимает на себя обязательство работать так, чтобы за сутки возводить один этаж. Только подвозите вовремя панели, создавайте нам условия!

Найду покоробило от такого заявления, походившего на дерзость. Не посоветовавшись с ним, выскочить с таким обязательством. От имени всей бригады! Попробуй теперь отказаться. Найде пришлось только присоединиться к Петру. Бригада готова, только бы поддержали их всем комбинатом.

— Поддержим! — перебив Алексея Платоновича, бросил из президиума Гурский.— Вы слышали? — обратился он ко всем.— За сутки — этаж! Новая замечательная инициатива!

Обещание с высокой трибуны заставило Петра крепко призадуматься. Витька Корж первый вернул его на грешную землю: хорошо, мол, тебе обязательства брать — а с подвозом как? С транспортом на комбинате теперь полная запарка. Тут Гурский не поможет. Плохо стало с машинами, совсем поизносились, запчастей не хватает.

— Будем сидеть сложа руки, ничего не будет,— огрызнулся Петр.— Проявим инициативу, браток!

И он начал ее проявлять. Не откладывая дела в долгий ящик, собрался в автопарк. Встретил там пожилого шофера Николая Львовича, сухопарого, с большой залыси-

ной и рыжими усами. Он копался в моторе, согнувшись под поднятым капотом.

— Почему не на линии, Львович? — поинтересовался Петр.

— Норму отъездил,— не очень приветливо глянул на него рыжеусый водитель. Он был в замызганной спецовке, с ключом в руке.— Может, присоединишься? — Он показал Петру три пальца.

Петр улыбнулся и отрицательно покачал головой. Он оглядел просторное, холодное помещение гаража с большими маслянистыми пятнами на цементном полу возле смотровых ям. А потом начал говорить Николаю Львовичу о скрытых резервах в их работе, о духе товарищества в бригаде, об интересах общего для всех дела... В бригаде Найды жлобов нет... Нужны панели... А время не ждет...

Наверное, хлопцы из гаража поддались горячим уговорам Петра. Помогала и Ванда из диспетчерской, белокурая хохотушка. «Ты, Петь, старайся с транспортом, а элементики тебе будут,— говорила она кокетливо, повисая у Петра на руке.— Все для вашей бригады. Мы о тебе помним, Петенька!»

Найде бы радоваться. Но настоящей радости он не испытывал. Все, что говорил Петр с трибуны, его смелость, вернее дерзость, стремление вырваться вперед, дополнительные машины, его суетливость и нервное покрикивание на товарищей — все это было Найде неприятно. Не было прежней доброты в парне. Он только гнал, гнал...

Тревожило Алексея Платоновича и другое: до сих пор Петр ни словом не обмолвился о тетради в клеенчатой обложке. Были это фронтовые записки Найды. В минуту, когда настиг его сердечный приступ, попросил передать их Петру. И в случае, если бы произошло самое страшное... если бы «скорая» запоздала,— Петр должен был обо всем рассказать их общей знакомой из Лейпцига, молодой журналистке Инге Готте. Но Петр все отмалчивается и держится в стороне. А вдруг, не дай бог, где-то обронил ее, выскользнула тетрадь из рук ночью на улице, упала в снег или забыл ее в троллейбусе...

Вечером, разговорившись с Ольгой, во всем ей признался. Жена удивилась:

— А на что тебе Петр? Пошел бы прямо в редакцию,

в газету. Сколько корреспондентов вокруг тебя толчется. Сам говорил, писатели не раз к тебе обращались, вот и посоветовался бы с ними. И подправили бы, и напечатали.

— Тогда мне было не до писателей...

Ольга закусила губу, чтобы не вскрикнуть, чтобы не показать, как перепугал ее тот внезапный сердечный приступ и как жутко ей стало сейчас от его слов.

— Если всякий раз, когда где-то кольнет, о смерти думать, то как жить, Алешенька! — как можно беспечнее сказала Ольга, силясь улыбнуться.

— Кольнуло не кольнуло, а подумал. Потому и Одинца к себе вызвал.

— Ох, боже, боже! — Ясные карие глаза Ольги наполнились слезами.— Алешенька, родной мой... Так ты и вправду... про смерть?..

— Ну уж и про смерть! — сказал Найда и, одернув на себе полосатую пижаму, подошел к телевизору, включил его и принялся настраивать, чтобы изображение было четким,— как раз передавали программу «Время».— Всякое бывает, Оленька. Как-никак, а сердце, можно сказать, главный механизм у человека. Что-то в нем износится... недотянет или перетянет... и каюк!.. И никто не расскажет людям, как все было на самом деле, и никто не поможет Инге разобраться в своей судьбе... Я ведь возил Петра в Визенталь, показывал тот сиротский дом... И вот отдал ему тетрадь. Почему он отмалчивается? Очень мне не нравится эта его игра в молчанку...

Потянуло на весну, небесная синь слепила глаза, солнце щедро пригревало, и у строителей на верхотуре гулял влажный южный ветерок. Каждый вечер Невирко и Корж отправлялись в институт — Виталий тоже решил поступить на вечерний и теперь посещал подготовительные курсы.

— С какой стати, думаю, ты будешь с дипломом, а раб божий Виталий станет пугать девчат своей необразованностью! — говорил он, когда поздней порой они возвращались из института в общежитие.

— Правильно делаешь. Без знаний на белом свете многого не достигнешь,— усмехнулся Невирко.

— И без надежного тестя тоже. А вы, маэстро, кажется, дали маху.

— Заткнись! — вдруг разозлился Петр.— Лучше признайся, что до сих пор локти себе кусаешь из-за Файки Слимаковой. Из-за сберкнижки ее папаши...

Прошлой весной Виталик начал было приударять за дочкой начальника участка соседней стройки — Слимакова Ивана Петровича. Файка хвасталась перед парнями отцовской сберегательной книжкой, новенькой «Ладой» и кооперативной квартирой над самым Днепром.

— Я оставил поле боя совершенно добровольно,— сказал Виталик, поднимая воротник куртки, чтобы защититься от пронизывающего ветра.— А вот ты скажи: неужели Майка тебя разлюбила? Ведь такая шальная, зимой в морозы ждала на автобусной остановке. Жалеешь, да?

— Не жалею. Получил хороший урок,— криво усмехнулся Петр.— Делом надо заниматься, Виталик. Делом!

— А что оно, дело, если на сердце пустота!

— Может, и не пустота...

Петру не раз приходил на память мудрый отеческий совет Найды: «Свое мужское достоинство нужно беречь». С каким сочувствием посмотрел он тогда Петру в глаза, будто хотел развеять все его горести и терзания. До сих пор с чувством вины вспоминал Петр свой вечерний приход к старому бригадиру, когда Одинец встретил его на пороге, когда спускались к троллейбусу по крутой мощеной дороге. «Скорая помощь» была у Алексея Платоновича, тяжелый сердечный приступ свалил старика из-за него, Петра. Ведь Алексей Платонович, человек с большим жизненным опытом и добрейшей души, давно предвидел такой финал. Да, предвидел и словно знал, сколько тяжелого и унизительного придется пережить его молодому другу. Вот почему отправился он тогда в институт к Майке. Родной отец не тревожился так о сыне, как старый Найда о нем.

Правда, он, Петр, мог бы и не поссориться с Майкой. Даже, допустим, у них могло бы дойти до женитьбы, и он назвал бы наконец непоседу Майю своей женой. Но разве был бы он с ней счастлив по-настоящему? Разве не исковеркала бы она ему жизнь своими причудами, капризами, а то и изменами?

А теперь клянется, что любит его. Столько грусти было

в ее взгляде, когда последний раз Петр видел Майю в доме ее отца. Слова могут обманывать, но глаза лгать не могут. Вот ради таких женщин, наверное, совершают безумные поступки, даже подвиги. Петру такое не подходит. Один у него теперь подвиг — работа. Перед Батей оправдаться. За все, за все... Работа пока спорится у них. Никаких простоев, а если какая заминка — летит на своей «Яве» в комбинат, выбивает панели, уговаривает водителей не срывать показательную стройку. Подкатив, ставит мотоцикл у ворот завода, заходит в приемную главинжа, спрашивает Полину: «Тут?» Ему дорога всегда открыта, и Полина, вроде бы со скрытым недовольством, впускает его в кабинет. Прошагав к столу по красной дорожке, смело протягивает руку Гурскому. И сразу включаются телефоны, все приходит в движение: главный диспетчер, начальник комплектования. «...Немедленно выделить для передовой стройки, отдать все лучшее...»

Вечером, уже лежа в постели, Петр откровенничал с Виталиком:

— Кажется, получается... Еще один рывок — и наша возьмет.

— Предвижу: «Передовое звено монтажников во главе с Петром Невирко вышло победителем в социалистическом соревновании» и т. д. и т. п.,— дружелюбно иронизировал Виталик.

— А где звено, там и бригада. Вот что значит — уметь изыскивать ресурсы.

— О, твои ресурсы всему миру известны: от Гурского до Ванды и Полины... Между прочим, тут тебе от Полины подарочек, принесла какой-то пакет. Я на стол положил. Ждала тебя долго. Привет передавала.

— Славная девушка.

— Говорят, замуж собирается? — спросил Виталик.

— Пришвартовался один. С погонами морского офицера.

— А похоже, по тебе сохнет.

— Поймешь их: то сохнет, то дуется.

Петр закурил. В темноте долго мерцал огонек его сигареты.

Виталий улыбнулся про себя, но ничего не сказал. Петр, погасив сигарету, тяжело вздохнул и повернулся лицом к стене.

...В конце марта дошли до десятого этажа. В воздухе чувствовался запах набухших почек, солнце на верхотуре слепило глаза. От звена Петра Невирко на комбинате ожидали последнего рывка. Возле бытовки вывесили график: на нем отмечался ход работ.

Петр чувствовал себя героем.

— Видите, Алексей Платонович, как мы шагаем вверх? — спрашивал он своего бригадира с веселым видом. Его по-настоящему захватила работа.

— Радуйся, да не очень,— говорил, хмурясь, Найда.— Косишь, кривишь, трещин полно.

— Заводской брак — не наша вина.

— Нет, не заводской, я проверил,— в голосе старика чувствовалась скрытая досада.— На халтурных ездках панели разбивают. Носятся как очумелые...

— Время поджимает. А дороги сами знаете, какие. Рытвины, ухабы... Зато ваша бригада выйдет вперед.

Старик смягчался. Радовало приподнятое настроение Петра. Некогда о Майке думать. Кончились ночные хождения, переживания, неурочные звонки. Вот только поведение Гурского удивляло. Чересчур он сладеньким стал. Алексей Платонович чуял сердцем, что в его действиях была какая-то преднамеренность, вызывавшая тревогу.

Разговаривая дома со своим соседом Климовым, Алексей Платонович старался докопаться до сути происходящих событий. Прежде главинж не особенно баловал Петра Невирко, а теперь все ему да ему, все для их бригады. Почему?..

Климов поразился наивности Найды. Разве трудно найти разгадку?.. Он оглядел комнату. Где же газеты? Ага!.. Взял одну с дивана, развернул, пробежал глазами несколько колонок.

— Разве вы не выдели, что Гурский уже обо всем сообщил в прессу? Читайте, читайте! — ткнул пальцем в напечатанный столбец.— Статья вашего главного. И конечно же на первом плане — ура передовикам производства Найде и Невирко.

— Не может быть! — потянулся к газете Алексей Платонович.

Пробежал глазами заметку. О нем пишут. И Невирко упоминается. Складно, скромненько говорилось об их первых успехах, рассказывалось, что комбинат предпринял смелую попытку ускоренного темпа работ. Разве не-

правда? Разве тут какая-то ложь или преувеличение? Полезное начинание, о котором следует знать всей республике, всей стране.

— Вот и попробуйте его уличить...— съязвил Климов.

— А может, уличать и не нужно? Может, наши кровавые мозоли — школа для других? — задумчиво проговорил Найда.— Конечно, мощности комбинату не хватает... Но ведь как было на фронте, помните? Сначала прорывается вперед один полк, одна дивизия, а за ней — вся армия.

Климов задумался, начал теребить свою бороду. Военные аналогии были ему понятнее всего. Но он видел, что эти аналогии тут не вполне уместны. На войне прорыв одного полка считался лишь началом операции, лишь рывком, попыткой, первым ударом, и, если далее не разворачивалась стремительная волна общего наступления, которое должно увенчаться полным успехом, действия полка вообще не принимались в расчет. Климову почему-то казалось, что бригада Найды пошла на прорыв одна и ее успехи не станут успехами всего их коллектива, на это просто не хватит сил, весь запал и вся слава предназначались только Найде и Невирко.

— Я в министрах не ходил, но полагаю, что от такой стратегии государству пользы мало,— подытожил свои раздумья генерал.— Впрочем, поживем — увидим.

Неожиданно Ольге пришло письмо от Кости, ее бывшего мужа. Она показала его Алексею Платоновичу. Костя жил неподалеку в небольшом районном городке. Писал, что подорвал свое здоровье, живет в одиночестве и очень тоскует по дочерям. «У тебя, Ольга, сложилась хорошая семья. Завидую тебе. А я свое уже, верно, отстрадал. Полжизни отдал бы за то, чтобы увидеть детей. Неужели ты окажешься настолько жестокой, что не разрешишь мне этого?» И дальше молил о встрече с дочерьми, которым, уверял он, все-таки нужен родной отец. Разве может заменить отца посторонний человек?..

Прочитав письмо, Ольга отдала его Алексею Платоновичу и сказала, что она вполне полагается на него. Пусть он решает, как быть. Что бы там Костя ни говорил, а он, Алексей, детям настоящий отец, они его полюбили. Но в голосе Ольги Найда улавливал и другие нотки:

Костя был ей не безразличен. Ведь он ее первая любовь. И молодой, и красивый. «Полжизни отдал бы...» Вот как ищет подхода к женскому сердцу! Что же тут решишь? Найда положил письмо на стол. Бог ты мой, кто же может отнять у человека его отцовское право? И ему ли, Найде, судить этого Костю за прошлое, за ошибки молодости?

Когда Маринка вернулась из школы, письмо попалось ей на глаза. Вдумчиво, как взрослая, читала его. Усевшись на диван перед телевизором, прочла еще раз и, вероятно, старалась мысленно себе представить давнюю мамину жизнь с отцом, все то, что тяжким воспоминанием легло на ее детскую душу. Ничего не забыла девочка: как долгими месяцами не было от него писем, как являлся в дом с какими-то неизвестными людьми, кричал на маму. Снова были разлуки, снова молчание. И мамины слезы, и ее слова о том, что папа занят, папа задержался... Значит, теперь ей опять нужно называть далекого и чужого человека своим отцом?..

Положила письмо на краешек дивана, уставилась на светящийся экран.

— Что ты об этом скажешь, доченька? — подсела к ней Ольга.

Лицо девочки хранило выражение непроницаемости, только губы чуть заметно вздрагивали.

— Я его не знаю, мама,— ответила она тихо, не отводя глаз от экрана.

— Ладно... я думала, ты захочешь...

* * *

Однажды Невирко зашел в приемную Гурского и застал там Анатолия Найду. Он о чем-то спрашивал приветливо улыбавшуюся Полину и делал пометки в своем блокноте.

Петр сразу хотел уйти, но Анатолий крикнул ему:

— Погоди! У меня к тебе дело.

В коридоре объяснил, с чем пришел. Он был приветлив, серые глаза смотрели добродушно.

— Я работаю теперь на студии художественных фильмов,— сказал он.— Написал сценарий, будем его снимать с Завойским. Помнишь того бородача?

— Помню,— неохотно ответил Невирко. История с

телехроникой была ему неприятна, и он не хотел о ней вспоминать.

Оказывается, Анатолий искал на комбинате подходящих людей, мечтал снять фильм прямо с натуры. Даже артистов, кроме главного героя, хотелось ему заполучить непрофессиональных.

Протянул на прощанье руку, лукаво улыбнулся:

— Ну, бывай, Петя! Расти дальше. Кстати, Майка разводится с Голубовичем. Может, передать от тебя привет?

— Не надо,— резко бросил Петр.— А с Голубовичем у меня контакты в институте.

* * *

Наступила весна. Зелень каштанов была такой свежей и яркой, что казалась подкрашенной. Петр загодя пришел на вторую смену, узнал от диспетчера, что панели завезли, просмотрел журнал сдачи графика. Уборщица, женщина неопределенного возраста, в резиновых сапогах и ярко-красной шерстяной кофте, мыла пол.

— Ты чего так рано? —добродушно спросила она.

— Сегодня у нас решающий день, тетя Оксана,— ответил Невирко.— Сил не пожалеем, будем работать до седьмого пота, чтобы вы под вымпелом ходили.

— Я и без вымпела проживу. А то можно подумать, что ты для меня стараешься.

— Наш брат рабочий для всех старается,— со снисходительной улыбкой сказал звеньевой.— Вот вы моете пол, чтобы мне было приятно, а я на верхотуре панели укладываю, чтобы люди жили в новых красивых домах, чтобы Алексей Платонович гордился своей работой.

Зазвонил телефон. Петр взял трубку, сразу узнав голос Гурского. Это был голос с интонациями подчеркнутого дружелюбия и расположения, так Максим Каллистратович всегда теперь разговаривал с ним. Он спросил у Петра, как идет подготовка к решающей ночной смене, хватит ли внутренних панелей, пообещал прислать к завтрашнему дню рабочих из лифтомонтажа — пора уже браться и за подъемник — и с тревогой в голосе добавил, что могут быть затруднения с подземщиками, у которых всегда дел по горло, всегда чего-то не хватает, и порой пусковые объекты остаются не подключенными к теплотрассе.

— Впрочем, я сказал твоему прорабу, что мы это уладим,— пообещал бодрым тоном Гурский.— Я с Бовой в хороших отношениях, он — управляющий Горподземстроем. С ним только надо деликатно и обходительно говорить.— Тут Гурский слегка как бы запнулся, помолчал одно мгновение и далее не то попросил, не то изрек тоном служебного указания: — Кстати, ты не смог бы сегодня сделать дельце для этого Бовы? На часик подскочить в одно место?

— Куда? — удивился Петр и сейчас же подумал, что ребята будут недовольны его отлучкой. Особенно в такую ответственную смену.

— Да ненадолго. Мы ему тут выписали мешков двадцать цемента, из резервных фондов. У них — запарка, не успевают с колодцами.

Петр хотел было возразить, напомнить о последнем, самом важном рывке, но Гурский все тем же уверенно-спокойным, совершенно беззаботным голосом повторил просьбу, в которой Петр уловил металлические нотки. Нужно, мол. Для дела нужно. Зато Бова завтра же подведет к их дому теплосистему. Должна быть взаимовыручка. Короче, документы в порядке, машина прибудет в девятом часу, пусть Петр подъедет на склад с водителем и там погрузят цемент. Обо всем уже договорено.

— Ты пойми меня, это крайне важно,— произнес строго и настойчиво Гурский, уже не убеждая Петра, а как бы делая его своим соучастником.— Я посылаю тебя потому, что ты у меня самый надежный человек. Бова нам еще пригодится.

Ночная смена в этот день оказалась нелегкой. Монтажники спешили, работа шла рывками, панели поступали негабаритные, Саня Маконький был зол и не хотел их ставить.

Когда на город опустились сумерки, Петр услышал рокот мотора: по разбитой колее вкатывался на строительную площадку самосвал. «Приехал все-таки»,— глянул вниз Невирко и понял, что это за ним. Его охватила невыразимая тревога: все-таки придется на время оставить ребят.

— Вы уж тут без меня...— сказал он Сане, который заученным движением руки давал сигналы крановщику.— Вон за мной машина из управления... Соображаешь?..

— Ясно,— озабоченно ответил длинный как жердь

Саня, даже не взглянув в его сторону.— Бутылку лимонада захвати по дороге.

— Сообразим кое-что и покрепче,— с деланной веселостью сказал Петр.

Как только звеньевой очутился в темном лестничном пролете, он подумал: «Мог бы Саню не обманывать, а сказать все как есть. Ведь за час не успею...»

Машина ждала у бытовки, уже развернувшись передком к проходной. Петр увидел шофера, тот был в пиджаке, сапогах и старенькой шляпе с обвислыми полями. Невирко сразу узнал Николая Львовича: тот стоял у заднего колеса и придирчиво осматривал его, будто сомневаясь, выдержит ли оно дорогу.

— Дядя Коля, вы? — немало удивился Невирко тому, что с поручением от Гурского на самосвале прибыл почему-то водитель панелевоза. Петру показалось это подозрительным и странным, но в то же время как-то успокоило его. С Николаем Львовичем всегда работалось легко и просто. Шофер, не отозвавшись, с недовольным видом ударил несколько раз ногой по заднему скату, затем подошел к переднему — и тоже ударил его ногой и лишь после этого поднял глаза на Петра.

— Страсть как не люблю ездить на чужих машинах! — произнес он ворчливым тоном, но объясняться, почему приехал на чужой и вообще какое он имеет отношение к этому делу, не стал. Только в его выцветших, как осеннее небо, глазах блеснули лукавые искорки.— Давай, парень, без канители. Время — деньги.

Склад находился на территории комбината, и это немного ободрило Петра. Кладовщик, открыв одну половинку ворот, сказал Петру, чтобы брали мешки с верхнего ряда, там лучший сорт, высшей марки, как указано в накладной. Петр вместе с водителем за несколько минут перебросили в кузов машины двадцать светло-коричневых бумажных мешков с цементом; кладовщик, похожий на симпатичного мальчишку, расписался в накладной, пожал Петру руку и пожелал им доброй дороги. Петр совсем успокоился. Он понимал, что дело это важное, он уже привык к сложным взаимоотношениям между различными строительными организациями, привык к определенным условностям и даже к мелким нарушениям, на которые порой смотрел снисходительно, понимая, что в общем-то балансе всегда приходит к выгодному для дела результату: тот

дал цемент, тот вернул металлом, тот пообещал проволоку... Господи, если не верить людям, никакие бумажки и накладные не помогут. Тут главное, чтобы побыстрее... Чтобы хлопцы там, на площадке, не запарились без него.

Стемнело. В машине было тепло и уютно. Из маленького, висевшего на ремешке перед ветровым стеклом транзистора доносилась грустная мелодия. Петр, склонившись набок и закрыв в полудреме глаза, слушал наплывавшие из эфира звуки, улавливая далекий женский голос, и ему чудилось что-то безбрежное, ясное, залитое солнцем, похожее на морскую даль, в которой тают белые силуэты кораблей.

Николай Львович гнал машину на предельной скорости, и Петр вдруг понял, что это уже не город. Открыв глаза, он увидел освещенную светом фар булыжную дорогу между высокими соснами, какие-то незнакомые домики за высокими заборами, блестевшее озерцо, густой кустарник, силуэт человека в плаще с капюшоном и удилищами на плече.

— Долго ли мы будем искать этот объект? — спросил он с недобрым чувством подозрения, глянув на сосредоточенное, с потухшей сигаретой во рту лицо пожилого водителя.

— Мое дело крутить баранку,— резко повернулся к нему шофер.— Мне за баранку деньги платят...

— А мне за такие прогулки платят? — еще больше насторожился Невирко, сбросив остатки сладкой дремоты.

— Заплатят!

— И много получим?

— Думаю, по четвертаку. Если, конечно, клиент не жмот.

— Значит, едем налево? — спросил окончательно прозревший Петр и придвинулся к водителю.— А накладные значит, липа? Да?

— Законно все, парень,— уверенно ответил шофер, вынимая изо рта сигарету.

— Тем хуже: с законными накладными, да налево. Николай Львович, Николай Львович! В вашем-то возрасте получать срок! — Петр говорил с легкой издевкой, будто он был в стороне от всего происходящего и мог вот так подтрунивать над шофером, позволившим себе непростительную ошибку. Можно было, конечно, при-

казать остановить машину, повернуть обратно, разом покончить с этой историей. У Петра даже возникло желание положить руку на баранку, но он тут же отогнал эту мысль. Во-первых, не был вполне уверен, что Львович говорит серьезно, как не был уверен и в коварстве Гурского; во-вторых, если все-таки Львович сказал правду, то тут нужно во всем разобраться до конца.

Ждать пришлось недолго. Проехав еще пару километров по лесу, Львович свернул в просеку, выехал на широкую поляну, и тут свет фар ударил в низенький штакетник. Петр открыл дверцу и различил во тьме ряд дачных строений, призрачно проступавших среди садовых деревьев.

Ворота были открыты, двое в плащах, с лопатами, приблизились к Петру.

— Долго же вы ехали,— сказал один с упреком.— Чего мы только не передумали.

— Въезжай во двор, чего время терять! — произнес другой.

— А может, через забор перебросить? — вмешался водитель, и по его тону Петр понял, что здесь все свои люди, все давно знакомо, все оговорено, и тот прекрасно знал, к кому ехал.

Хозяева дачи начали о чем-то полушепотом совещаться с шофером. Петр все так же стоял возле кабины, чувствуя унизительную беспомощность и одновременно нарастающую в нем злость. Он еще не знал, чем закончится эта встреча, только ждал момента, когда скажет свое слово, и тогда выяснится, что все вовсе не так, как думают эти люди у забора.

«Скверная история,— размышлял он мрачно,— документы в порядке, ни к чему не придерешься. Но это же воровство, это же обман государства. Ну и влопался же я в историю!»

За несколько шагов от него разгорелся спор: говорили уже громко, что-то доказывая друг другу, в чем-то клялись, убеждая шофера. Ведь цемент прибыл! Прекрасный цемент марки семьсот, и теперь следует все продумать: куда сложить мешки, где будет надежнее, суше, не так заметно.

Петра охватила ярость. И будто все должно было случиться так, как он решил, крикнул в темноту:

— Львович, кончай канитель! Поехали!

В его голове, прозвучавшем неестественно громко среди устоявшейся ночной тишины дачного поселка, была вызывающая дерзость, которая насторожила хозяев.

— Товарищи... Что же вы?..— обратился один из хозяев к Петру слегка заискивающим тоном.— Вот свалим... поужинаем. Идите в дом, там жена.

Но Петр повторил громче:

— Львович, едем!

Львович быстро подошел к машине, рванул за ручку дверцы и полез в кабину.

— Откройте шире, не пройдет,— сказал он людям у забора, будто не замечая Петра.— Еще шире! Вот так, хорошо.

Петр быстро подскочил к кабине, схватил шофера за руку и вытащил его из самосвала.

— Я тебе сказал: едем!

— Что?

— Говорю: разворачивайся!

— Ну, ну, парень!..— Шофер довольно решительно освободился от рук Петра.— Поди погуляй, пока я разгружусь. Поди, поди!

— Нет, не разгрузишься, гад!

— Это я гад? — зашипел Львович в лицо Петру.— Сам гаденыш! — И он крикнул стоявшим у забора: — Слышите? Работать не дает. И еще оскорбляет.

Хозяева начали уговаривать Петра. Один шепотом, торопливо, сбивчиво, другой с напористой развязностью, сперва удивляясь, потом — обещая. Затем стали угрожать. У них, мол, все законно. Им полагается...

— Черта лысого вам полагается! — взорвался Петр.— Садись, Львович, в кабину, а то будет худо. И поворачивай!

— Отцепись ты! — шофер грязно выругался.— Придержите его, пока я подам назад.

— Тогда я сам,— решил Петр и хотел было сесть за баранку, но цепкие руки сбросили его на землю.

Удар был в затылок. Ударили лопатой. Петр качнулся вперед и в тот же миг, не поворачиваясь, с силой отбросил нападающего ногой.

— О-о-о! — закричал тот, скорчившись от боли.

И сейчас же его напарник навалился всем телом на Петра.

— Вяжи его!.. Веревку давай! — задыхаясь, шипел один.

— Свяжешь такого борова! — бегал вокруг напарник.— Сильный, черт!..

Петр отбивался с ожесточением. Схватил валявшуюся штакетину, ринулся на владельцев дачи. Те шарахнулись в стороны, побежали в сад.

— Милицию!.. Сторожа!..— кричали где-то за домом.

Петр приблизился к шоферу. Замахнулся штакетиной:

— Едешь?

— Милок... Да что с тобой!..— взмолился шофер.

— Вези, вези назад! В город!

Львович сел в кабину, ухватился за руль. Мотор долго не заводился. Наконец загудел, задергался. Львович стонал от злобы. Деньги же пропали. Куда теперь с цементом? Что он скажет начальству? Полсотни собаке под хвост!

Но Петр был неумолим. Вынув платок, вытирал с лица кровь, пот, грязь, смеялся нервным смехом:

— Дурак ты, Львович! Остаток жизни я тебе спас... Сгнил бы за решеткой... Еще спасибо скажешь.

Он снова и снова вытирал распухшее, окровавленное лицо.

Вернулись в город после полуночи. На складе сказали, что цемент не той марки. Свалили мешки. Выбежав на улицу, Петр быстро зашагал к своему общежитию.

* * *

В доме Найды было неспокойно: заболела Маринка. То приляжет от слабости на диван, то часами сидит, уставясь на экран телевизора, и не хочет спать. Врачи находили у нее обострение хронической пневмонии, советовали поскорее исследовать девочку в стационаре. Но Ольга все оттягивала с больницей, надеясь, что дочке станет лучше. И до того дотянула, что Маринка совсем слегла.

Алексею Платоновичу все-таки удалось уговорить жену оставить работу на кране. Не женское все-таки это дело, да и добираться на комбинат нужно в переполнен-

ных автобусах. Теперь Ольга работала воспитательницей в детском саду.

Ольга побежала в аптеку, едва Найда вернулся домой. Алексей Платонович присел возле больной. Маринка лежала на диване: глаза закрыты, дышит тяжело. Наталочка беззаботно играла с куклами в своем уголке за шкафом.

— А Маринку в больницу заберут,— сообщила она по-детски беспечно и даже как будто радостно.

— Мы Мариночку и дома вылечим,— бодрым голосом пообещал Найда. Устроился у Маринки в ногах, положил руку на одеяло.— Вон, смотри, дочка, мультик показывают.

Девочка слабо покачала головой. Не хочет она мультика: губы у нее запеклись, личико пышет жаром. Алексей Платонович взял ее горячую руку и прижал к своей щеке. Не мог спокойно видеть, если кто-то страдает.

По телевизору начали показывать какой-то фильм, значит, пора Наталочку укладывать спать. Найда повел ее в ванную, чтобы почистила зубы. Приучили ее к самостоятельности: вот твое мыло, твоя щетка, твое полотенечко. И чтобы быстренько! Пока мама придет, чтобы уже была в постельке...

Потом склонился над больной девочкой:

— Как головка, доченька?

— Ой, папа, болит!..

— Может, телевизор выключить?

— Пускай работает...

Долго что-то нет Ольги, видно, не нашла в аптеках того, что нужно. Найда сел читать газету, но буквы расплывались перед глазами, не мог сосредоточиться. В коридоре вдруг зазвонил телефон. Найда быстро встал, бросился к аппарату. Знакомый голос Одинца звучал тревожно.

— Извините за поздний звонок, Алексей Платонович,— сказал Одинец.— Заскочил мимоходом на ночную смену, а там — бог знает что творится... Решил вас побеспокоить.

Рассказал, как зашились ребята из звена Невирко. Петр куда-то ушел, бросил хлопцев, и они без него совсем растерялись.

— Не захворал ли?

— Да нет, вроде бы машина за ним приехала.

— Ну ничего, ребята не подведут,— сказал Найда, чувствуя, как его охватывает беспокойство.

Одинец сокрушенно вздохнул, и Найде даже почудилось, будто он в сердцах обронил крепкое словцо. Без звеньевого в ночную смену... Последний рывок. Последний этаж. Завтра комиссия по соцсоревнованию. А тут сплошной брак. Трещина на трещине. Сбивки по осевой. Хлопцы гонят, чтобы занять первое место... И если Петр не вернется...

— Такого не может быть! — Найда уже не мог справиться с охватившим его волнением.— Он ведь знает, что без него ребята не вытянут.

— Скоро одиннадцать. Коли так будет и дальше — наши не победят...

Бригадир еще колебался.

— Так как же быть, Алексей Платоныч? — спросил Одинец.

Найда бросил из коридора взгляд на Маринку.

— Я сейчас приду, Григорий Филиппович,— произнес через силу.— Жди меня.

Хорошо, что у Климовых еще горел свет. Он постучался к ним и рассказал, в чем дело. Быть может, Анна Мусиевна согласится часик посидеть с Маринкой, пока Ольга вернется. Он ненадолго...

— Поезжайте и не волнуйтесь,— успокоила его соседка.

«Часик», однако, продолжался почти до утра. То, что увидел на стройке Найда, привело его в полное расстройство. Монтажники, видно, только и думали о финише. Найда знал, что иногда у Петра шли бракованные панели: с трещинами, вмятинами, зазубринами... Кое-что он заставлял переделывать, кое-что замазывали, зашпаклевывали. А тут — все вкривь и вкось. Две стенки были плохо подогнаны, между плитами зияли зазоры. Найда рассвирепел: «Так не пойдет! Такого соревнования мне не нужно!» Взял в руки монтагу и принялся сам подправлять и подравнивать. С ним и Одинец, и хлопцы тоже. Кран работал до четырех утра — переносил, перетягивал, переставлял.

Возвращался Найда домой в шестом часу утра. Усталый, удрученный. Спас честь Петра, а дальше что? Куда занесло парня на волне честолюбия? Придется собирать собрание и обо всем говорить в открытую. Здесь бы-

ло не просто неумение. Налицо чистейшая халтура. И это — под конец. На последней «стометровке», как любил говорить сам звеньевой.

Вдоль извилистой улицы тускло мигали фонари, в садиках притаилась густая тишина. В окнах на их половине темно, лишь на веранде почему-то горел свет.

Сердце тревожно сжалось. Поднявшись на крыльцо, увидел, что дверь не заперта, словно Ольга куда-то вышла.

В комнатах темнота. Разглядел незастланные постели — Ольги и Маринки не было. Только Наталочка спала в своей кроватке.

Под окнами послышались шаги, и на крыльцо поднялись Климовы. Генерал был в пижаме, Анна Мусиевна в халате, с платочком на голове.

— «Скорая» приезжала,— сказал Климов.

Найда щелкнул выключателем и обессиленно опустился на стул. Климов разминал сигарету. Анна Мусиевна для чего-то принесла из кухни стакан воды, поставила на стол.

— Вы не волнуйтесь. Все обойдется,— сказала она Найде.

— Температура еще больше подскочила, вот Ольга Антоновна и вызвала «скорую»...

Потом он остался один и долго сидел у стола. Лампочка излучала какой-то унылый свет, и от него на душе становилось еще тоскливей. Подошел к Наталочке, которая спокойно спала, высоко закинув ручонки над головой. Поправил одеяло, постоял над ней. И тяжелый вздох вырвался из груди. Ведь это твое дитя перед тобою, привык к нему, сердцем прикипел к этому крохотному доверчивому существу, которое по вечерам лепечет: «Папа, а это что?.. Пап, нарисуй мне уточку!..» И Маринка, хотя она сдержанней выражала свои чувства, тоже доверчиво тянулась к нему. Отцом стал он для них, а это ох как много значит, в этом, быть может, и заключено все его счастье, которое подарила ему на склоне лет судьба.

Все же он не мог долго оставаться в неведении. Мучительна была мысль: что там с Маринкой, куда ее отвезли, в какую больницу? В глубине души он сознавал свою вину перед Ольгой за то, что ушел из дому после тревожного телефонного звонка Одинца. Вечно отрывают

от семьи служебные дела, не можешь и часа без них прожить. Сколько выстроил домов, куда ни пойдешь — всюду стоят по городу, созданные твоими руками, низкие и высокие, скромные и нарядные, блочные и кирпичные. Тысячи людей живут в них, не ведая, что это твоих рук дело. Живут-поживают. И новый дом, где он с Одинцом жилы себе надрывал, тоже станет для кого-то просто удобным жильем, и никто не будет знать, чего стоило ему видеть следы спешки, халтуры, безразличия... Привык быть предельно точным и честным в труде, о каждом этаже, о каждой панели заботиться так, словно строил дом для себя.

Лишь под утро, когда он, уронив голову на руки, задремал у стола, позвонила из больницы Ольга. Маринке легче, как только спадет температура, врачи обещали выписать ее домой. Сказала, что останется с девочкой на весь день. Голос у нее был усталый, измученный и такой родной, что у Найды сжалось сердце. Но в голосе этом ему послышалось и другое: еле уловимые нотки затаенной обиды.

* * *

Ночь была долгая и беспокойная. Мозг напряженно работал, восстанавливая в памяти мельчайшие подробности ночного происшествия. Петр упрямо закрывал глаза, стараясь уснуть, но сон не шел. Забылся только под утро, но это был не сон, а какое-то забытье — тяжелое и дурманящее. Проснулся позже обычного от яркого солнечного света и сразу ощутил тупую, ноющую боль в голове. Вспомнил вчерашний вечер и мерзкую историю с цементом. Может, этого совсем и не было! Может, все приснилось! Нет, боль давала себя знать, а в памяти всплывала безмолвная стена леса, темные крыши дачного поселка, силуэты людей у высокого забора.

Сегодня была суббота. Виталика уже не было. На столе Петр нашел записку, в которой Виталик писал, что он с ребятами поехал катером на Жуков остров. Петр должен быть у причала не позднее десяти.

Прочитав записку, Петр бессильно опустился на край кровати, посмотрел в окно, и его вдруг охватила глубокая, безысходная тоска. Все это было на самом деле, было, было... Все случилось так неожиданно и нелепо.

Его обманули как мальчишку, обвели вокруг пальца. Он думал, что это для Бовы и, стало быть, для стройки и, конечно, вполне законно, то есть по документам, по накладным... Неужели Гурский мог пойти на такую подлость? Не хотелось верить. Может, это дело рук Львовича? Может быть, и Гурского, как Петра, обманули, ввели в заблуждение?

Взгляд снова упал на записку, и Петр подумал о ребятах. Сейчас все они там, у причала: Саня, Виталик, Жорка. На Жуков остров часто ездили шумной, веселой компанией, брали с собой еду, удочки, волейбольный мяч. Стоят, наверное, и ждут его. Нет, не поедет он с ними. Неудобно. Наверное, ребята обиделись за вчерашнее, за то, что не вернулся на стройку, оставил их одних в такой ответственный момент. Без него добивали последние рекордные метры бетона. И если успели — без него пускай и отмечают это.

С досадой сжал в руке записку. И вдруг вспомнил другое приглашение. Как он мог забыть? На днях ему позвонила Полина и сообщила, что в субботу намечается поездка в лес всего большого управленческого аппарата. Он обрадовался ее звонку, ее голосу. Она передала ему просьбу Гурского — начальство хочет видеть его на природе... Полина, наверное, будет ждать его. Он представил себе людей, собравшихся у конторы, одетых по-весеннему, сбросивших с себя домашние заботы и утомительные служебные дела, веселых и радостных в предвкушении предстоящей поездки.

Подошел к зеркалу. Лицо серое, какое-то чужое. На щеке и лбу ссадины. Провел рукой по голове. «В таком виде? Что подумает Полина? Как ей объяснишь?..»

И опять, как холодная волна, накатилось воспоминание о вчерашней ночи. Ведь там будет Гурский... Нужно ехать. Нужно все немедленно выяснить. Все поставить на свои места. «Еду! — твердо решил Невирко.— Я должен знать правду!»

* * *

— Ты какой-то странный сегодня,— сказала ему в автобусе Полина. И когда управленцы расположились на обрывистом берегу реки, внимательно глянула на Петра и со смешанным чувством удивления и жалости провела

рукой по его лбу.— Господи, да ты дрался, что ли? Или упал? Что с тобой, Петя?

— Чуть не упал, Поленька,— невесело ответил Петр и, нахмурившись, опустил голову. Рассказывать правду Полине не хотелось.

Полина была на диво хороша. В темно-синем платьице, русые волосы слегка взбиты. Стройная, задумчивая, она держалась скромно, будто чувствуя, что в этом обществе она не совсем свой человек. Главный инженер относился к ней подчеркнуто официально и, казалось, таил на нее обиду. Возможно, причиной тому была ее дружба с Петром. Полина почувствовала это уже давно, еще с тех пор, как Невирко поссорился с Майей, и поэтому в присутствии Гурского постоянно испытывала неловкость и смущение.

Пиршество на лоне природы удалось на славу. Было сказано много хороших слов и пожеланий. Гурский был мастер произносить тосты, всячески превозносил своих подчиненных и сослуживцев. Он говорил о том, что здесь находится управленческий состав — мозг комбината, который движет всем и ведет их коллектив к вершинам технического прогресса. Но есть тут и такие...— он внезапно отыскал глазами Петра,— кто собственными руками творит этот прогресс. И о них тоже следует вспомнить, может даже в первую очередь. На ветру, в зимнюю стужу и в зной они возводят стены домов, от них зависит добрая слава комбината.

Петру трудно было выдержать взгляд Гурского, и он невольно опустил голову. Все пережитое им вчера так не вязалось с этой широкой, дружеской улыбкой Максима Каллистратовича, было столь нелепым и почти нереальным, что он вдруг, забыв на какой-то миг о своей решимости вывести Гурского на чистую воду, тоже улыбнулся и поднял свой стакан.

Гурский был спокоен, сосредоточен, умиротворен. Только в глубине его зрачков трепетали холодные огоньки. Главинж чувствовал, что Петр напряжен и озабочен, но никак не мог понять причины этого. Неужели это Полина настроила его против? Ишь как спелись! Хорошо, что Майя не видит их вместе. Ну ничего, еще не поздно... Главное — покорить и обезволить Петра. Это уже не раз удавалось...

Максим Каллистратович снова поднял стакан с вином.

— Посмотрите на этого чернокудрого богатыря! — сказал он, оборачиваясь к присутствующим.— Разве Петр Невирко не достоин самого высокого тоста? Идет молодая рабочая смена: с дипломами, со знаниями, с дерзкими мыслями. И мы, старые ветераны, говорим ей: идите! За вами будущее!

Петр был немного обескуражен, чувствовал себя неловко под пытливыми, подбадривающими взглядами старших товарищей. Гурский видел его смущение, и это придавало ему уверенность. «Пожалуй, ты уже пошатнулся, мой молодой друг. Когда ты узнаешь главное, разговор пойдет по-иному. Скоро ты перестанешь хмуриться. Я должен сделать это сегодня же. Должен сделать ради моей дочери, ради моего завтрашнего дня, ради моего комбината, черт подери!» И Гурский с еще большим пылом заговорил о достоинствах Петра Невирко, о том, сколько в нем деловой смекалки, прямоты и чуткости. Подняв стакан с оставшимся на самом донышке вином, Гурский направился к Невирко.

— Разреши, друг, обнять тебя! — произнес он растроганно и положил Петру на плечо свою холеную, в густой россыпи веснушек руку.— Сегодня ты — именинник! Да, да, товарищи! Перед вами действительно именинник! Его монтажное звено закончило укладку шестнадцатого этажа. Ребята работали всю ночь, и вот — победа!

Петр был совершенно подавлен. Если сказать сейчас, что его не было ночью, придется объяснить почему. Если продолжать молчать, он окажется лгуном. Ну и ситуация! Гурский стоял со стаканом в руке, медленно поднес его ко рту. В глазах — понимание и товарищеская фамильярность. «Теперь ты уже немного поддался, Петр Онуфриевич. Тебе приятно! Ты польщен! Скоро ты перестанешь дуться, точно индюк, и тогда мы поговорим с тобой, как настоящие друзья. В принципе ты деловой парень. Вчера легко согласился на мое предложение. Значит, понимаешь, что в жизни нужно быть не только твердокаменным. Ты мне нравишься именно таким: немного упрямым, немного уступчивым, немного честолюбивым. И очень популярным среди работяг».

— За победителей, товарищи! — еще раз вскинул руку со стаканом Гурский, осушил его и, внезапно придав лицу строгое выражение, отошел в сторону.

Когда на тарелках и в кастрюлях почти ничего не осталось, компания разбрелась по лесу.

Полина и Петр забрели, пожалуй, дальше всех и оказались в березовой рощице, озаренной косыми солнечными лучами. Полину было не узнать: кокетливая, игривая, в веселом настроении. Она была точно во хмелю от лесного пьянящего воздуха, от гулкой лесной тишины. Чему она радовалась? Его успеху? Добрым словам Гурского? Или ощущению полной свободы, которую испытывала так редко.

— Куда ты? — попытался остановить ее Петр, и его голос прозвучал печально.

— Здесь я приказываю, Петенька!

— А обратно дорогу найдем?

— Все дороги ведут к товарищу Гурскому.

— Я хотел бы сегодня обойтись без него.

Полина вдруг остановилась, и в ее глазах вспыхнули насмешливые искорки. Внимательно и долго посмотрела на Петра. Он даже на миг опустил глаза.

— Теперь тебе без него не обойтись, товарищ Невирко. Ты победитель! Начальство подняло за тебя тост.— И вдруг нахмурилась.— А победителей, как говорится, не судят.

Шли некоторое время молча. Притихшая Полина смотрела себе под ноги.

— Почему ты приуныла? — спросил Петр.

— Вспоминаю нашу пирушку на верхотуре,— ответила Полина.— Тогда каждая звездочка мне что-то обещала.

— Пусть она обещает тебе и сегодня...

Это прозвучало как намек на то, что все у них впереди, что нужно верить в любовь и не слушать глупых сплетен. А может, это прозвучало и по-иному? Как намек на то, что ему, Петру, известно намерение Полины выйти замуж за моряка с внушительным крабом на фуражке, который так ловко подсаживал ее однажды в автобус.

Полина обернулась к Петру:

— Как-то я была у Алексея Платоновича и познакомилась с его соседом генералом Климовым. Он освобождал Севастополь. А у нас там много знакомых.

— И один из них — капитан третьего ранга, если не ошибаюсь? — поспешил уточнить Невирко, и его губы вздрогнули от едва сдерживаемой улыбки.

— Капитана второго ранга,— поправила его Полина.

— Твоя старая любовь?

— Не старая и не любовь. Просто хороший человек. Близкий друг нашей семьи.

Петр насупился. Тут вроде и не придерешься.

А как шумит лес, пронизанный ласковым солнечным светом, как благоухают травы и цветы. И только сердце Петра сжималось от горечи, от досады на свою нерешительность. Скрутил его Гурский, подмял под себя...

— Стало быть, выходишь замуж,— сказал Петр девушке, надеясь, что она станет отрицать это, заверит, что не думает ни о каком замужестве.

Но Полина ничего не отрицала. Лишь произнесла не совсем уверенно и как бы оправдываясь:

— Какой девушке не хочется иметь в жизни верного друга...

— Значит, ты все-таки выходишь за моряка? — уже со злостью спросил он.

— Это не скоро, Петенька. Чтобы выйти замуж за другого, надо расстаться окончательно с тем, кому принадлежишь всем сердцем...— Глаза ее наполнились слезами, и она быстро вытерла их.— Пойдем, нас ждут.

Он видел, как по ее лицу пробегали солнечные блики, и от этого в заплаканных карих глазах что-то играло и менялось, и губы ее, пытавшиеся улыбнуться, словно ожидали и боялись поцелуя.

— Ты плачешь, Поленька! — сказал он, обняв девушку за плечи и пристально глядя ей в глаза.

— Нет... это так... вспомнилось,— прошептала Полина.

— Вижу, плачешь,

— Пойдем, Петя.

— Я знаю, что виноват перед тобой. Я давно должен был понять это... Но теперь, когда так получилось... и ты собираешься за него...— он продолжал держать ее за плечи.

Полина взяла своими теплыми руками его жесткие, мозолистые руки и отвела их.

— Пусть тебя это не волнует. Забудь, что я говорила сейчас, Петенька.— Она улыбнулась и побежала тропкой к берегу.

Уезжали под вечер, когда солнце зацепилось за вер-

хушки прибрежных верб и длинные тени легли на землю. Женщины поспешно что-то собирали в сумки, мужчины курили, разговаривали о делах. Подали автобус. Гурский подошел к Петру.

— Хотел поговорить с тобой. Сядем вместе,— предложил он вежливо-властным тоном.

Он выглядел уставшим и, как показалось Петру, был чем-то недоволен. Вероятно, прогулкой Петра с Полиной по лесу. Папаша переживает за доченьку. Вот и отлично. Самое время поговорить о вчерашнем.

В автобусе было шумно, пахло цветами и мокрой одеждой. Мужчины затянули песню, женщины подхватили ее нестройными голосами. Водитель вел машину осторожно, притормаживал на каждом ухабе, но все равно сильно трясло.

Гурский курил.

— Отгуляли,— произнес он после длительного молчания, и по тону, каким это было сказано, можно было понять, что предстоит серьезный разговор.— Завтра Кудряшов будет жаловаться на печень, а Рекемчук на неделю возьмет больничный. Пили, ели, веселились, подсчитали — прослезились! Как поется в песенке.

Непонятно, куда он клонит. Не осталось и следа от бодрого настроения, веселости и беззаботности. Петр невольно отодвинулся от него в угол, к окошку. Думал о том, как лучше сказать о вчерашнем.

— Ну, как ты? — вдруг спросил Гурский.

— Что как? — не понял Петр.

— Настроение.

— Среднеарифметическое,— тут же отшутился Невирко.

— Кажется, ты в пятерочниках ходишь.

— Вроде. Только вы... мне больше четвертаков налево не устраивайте,— переменил тон Невирко.— Я в них не нуждаюсь.

— Поди какой прыткий! — деланно беззаботным тоном произнес Гурский. Он ближе придвинулся к Петру и дружески заговорил: — Свозил, и крышка. Для общего дела старался.

— Никакого дела не было. Сволочи они!

— Может, ты объяснишь, в чем дело?

Петр со злостью рассказал о ночном происшествии на даче, о привезенном назад цементе, не забыл упомянуть

о драке, которая могла кончиться и похуже. Гурский выслушал его молча, потом положил ему на колено руку. Конечно, могло быть и хуже. Бова их, очевидно, обвел вокруг пальца. Но если разобраться, дело-то пустяковое, ничего особенного... Звонили от самого Ивана Ивановича, который дал устное распоряжение помочь нужному работнику.

— Распоряжение, по которому ночью таскают цемент со склада,— огрызнулся Петр.

— Ну ладно, успокойся, Петя, кончилось, и леший с ними,— с легким раздражением бросил Гурский.— Есть законность, и есть формализм. Я ведь пекусь о государственных интересах, о нашей стройке. Вам же Бова будет тянуть теплотрассу.— Он тяжело вздохнул.— Заварил ты кашу! Горячая твоя голова! — И тут же перешел к другому:— Есть важный разговор. Думаю, ты меня правильно поймешь. Так сказать, по-мужски.

— Поймем как-нибудь, Максим Каллистратович.

— Я о твоей работе. Есть возможность перейти на самостоятельную. Думаю назначить тебя бригадиром.— Их здорово тряхнуло, они оба завалились набок, и темнота будто сблизила их.— Со стариком дела плохи.

— Не понимаю.

— Отработал свое на верхотуре. Готовим ему спокойное место в аппарате. Сам же видишь: то приступы, то бюллетени.

Невирко почувствовал леденящую пустоту в груди.

— Выходит, вроде на пенсию?

— Да нет, еще потянет. С его опытом рановато на пенсию. Пускай делится опытом, учит молодежь. А в бригаде ему трудно. Отработал свое.

Невирко тупо смотрел в темное окно, автобус осторожно миновал проселочную дорогу и выбирался на шоссе. Было холодно и неуютно. «Он говорит вроде бы разумные вещи. Если старику действительно там будет лучше, то... конечно...»

— Но мы-то как без него? — вырвалось у Петра.— Его в бригаде уважают. И дом мы сдали первыми. Вы же сами, Максим Каллистратович, тост такой предложили.

— Это тост за тебя, мил человек,— строго заявил Гурский.— Будем откровенными до конца, Петр Онуфриевич. Отношения у нас с тобой складываются непросто,

ты вроде бы дуешься на меня. Не можешь забыть прошлое. Я и сам порой сожалею о многом. Но жизнь есть жизнь. Что там у вас будет с Майей, не знаю, а вот работать нам с тобой вместе придется. И здесь я целиком на твоей стороне. Хватит тянуть лямку. Бери, как говорится, бразды правления в свои руки. Завтра на утренней оперативке выступишь первым. Коротко, умно, с достоинством... Погоди, не отмахивайся!.. Что от тебя требуется? Несколько слов об условиях вашей работы. О том, как трудно Найде. Алексей Платонович, мол, отличный бригадир, чуткий товарищ, наставник, знает дело, но часто болеет, устал, по-видимому, его нужно поберечь. Все условия для него создать. Скажешь откровенно, как его ученик.

— Да что вы, Максим Каллистратович! Разве я могу? — с возмущением возразил Невирко.

— А сердиться не следует,— поучительным тоном сказал ему Гурский.— Знаю, тебе тяжело. Понимаю твое настроение. Но такова жизнь. Вчера — Найда, сегодня — ты. Да, да, сегодня, Петрусь, ты!

Петра будто оглушило. Даже ухватился руками за холодный дерматин сиденья. Как же это выходит? Батю сбросить, а его вместо Бати?

— Отказываюсь,— твердо произнес Петр.— У вас нет никаких оснований устранять Найду!

— Сегодня нет, а завтра будут, Петр Онуфриевич,— вкрадчиво, предостерегающим тоном начал Гурский.— Придет комиссия, проверят, как вчера уложил элементики товарищ Невирко, сколько там брака, сколько смещений по вертикали, сколько зашпаклевано... Разве нет? А? Уверен, что не придерутся? Ты ведь последние дни гнал! Мне докладывали... Халтурки много... Комиссия и определит: Петра Онуфриевича лишить звания победителя соревнования, а бригадира Найду вовсе снять...— Гурский притворно вздохнул.— Крутая штука — жизнь. Куда ни повернись, пора Найде на легкую работу.— Он даже улыбнулся в темноте.— Для чего же, спрашивается, огород городить! Бери бригаду по-хорошему. Обещаю, что о твоих недоделках никто не узнает. Сто лет дом простоит. А мы с тобой развернемся по-настоящему.— Он помолчал выжидательно, еще ближе придвинулся к Невирко.— Главное: продумай свое выступление на оперативке. Без резкости... по-государственному... Понял?

Петр, ничего не ответив, упрямо отвернулся к темному окну. И лишь через несколько минут сказал как бы себе самому:

— Понял, Максим Каллистратович.

* * *

Петру и в голову не могло прийти, что Виталька дома. Воскресный вечер, закатился куда-нибудь с Вандой, сидит в кабачке или на даче у Одинца. Был десятый час, и в коридорах общежития царила тишина. Петр подошел к своей комнате, вынул ключ, но тут же заметил, что дверь приоткрыта. Неужели Виталька?

Тот действительно был дома. Лежал на незастеленной кровати в майке и синих спортивных штанах, подложив под голову две подушки, и читал какую-то книгу.

— Заболел? — непонимающим взглядом окинул его Петр, прикрывая за собой дверь.

Виталий медленно, подчеркнуто медленно перевернул страницу и, не отвечая, продолжал читать. Петр догадался: сердится, видимо, из-за его поездки с Гурским. Ведь договаривались вместе отправиться на Жуков остров, а Петр откололся, не предупредил его. Вышло нехорошо.

— Чего дуешься? — спросил он нарочито беззаботным тоном.

Виталик, взяв со стула печенье, откусил его и упрямо продолжал читать дальше.

— Ага, мы уже и разговаривать не желаем. Ясно,— пытаясь подавить в себе внезапно вспыхнувшую обиду, произнес Петр и устало сел на кровать.— Ясно, ясно...

Собственно, ему ничего не было ясно. Если Виталька дуется из-за его поездки с Гурским, то это не повод для ссоры. Каждый едет куда хочет, черт побери! Да в конце концов, можно и объясниться. Друг же...

— Послушай, дружище,— снова заговорил Петр, пристально глядя на товарища.— Мог бы, по крайней мере, поздороваться.

— Привет, старик. Видишь, читаю,— ответил Виталий, глядя в книгу.

— А я думал, лапти плетешь. Ну, и что же там поделывают твои положительные герои?

Виталия даже всего передернуло от возмущения. Он захлопнул книгу и бросил Петру:

— Слушай, малыш, погулял и ложись бай-бай.

— Выспаться я успею, да ты что-то кипишь. Если из-за Гурского, то напрасно.

— Может, и из-за Гурского.

— Вот и дурак.

— Не совсем.— Виталик сел, расправил плечи.— Не понимаю я тебя, Петруха. Вроде ты и с нами, и не с нами. Конечно, с начальством надо осторожно... Гурский — дядя крутой, с характером... Но ведь мы и сами с усами.

Петр развязал галстук, расстегнул кремовую рубашку, принялся стелить постель.

— А у меня другое мнение,— бросил он через плечо.— Не хотите вы меня понять. Для бригады стараюсь, ради всех в петлю лезу.

— В петлю? — язвительно произнес Виталик.— С Гурским на пикник в лес — это называется «петля»! Хлопцы за него вкалывают, а он коньячок попивает. Тосты там всякие за Максима Каллистратовича поднимает.

— Идиот! — крикнул Петр, возмутившись, и сразу же понял, что возмутился не оттого, что Виталик его упрекнул за поездку, а оттого, что услышал неприятную правду. Действительно, были тосты. И за Максима Каллистратовича, и за него. Внезапно его словно пронзила догадка.— Кто за меня вкалывал? Ты постой... Ты это что?..

Виталик округлил глаза и не столько с укором, сколько с удивлением произнес:

— А ты не знаешь! Ребята почти всю ночь гнули горб. В четвертом часу утра закончили.

В комнате было душно. В открытое окно доносился беззаботный девичий смех, шум проносившихся машин. Виталик глянул на Петра.

— Завтра ребята хотят потолковать с тобой кое о чем,— произнес равнодушным тоном.— Вроде бы трибунал чести. Очень просили, чтобы ты на пару часов отложил свои общественные дела.

Петр ничего не ответил. Сорвал одеяло, разделся и бросился на прохладную постель.

Утром Петра вызвали на комбинат, где проводилось совещание актива. Он уже был известен как активист, и приглашением его не обходили. Поэтому на собрание бригады он явился, когда первая смена почти закончила

работу. Возле бытовки столкнулся с Найдой. Тот разговаривал с прорабом, был чем-то озабочен и даже сердит. Возле дома стоял панелевоз, и с него краном выгружали внутренние стены.

Виталий, увидев Петра, тут же отозвал его в сторону:

— Все в ажуре! — проговорил он с таинственным видом.— Комиссия приняла на «отлично». Но приедут еще из управления и парткома. Будет и Гурский.

— Трибунал чести, так сказать.

— Не лезь в бутылку,— мягко остановил его Виталик.— Все на высшем уровне! Будут говорить о наших достижениях. Может, коснутся и тебя.

Значит, разыгрывался придуманный Гурским спектакль, хитрая интрижка, о которой он предупреждал Петра еще в автобусе. Вот и наступило время решать. Нет, не решать... Выполнять приказ Гурского, принять его предложение и стать бригадиром вместо... «Подлость, подлость!» — обожгло душу Петра. Хоть сто комиссий, хоть сто угроз, Петр не даст обидеть Батю. Ишь, что надумал этот умник. Чужими руками сводит счеты с Алексеем Платоновичем... Он уверен, что Петра можно купить, можно загнать в угол. Но ничего у вас, дорогой Максим Каллистратович, не выйдет. Напрасно стараетесь!

Были, правда, и другие мысли. Они будто и не мыслями были, а каким-то облачком, тенью или дымкой. Представилось, как он, Петр, входит в директорский кабинет, как шепчутся по углам завистники: «Бригадир... Смотрите, новый бригадир...» Майя тоже позвонит: «Поздравить можно?» И Полина пожмет руку... И хлопцы встретят почтительным приветствием... Но он тут же прогнал эти подленькие мысли.

Из бытовки вышел Найда, и Петр, стоявший возле панелевоза, невольно опустил голову. Его будто обожгло горячей струей пара. Найда взял Петра за руку:

— Ничего, не переживай... Я тебе эту ночь прощаю. Но пусть это будет уроком. Всем нам уроком! — И быстро пошел прочь.

В четыре часа, когда закончилась первая смена, рабочие стали собираться в прорабской. Появились и товарищи со второй смены. Одинец предложил избрать президиум. Назвали Непийводу и крановщика Митюхина. Люди были молчаливы, сдержанны, лишь изредка переки-

дывались словом. Звено Петра Невирко устроилось особняком. Минувшая ночь была у всех в памяти, будет разговор и о ней, нечего мозолить глаза.

В это время на территорию строительства въехала машина Гурского. Из нее вышли главинж и женщина средних лет — секретарь парткома Чернявская, в темно-коричневом костюме и в кружевной белой кофточке. Седоватые волосы ее были уложены в пышную, высокую прическу. Она вошла в прорабскую, чувствуя себя несколько неловко среди рабочих, одетых в спецовки. Одинец подвинул ей стул, чтобы она села к столу, но Чернявская примостилась возле окна, словно желая подчеркнуть, что не собирается вмешиваться в ход событий.

Собрание было посвящено обычным производственным делам бригады. Одинец говорил о выполнении плана, о соблюдении графика, о том, что удалось значительно ускорить темп монтажа. Он записал свое выступление на нескольких листах бумаги, часто называл цифры, производственные термины, говорил быстро, порой сбиваясь. Казалось, он спешит прочитать написанное, свалить с себя тяжкое бремя и передать ведение собрания председательствующему. Все хорошо знали, что проку от таких собраний мало. Отчитывались для галочки. Критиковали для приличия. Хвалили из дружеских чувств.

Настораживало только присутствие начальства. Чернявская слушала выступление с интересом, вникая в детали и что-то записывая. Гурский сидел с непроницаемым видом. Он в светло-сером твидовом костюме и белой рубашке с красным галстуком. Губы крепко сжаты, бесцветны. Петр встретился с ним взглядом и понял, что тот прибыл неспроста. Все время чего-то ждал. Хотел что-то услышать. Возможно, даже приготовил определенный план действий, который собирался осуществить, и сейчас терпеливо и уверенно слушал выступающих, зная, что, сколько бы они ни говорили, сколько бы ни называли правильных или неправильных вещей, уже ничего нельзя изменить. Нельзя скрыть факты некачественной работы, нельзя оправдать пассивность руководства в обеспечении стройки нужными материалами, нельзя видеть вещи в том радужном свете, в каком их видели почти все выступающие. А раз так, то есть все основания поставить вопрос о виновниках такого положения вещей. И прежде всего — о главном виновнике — бригадире.

Петр догадывался о приблизительном ходе мыслей Гурского. Он понимал, что Гурскому нужна помощь, толчок, что он весь нацелен на действие и что все в конце концов упирается сейчас в него, в Петра Невирко. Как он скажет, так и будет. Выступать против своего старшего друга Алексея Платоновича Петр не собирался. Он с самого начала, еще там, на пикнике, воспринял требование главного инженера как дикую нелепость, как что-то унизительное, циничное и наглое. Но сейчас он не мог скрыть от себя и другого: того ощущения самодовольства, которое появилось от сознания своей значимости. Не мог он не испытывать и удовлетворения от мысли, что вся хитроумно выстроенная система Гурского, все его далеко идущие планы и расчеты, в сущности, зависят от него, Петра, от его слова, от его решимости. «Только напрасно ты приехал сюда, Максим Каллистратович,— с глухим злорадством думал Петр.— Ничего такого я о Бате не скажу. Мы его в обиду не дадим».

Окинув взглядом помещение бытовки, уставшие лица рабочих, Петр посмотрел на Алексея Платоновича, сидевшего с опущенными плечами и слегка склоненной набок головой. От внимания Петра не ускользнуло, что секретарь парткома время от времени поглядывала на бригадира и почему-то каждый раз, взглянув на него, торопливо что-то записывала в блокнот. Найда был членом парткома, умел выступать хлестко, решительно, не скупясь на меткие эпитеты, порой даже весьма ощутимые для отдельных товарищей. Что она там записывала? Видно, и ей хотелось услышать слово бригадира? И вдруг Петр с предельной ясностью представил себе смысл возможного выступления Алексея Платоновича. Он ведь может напомнить о ночном аврале. Он вспомнит о его, Петровом, «марафоне», халтуре и недоделках. Найда был нетерпим к плохой работе, никому не прощал неряшливости, непрофессионализма, неумения и, естественно, не простит этого и Петру. Подумав так, Петр на какое-то мгновение не то чтобы пожалел о своей решимости не уступать Гурскому, но испытал легкую жалость к себе, какую-то незаслуженную обиду. Этот хитрец Гурский только и ждет слова Петра, так и стелется перед ним, а Найда будет его карать, распинать и срамить перед всеми. Найда даже не догадывается, сколько всяческих благ посулил Петру Максим Каллистрато-

вич и какой ценой заплатил Петр за свою верность Бате.

Но по мере того как обсуждение производственных вопросов приближалось к концу и чувствовалось, что собрание кончается, Петр убеждался в том, что Найда решил на этот раз пощадить его. Тот сидел молчаливый, с неподвижно устремленным вперед взглядом и будто бы даже не слушал выступающих. И на Чернявскую не обращал внимания. Петру стало легче. Головомойки не предвидится, все кончится хорошо.

В этот момент раздался голос Гурского:

— Неужели, товарищи, у вас нет трудных проблем и все так гладко?

Собрание зашумело, заволновалось.

— Проблем навалом! — бросил один из молодых монтажников, сидевший в неудобной позе на подоконнике.

— Я о них не слышал,— обернулся к нему Гурский.

— И не услышите. Ведь мы — передовая бригада.— Парень ухмыльнулся с видом лукавым и многозначительным, будто намекая на то, что об этих проблемах всем давно известно.

Гурский быстро переглянулся с Чернявской, затем с горькой улыбкой произнес:

— Видать, у вас критика и самокритика не в почете, товарищи. А жаль! — Его темно-карие глаза скользнули по лицам рабочих и остановились на Петре.— Прав ли я, товарищи?

Петр понял: «Он ждет моего слова. Уверен, что я готов на все. А черта лысого не хочешь?..— Стало вдруг неприятно, что Гурский так выразительно посмотрел на него, так откровенно дал ему понять, что он, Петр, должен выполнить его требование.— Нет, мы своих не продаем. У нас не такие правила...»

— Да, плохо у вас с критикой,— понизив голос, повторил Гурский.

И тут поднялся Саня Маконький: высокий, лицо бледное, в глазах — решимость.

— Говорят, что нет у нас проблем...— как бы у самого себя спросил молодой рабочий. Его взгляд отыскал Гурского.— Мне кажется, главный инженер имел в виду другое: кто виноват в том, что у нас есть нерешенные проблемы?

— Абсолютно верно,— согласился с ним Гурский.

— Вот-вот, надо искать виновников. Эти проблемы существуют не сами по себе. Они за людьми ходят. Выпил водитель чарку-другую, утром его не пустили на линию, и уже мы тю-тю! — в простое. Недодали в раствор цемент нужной марки, панельки пошли хрупкие, ломаются, крошатся. Верно я говорю?

С мест раздались одобрительные возгласы. Начался тот разговор, которого все ждали. Чернявская принялась записывать в блокнот выступление Маконького.

— И наконец, качество. Самая трудная из всех проблем. А трудная потому, что решать ее некогда. Потому, что нашему звену, к примеру, не о качестве нужно думать, а о количестве. А раз мы думаем только о количестве, то и получается...— Саня посмотрел на Гурского с болезненным сожалением,— получается, товарищ главный инженер, халтура. Или почти халтура.

Все тоже почему-то обернулись к главному инженеру. Смотрели недружелюбно. Почти враждебно. Начальство, дескать, виновато. От начальства все приказы, все наставления. Саня, устремив взгляд на Гурского, молчал. Никогда раньше он никого не критиковал, никогда не бросал упреков в адрес старших. Был прилежным и аккуратным в работе, ни на кого не таил зла. А вот попробовал выступить, и сразу такое...

— Я, товарищи, не о том... Вы меня простите, товарищи!.. Совсем не о том...

— А о чем же?

— Говори по существу!

— От кого идут эти проблемы?

Саня вдруг замолчал. На его мальчишеском, со светлыми тонкими бровями лице появилось выражение дерзкого упрямства. Он устремил взгляд на Невирко — взгляд жесткий, почти с вызовом. И светлые брови его сошлись на переносице. Вот о ком он хотел говорить. Хотя и трудно, горько, нестерпимо, но он хотел говорить о Петре Невирко. О своем звеньевом, о своем товарище.

— Я думал, ты сам выступишь, Петр...— с трудом начал Саня Маконький.— Нехорошо вышло, не по-товарищески... Уехал, бросил смену, никому ничего не сказал... А без тебя совсем было плохо... На последнем этаже, Петя... Спешили, ночная работа, сам знаешь. По-

том пришел к нам Алексей Платонович, тоже всю ночь вкалывал, и Одинец с ним, и крановщик...

— Что ты несешь? — удивленно, почти шепотом проговорил Невирко.

— То и несу! — огрызнулся Саня Маконький.— То и несу,— повторил он с отчаянной решимостью.— Знаешь сам, чего мы там настроили за последние дни. В «тройках» сплошные трещины, по нивелиру не сходится. Гнали, чтобы быстрее закончить... Победители соревнования! Если бы Алексей Платонович не пришел... А-а! — махнул он рукой и опустился на стул.

Петра будто обухом по голове ударили. И в груди заныло-заныло. После него, значит. После него... «Пора на спокойное местечко старику». Это Гурский тогда в автобусе сказал. Конец, мол, твоему Бате... Уйти бы прочь... Чтобы не видеть, не слышать... Если бы сидел возле двери, было бы проще... Если бы ближе к двери...

Наступило долгое молчание. Молчал с усталым и все с тем же отрешенным видом Алексей Платонович, молчал председательствующий Непийвода, молчал главный инженер Гурский, лицо которого стало пепельно-серого цвета. Молчание становилось тягостным. И тогда взял слово Одинец:

— Короче говоря, товарищи, договорились. Нет времени думать о качестве. Думаем только о количестве, как заявил Саня. Спасибо тебе, Санюша. Открыл нам глаза. И за то спасибо, что похвалил Алексея Платоновича. Но только ты, Саня, не прав, что у нас нет времени думать о качественной работе. Мне кажется, кое у кого не хватает другого. Совести! Рабочей совести! Я хочу сказать о Петре Невирко. Мастер высокого класса, умеет вести монтаж, у начальства в почете, за свое звено душой болеет. А вот в трудную минуту не хватило ему выдержки. Сорвался. Своих товарищей оставил. В самый ответственный момент!

Петр сидел как потерянный. Не мог поднять глаз от стола. Во рту пересохло. Совсем недавно он воображал себя спасителем Найды, почти героем, решившимся на открытый вызов Гурскому. Он не только рассчитывал на сочувствие товарищей, на поддержку Алексея Платоновича, Сани Маконького, Виталика и Одинца, но и полагал, что все они единым фронтом выступят против главинжа. Действительно, он в ту ночь уехал. Бросил своих. Исчез,

испарился. Но куда уехал? Разве они знают! Если бы представили себе, какая это была «поездка»! Какая это была ночь! Цемент, лопаты, ругань, злоба...

Нужно было все объяснить. Дальше отмалчиваться невозможно. Никто ему не поможет — только он сам. Ведь он в их глазах — трус, капитулянт. Но чтобы оправдаться, нужны факты. Реальные, железные, неопровержимые. Чтобы оправдаться, следует сказать, кто послал его в эту ночную поездку, чье задание он выполнял. Ведь утром был звонок. Потом была машина. Потом...

Петр хотел встать. Сейчас он все объяснит, и его поймут. Здесь присутствует товарищ Гурский, здесь сидит авторитетнейший человек, который оказался вместе с ним околпаченным этим ловкачом Бовой. Одно слово Гурского — и все станет ясно.

Гурский! Максим Каллистратович! Петр, вытянув шею, начал искать глазами Гурского. Нужно сделать ему знак, напомнить о себе, позвать, закричать...

Гурский встал. Корректный, сдержанный, немного усталый. Он, казалось, услышал душевный зов Невирко. Своего молодого друга Петра Невирко. Того самого Невирко, с которым намеревался работать долгие и долгие годы.

— То, что мы здесь услышали, для меня лично огорчительно вдвойне,— начал он не спеша, взвешивая каждое слово.— Плохо, что у нас еще возможны подобные случаи. Но еще хуже терять товарища. Да, да, терять товарища! Ведь мы, по существу, потеряли нашего товарища. Мы дали ему скатиться в трясину эгоизма, своекорыстия, мы проглядели тот момент, когда он связался с недостойными людьми.— В комнате зашумели, послышались недовольные голоса рабочих. Гурский почувствовал эту реакцию и тут же смягчил тон.— А ведь я возлагал на Петра огромные надежды. Не правда ли, Петр? — послал он через головы полный горечи взгляд на Невирко.— Думали, бригадиром будет, кончит институт, защитит смелый проект. И вдруг отвратительная история с этой дачей!

— Какая история? — крикнул кто-то из задних рядов.

Гурский патетически развел руками:

— Собственно... в точности мне не известно. Пусть он объяснит сам. Не хочу наговаривать на парня, но слышал...— Гурский взглянул с неподдельной искренностью

на Невирко,— ты сцепился на какой-то даче с хулиганами. Скажи, Петр, что произошло? Мы поручили тебе проконтролировать доставку цемента нашим субподрядчикам, а тебя вон куда занесло! — Гурский увидел побледневшее лицо Невирко и быстро перешел на отеческий тон: — Я уверен, что история пустяковая. Раздувать ее не следует. Но и Петру Онуфриевичу мы должны сказать: дисциплина есть дисциплина! Труд каждого и труд коллектива — единое целое. Вот почему я так горько воспринял сейчас...

Невирко сорвался со стула. Казалось, еще мгновение — и он бросится на лгуна и предателя. Но холодный голос рассудка сдержал парня. «Тогда все пропало! Тогда ничего не докажу!»

— Товарищ Гурский! — произнес он внезапно охрипшим, чужим голосом.— Вы правы. Дело это пустяковое. А мне, дураку, хорошая наука будет...

Председательствующий, по-видимому, что-то почувствовал:

— Даю слово Петру Онуфриевичу. Для справки, так сказать.— И глянул на него выжидательно.— Ну, говори!

Петр уставился в потолок. Вертел в пальцах сигарету, на щеках его перекатывались желваки. Люди начали переговариваться. Непийвода помрачнел:

— Это как же тебя понимать? Почему молчишь?

— А никак,— ответил, криво усмехаясь, Петр.— Следствие по делу о дачах не закончено. От последнего слова обвиняемого отказываюсь.

— Издеваться надумал?

— Никто не издевается,— с тоской в голосе бросил Петр.

— Ну, знаешь... Мы таких видели! — гневно произнес Непийвода и начал нервно перекладывать на столе бумаги. Потом уперся кулаками в стол. Лицо его залилось густой краской.— Мы, если хочешь, и на дверь можем указать.

— Да? — совершенно неуместно переспросил Петр. Окинул тяжелым взглядом заполненную рабочими комнату, пожевал губами, зачем глянул с горечью на Непийводу и сказал едва слышно: — Вас понял. В бригаде мне не место. Подаю заявление об уходе! — И быстро вышел из прорабской.

Долго бродил потом Петр по городу. Был словно в

угаре. Незаметно подкрадывался май, деревья стояли кружевные, опушенные нежной листвой. Какие-то девушки смеялись возле автоматов с газированной водой, и от них веяло молодостью, беззаботностью. Припомнилось, с какой грустью вчера в лесу смотрела на него Полина. Будто предчувствовала, что так случится. Или даже была уверена, что так, а не иначе. Все это знали, всем было ясно, и только он, наивняк, полагал себя счастливым, только он не видел надвигающейся беды. И эти дурацкие Виталькины намеки! Ну да, Виталька. Намекнул ему, что он, Петр, ищет легких путей в жизни. Легких путей! С монтагой и нивелиром — легких путей! Ради кого? Слепцы, безжалостные слепцы и завистники! Если бы он хотел легких путей, получил бы все сразу. Продал бы всех сегодня и получил...

Непостижимым образом он очутился возле Полининого дома, простенького пятиэтажного здания уже устаревшего типа... Он же вовсе не собирался заходить в этот дом, но что делать! Почему-то ноги сами принесли его сюда. Проведать бы ее, ой как хочется проведать, постучаться в дверь на третьем этаже. Зайти в уютную комнату. Но, может быть, Полина с моряком. Вдруг у нее гость? И как раз в эти минуты попивает себе чаек. Рослый... в офицерском кителе... Он уже чувствует себя здесь как дома, хозяйничает на кухне, моет посуду, выносит мусор... Так зримо все это представилось Петру, что даже дыхание перехватило, и он почувствовал невероятную ревность. Пускай распивают чаи, а он все равно зайдет!

За дверью послышались торопливые шаркающие шаги, щелкнул замок, и в дверях появилась мать Полины: сгорбленная, худая, с гладко причесанными седыми волосами. Как-то даже не подумал о ней раньше, забыл, что она приехала из села к дочери за младшим сыном. Разглядывала его с удивлением и, как ему показалось, настороженно, почти враждебно. Зачем, мол, явился! Были еще незнакомы, но она, верно, слышала о нем от дочери.

— Поля на родительском собрании,— проговорила тихим, усталым голосом.

— А... скоро вернется? — спросил он.

— Кто его знает,— пожала плечами мать.— Теперь подолгу сидят. Саша болел, много пропустил, не по всем предметам у него оценки...

— А вы — мама? — Петр заставил себя улыбнуться,

и женщина тоже улыбнулась снисходительно: как будто непонятно, кто она.

Она стояла в дверях, не приглашая Петра войти. Стояла упрямо, неуступчиво, и он подумал, что мать, конечно, все уже знает: о предстоящей свадьбе, о моряке-офицере.

— Извините,— сказал он сдержанно и стал спускаться по лестнице. В это время хлопнула входная дверь. Петр невольно замедлил шаг: не она ли? Глянул вниз. Между лестничными маршами действительно мелькнула ее яркая косынка.

Увидев Петра, Полина радостно улыбнулась.

— Учительница Саньки — чудо! — сказала она, открывая ключом дверь.

Она вдруг заметила, что у Петра измученное, несчастное лицо. Спросила: что случилось? Не сдал зачета? Поссорился с профессором?

— Ушел из бригады,— глухо проронил Петр.

Полина с недоумением посмотрела на него. Ушел из бригады?

Она схватила его за руку, повела в комнату, усадила на тахту. Принялась расспрашивать, требуя полной откровенности.

— Петенька, скажи мне правду... Сам-то как считаешь? Что ты думаешь?

— Кому нужно мое мнение?

— Мне, Петя. Я должна знать.— Она говорила требовательно и настойчиво. Русая прядка волос упала ей на лоб, и Невирко невольно задержал на ней взгляд. Конечно, он мог бы рассмеяться язвительно. Но взгляд светло-карих глаз — сочувственный и дружелюбный. Заходящее солнце било прямо в окно. В комнате все было окрашено в розовый цвет. Лицо Полины тоже порозовело. И среди этой сплошной розовости единственная реальность, которую он сейчас воспринимал,— это вопрос: «Сам-то как считаешь?» Она, пожалуй, одна-единственная имела право задавать ему вопросы. Он пришел к ней, как к самому близкому другу. И если душа в тяжелую минуту тянется именно к ней, то, наверное, нечего таиться.

— Я не знаю...— ответил он упавшим голосом.

Что он вообще знал? Как он мог объяснить ей, что произошло? По-всякому случалось. Работал, не щадя сил.

Так в чем же он виноват? Разве старался для себя? Разве не думал о Найде, о ребятах?

— Выходит, я опростоволосился! — молвил он удрученно.— Когда одному человеку выпадает слишком много, ему начинают завидовать. Даже Найда мне завидует.

— Не думаю, чтобы Найда мог завидовать,— недоверчиво покачала головой Полина.

— Если бы ты видела, как он отмалчивался сегодня! Простил и отвернулся.

— Ошибаешься. Он никогда от тебя не отворачивался. Пойдем в кухню.

Сели возле кухонного столика. Тесно, но уютно. Большой белый чайник, белая клеенка, белые, выложенные кафелем стены. Полина налила чай, достала печенье. Молча пила чай и ждала.

— Я, конечно, попался,— заговорил Петр.— Гурский поймал меня на крючок. И ушел в кусты.— Он рассказал ей об истории с цементом, о поведении Гурского на собрании.— Я бы его, гада, вывел на чистую воду! Врет прямо в глаза! Теперь я вижу, что он за тип.

— Ты еще многого не видишь,— вздохнула Полина.

— А сколько он мне обещал! Будем работать вместе! Я вас давно заметил, Петр Онуфриевич!..

— Тебя заметили люди: Алексей Платонович, Одинец, партком.

— Замечали, да не пускали вперед.

— А тебе, Петюня, трибуны захотелось?

— Леший с ними! — в сердцах бросил он и даже стакан отодвинул от себя.— Я за свою бригаду болел. Мне эта бесхозяйственность поперек горла. Думал, пойдет теперь все как полагается, по высшему классу, лучшие панельки, лучшие материалы нам.

— Петя, Петя! — с невеселой улыбкой промолвила Полина, встала, налила еще чаю и вдруг, потянувшись через стол к Петру, ласково погладила его руку.— Ребенок ты мой большой! Никуда ты не уйдешь от этих людей.— И озарила его тихой, прощающей улыбкой.— И от своей бригады никуда не денешься.

В тот вечер он ушел от Полины немного успокоенный, с оттаявшим сердцем. Полегчало от ее слов, от ее обещания быть ему другом. Забыл он на время про моряка-офицера, забыл, как сухо был встречен в дверях матерью Полины. И проникся чувством, будто для девушки

он вовсе не чужой. Словно у нее он может найти пристанище, надежное прибежище и даже свой дом.

На город опустились теплые весенние сумерки. Бренчали гитары, раздавались песни. Возле гастронома Петр увидел сгорбленную знакомую фигуру. Дед Жугай, сторож с их стройки, добрая, честная душа. Почему-то Петр обрадовался сейчас этой встрече. Пошли вместе. Остановились около маленького одноэтажного домика.

Рослая широколицая старуха встретила их на пороге. Вошли в горницу — круглый стол, матерчатый абажур над ним, высокий старинный комод в углу.

— Вот тут мы и живем...

— Да, домик неплохой. Садик, вишенки свои,— заметил Петр.

— Тут у нас десять душ прописано. Зятьев трое, внуков и внучек — как котят.

— Значит, имеете право на новую площадь.

— Имел бы, если б не...— запнулся Жугай.— Ты же мне всю обедню испортил.

Петра словно холодной водой окатило. Ну и денек нынче выдался! В бригаде как осы накинулись, дед бог знает что несет. У всех Невирко стоит на пути.

— Так, говорите, обедню вам испортил? Что ж, тогда извините. Пока в шею не вытолкали — пойду.

— Не-е! — протестуя, замахал рукой Жугай.— Должон все знать, раз пришел. Садись, садись!

— Сажусь.

— Домик тебе мой нравится. Садик, вишенки, говоришь. А может, и дед хотел бы пожить в новенькой квартирке? Может, и деду ванна с туалетом сгодилась бы? Так не дают. Списки не подошли. Легулярно надо, а не по блату, как некоторым.

Говорил он все путаней, перескакивал с одного на другое, делал странные намеки. Что-то наболевшее, видно, жгло ему душу, но он избегал откровенного разговора. Пока само не вырвалось нечаянно:

— Ты зачем, дурень этакий, привел тогда девок на верхотуру? Зачем крутили там музыку?

— Вам за это влетело?

— Не мне, а тебе.

— Так чего же вы беспокоитесь, дедушка?

— Трухлявая твоя башка! — стукнул себя по лбу выразительным жестом старик.— Мое дежурство было. Ме-

ня товарищ Гурский и вызвал на ковричек. Бумажку подсунул, пиши, дескать, товарищ вахтер, какие там безобразия творят хлопцы на вверенном тебе объекте. Все, говорит, пиши. А чего не осилишь, я продиктую: такого-то числа Петр Невирко и Виталий Корж подпоили беспутных девок, привели в бессознательном состоянии на стройку и там хотели их крепко обидеть... Что я и подтверждаю собственноручной подписью. Ну, сказал он мне все это и ждет — удивляется, чего я молчу, не начинаю писать. А после этак спокойненько еще и напоминает: дело это, конешно, пустяковое, мы его в ящичек спрячем, зато с вас снимется подозрение на тот случай, ежели милиция шум поднимет. Нам ваша честь дорога, седины ваши. Скоро идете на пенсию, заодно и квартиру получите в новом доме. Раскусил, Петр Онуфриевич?

Невирко машинально разглаживал ладонью скатерть на столе. Не сомневался, что старик говорит правду. Да, была милиция, была анонимка и та отвратительная сцена оправдания... Только что он говорит дальше? Не писал этой пакости? Отказался наотрез? Ага, у старика совесть сработала. Не продал душу дьяволу. Вышел из кабинета, а Гурский ругнулся ему вслед и пригрозил: «Кому хоть слово скажете — будете ждать квартиру сто лет!»

— Не бойтесь, я вас не выдам,— с тяжелым сердцем пообещал Невирко.— Только почему вы так поздно рассказали мне об этом?

— Виноват, Петя,— сокрушенно вздохнул Жугай.

— Спасибо вам за все,— поднялся Петр.

— А может, пропустим для настроения по чарочке?

— Мне, дед, теперь и бочка не поможет. Бывайте.

Петр открыл тяжелую дверь и вышел в теплую весеннюю ночь.

* * *

Май сорок пятого года застал Найду под Прагой. Командованию было известно, что он знает немецкий язык, обычаи и характер народа, поэтому в штабе армии ему предложили возглавить одну из комендатур на немецкой земле.

— У меня просьба, товарищ генерал,— несмело проговорил Найда.— Прошу направить меня в Визенталь. Это под Лейпцигом.

Генерал наморщил лоб, как бы что-то вспоминая.

— Надеетесь отыскать след Звагина?

— На это я надеюсь мало. Меня спасла немецкая девушка, она оттуда родом. Была подпольщицей, спасла много наших. А вдруг встретимся?

— Пусть будет Визенталь,— согласился генерал.— Только с уговором: если вам удастся узнать что-либо об инженере Звагине, сообщите мне. Мы с ним учились в одном институте.

Найда задумался. Генерал был симпатичный, немолодой, с усталым желтоватого оттенка лицом. Если он был знаком со Звагиным, значит, может что-то сделать для семьи инженера.

— Товарищ генерал, Звагин просил меня разыскать его семью. Жену Екатерину и дочь Ольгу. Помогите мне в этом деле, если можно.

В то послевоенное время, когда миллионы людей, оторванные от родных мест, искали друг друга, просьба Найды была не из легких. Он, разумеется, и сам намеревался по возвращении на Родину выполнить последнюю просьбу Звагина. Но вот опять ждала его Германия, Визенталь, годы и годы. Где они теперь, жена инженера и его дочь? Как пережили войну?.. Генерал, подумав немного, сделал в своем блокноте какую-то запись, поднял глаза на Алексея Найду и уверенно сказал:

— Разыщем. Обещаю вам.

А в Визентале — весна. Чистые, аккуратно подметенные улочки, из кирки слышна органная музыка. Может, здесь и не слышали о войне? Вывеска над аптекой, узкие окна клиники, швейцар в вестибюле. Где теперь хозяин? Где старик Шустер? «Ах, господи, люди голову потеряли, никто ничего не знает, и никакого Шустера вы не найдете, господин майор». Швейцар виновато моргал красными веками, тряс белой головой, разводил руками: вот, мол, все, что осталось от этого заведения. «Доктор выехал на Запад, сын неизвестно где, больные без присмотра, без питания, без медикаментов».

Нужно было наводить в городке порядок. Комендатура стала центром всех административных, хозяйственных, культурных дел, в комендатуру шли все, несли свои жалобы, свои горести и даже свои обиды на войну.

— Мой муж погиб в последний день в боях под Берлином,— говорила Найде седовласая немка, прикладывая

к глазам платочек.— Его взяли в фольксштурм. Я говорила: Карл, не ходи! Я спрячу тебя, Карл, ведь у тебя дети, у тебя двое внуков. Но он пошел, потому что не смел нарушить приказ. Мы, немцы, никогда не нарушаем приказов.

— Этим он подписал себе смертный приговор,— ответил Найда и тут же пожалел, что говорит слишком резко.— Вам диктовали преступные приказы, и вы не задумываясь выполняли их.

— Но простите! Кто мог нам объяснить, какие приказы преступны, а какие нет? Власть есть власть.

— Вы, очевидно, верующая, не правда ли? — полюбопытствовал Найда.

— О, конечно! Все немцы верующие.

— Между прочим, не все. Гитлер и его банда ни во что не ставили религию. Большинство священников подверглось репрессиям. Вы, верно, слышали о трагической судьбе пастора Нимеллера. И тем не менее вы покорялись нацистскому режиму. Не только ради порядка. Нет! Приходите сегодня в кинотеатр, там товарищ из Берлина расскажет вам, к чему привело ваше слепое повиновение.

Женщина задержалась в дверях. На лице ее были написаны нерешительность и смущение.

— Скажите... а пенсию мне, как вдове, будут выплачивать?

— По крайней мере, советское командование пенсию выплачивать вам не собирается. Ваш муж стрелял в наших солдат.

— Так,— заторопилась женщина, вытирая глаза платочком.— Я не имею права. Я все поняла.

— Эти вопросы будут решать немецкие власти. Подождите немного.

Начиналось лето, хлопот в комендатуре все прибавлялось, война, откатившись в прошлое, еще неотступно жила в человеческих сердцах и человеческих судьбах: не хватало продовольствия, горючего, лекарств. А сколько сирот, бездомной детворы, искалеченных людей, безработных... Это был народ, которому будто бы в отместку за бесчинства нацистов приходилось нести тяжкое бремя расплаты. Единственным спасительным маяком в этом хаосе была Советская Армия, были люди в зеленых гимнастерках, с внимательными, понимающими глазами.

Люди, в которых еще недавно стреляли немецкие солдаты из немецких автоматов и немецких пушек и которые тем не менее пытались облегчить, чем могли, нелегкую судьбу немецкого народа.

Найда, загруженный делами, не забывал про Густу Арндт. Начал разыскивать ее сразу же по прибытии в городок. Бургомистр Визенталя, старый социал-демократ с белыми вислыми усами, в старомодном котелке, с палкой в руках, рассказал ему, что кое-что он о ней слышал: кажется, год или два тому назад она жила на хуторе, в лесу под Ошацем, там, где нацисты построили свой охотничий замок. Вроде бы она скрывалась там от гестапо. Но ее, кажется, обнаружили. Пытали. Теперь она в каком-то госпитале.

Итак, она исчезла, не оставив никаких следов. А ведь говорила, что после войны они обязательно встретятся в ее родном городке, в ее Визентале.

К зиме дела ухудшились. Стало еще труднее с продовольствием, надвигалась угроза голода и эпидемий.

Сожженная, разоренная фашистами Советская страна делала все возможное, чтобы помочь немцам. Разве эти женщины и дети виноваты в том, что натворили в Европе Шустеры? Пожалуй, в истории не было случая, чтобы страна, претерпевшая столько ужасающих страданий, насилия, грабежей, надругательства, выказала сострадание к своему вчерашнему поверженному врагу.

Найда дневал и ночевал в комендатуре. В кабинете стояла раскладушка — прямо возле телефона, тут же полотенце, мыло, зубная щетка. За стеной помещался начальник административной службы капитан Крушинин.

Вместе с местными немецкими властями открыли школу, начали приводить в порядок старый сиротский дом — малышам необходимы были питание и заботливый уход, кроме того, требовалось обеспечить дом топливом.

— Горькая ирония судьбы,— заметил Крушинин.— Мы, кого фашисты хотели лишить будущего, больше всего заботимся о немецких детях.

— Мы за этих малышей в ответе не только перед немецким народом. И перед своим тоже,— строго сказал Найда.— Нам ведь с ними строить новую жизнь.

Однажды под вечер к Найде в комендатуру явился низенький худощавый человек в длинной, без погон шинели. Он мучительно кашлял, хватаясь за грудь и

синея лицом. Сказал, что он — часовщик, его фамилия Вилле. Герман Вилле. Только что освободился из концлагеря. До тридцать третьего имел партийный билет.

— Значит, вы — тельмановец, коммунист? — обрадовался Найда и поднялся навстречу гостю.

Но тот смущенно покачал головой. Нет, в сущности, коммунистом не был, то есть не был настоящим коммунистом, ничего не успел сделать для партии. Только получил билет, как нацисты объявили, что все легально зарегистрированные члены компартии останутся на свободе и по отношению к ним никаких репрессий применено не будет. Нация, так сказать, проявит к ним снисхождение. Вот он и отдал свой билет. Позорно, трусливо, от страха за свою жизнь, за жену Веронику и за своих детей. Какой же он коммунист. Только хотел стать...

— Вас все-таки отправили в концлагерь,— сочувственно посмотрел на старого немца Найда.

— Это случилось позже, когда забирали всех, кто был под подозрением.

— Значит, за прошлое?

— За прошлое.— Он закашлялся, прижав ладонь ко рту.— Во время восточной кампании я бежал из лагеря, некоторое время скрывался и снова очутился в лапах гестапо. Меня собирались расстрелять, но почему-то оставили в живых. Возможно, потому, что мой брат воевал у Роммеля в Африке и имел высокие награды.

— Вам повезло так же, как мне,— доброжелательно проговорил Найда.— Я знаю, что такое нацистское «перевоспитание» в лагере. Начинайте новую жизнь. Беритесь за дело.

Посетитель снова закашлялся, и Найда вдруг представил себе его в полосатых лохмотьях, на концлагерном аппельплаце, под холодным дождем. Ему стало совестно, что он так официально принимает бывшего политического узника. В комнате было прохладно, морозные узоры белели на стеклах, с самого утра мела поземка, и Найде захотелось отогреть, чем-то ободрить этого измученного человека с острым бледным носом и запавшими щеками. Найда позвал солдата и попросил принести чаю, горячего, сладкого, чтобы человек согрелся и почувствовал себя увереннее.

Немец с жадностью пил из алюминиевой кружки горячий чай, дул на него, причмокивал, но в потоке слов, в

быстрой речи его сквозили удрученность и страх, а в глазах стыла глубокая скорбь. Он рассказал, как ворвался в их лагерь советский танк; никто еще не ожидал прихода русских, эсэсовцы не успели удрать, и их, тепленьких, прямо в казармах взяли «геноссе зольдатен», а шарфюрера Мильмана, толстую свинью, вытащили прямо из вещевого склада, где он пытался переодеться в форму рядового охранника. Хорошо, что он не успел удрать, этих зверюг надо просто вешать. Без суда вешать, и точка! Чтоб не оскверняли больше землю такие ублюдки, как Шустер...

— Кто, кто? — переспросил Найда.

— Оберштурмбанфюрер Шустер,— гневно произнес немец.— Отсюда родом, из нашего Визенталя.

— Я его знаю,— заволновался Найда.

— Прошу прощения, господин майор. Вилли Шустер был комендантом...

— Да. Шустер — сын Генриха Шустера, владельца больницы, он сбежал на Запад.

— К американцам,— Герман Вилле перешел на таинственный шепот,— и вскоре туда же переберется его сынок.

— У вас такие точные данные? — изумился Найда.

— В том и беда, товарищ майор,— вздохнул, потемнев лицом, собеседник.— Слишком много знать — всегда большая беда.

И принялся рассказывать, какие ходят слухи об этом негодяе. Жаль, что его до сих пор не удалось поймать. В этих краях он вырос, тут его семья владела обширными лесными угодьями, и он наживался на егерском промысле, выстроил собственный ресторан под Ошацем, массивный особняк, куда съезжались наци со всего рейха, пьянствовали там с женщинами, устраивали кутежи со стрельбой и фейерверками. Правда, позднее, после Сталинграда, были запрещены такие сборища, чтобы не осквернить «священной памяти погибших героев», как выразился в одной из радиопередач Геббельс. И Шустер куда-то пропал, а быть может, его перевели под Берлин, в тамошний лагерь. Уже перед самым приходом русских пошли слухи, что он снова появился в этих краях. Сначала заезжал в клинику к папаше, потом ехал в лес, пропадал там несколько дней, затем возвращался, наведывался снова к папаше в клинику и после этого отбывал в Берлин.

— Загадочный тип,— обронил Найда.

— Что-то в этом действительно необычное. Он был влюблен в женщину, которая не покорилась ему.

— Не в Густу ли Арндт?

— Вы и ее знаете?

— Очень хорошо.

— Тогда... я хочу предупредить вас... Имейте в виду... Шустер может явиться сюда за своей дочерью!

На лице старого человека был написан страх. Он, боязливо оглядевшись, перешел на шепот: надо спасти девочку. Любой ценой спасти девочку и ее мать. Густа Арндт в лесу... А Шустер в любое время может явиться сюда...

Почему фрау Густа в лесу? И о какой дочери говорит этот немец? Дочери Густы Арндт и нациста Шустера? Не может быть... Тогда почему Шустер собирается выкрасть девочку? С какой стати ему рисковать жизнью, являясь в город, где расположен советский гарнизон? Мысли эти проносились в сознании Найды, и давнее, почти забытое снова нахлынуло на него со всей неотвратимостью.

— Вы говорите: за своей дочерью,— сказал Найда.— Вероятно, у штурмбанфюрера была дочь, которую он отдал в приют.

— Да... его дочь... Но отдала ее в приют фрау Густа.

— Зачем же спасать ее от родного отца?

— Чтобы он не увез ее на Запад.

— Ясно.— Найда прошелся по комнате, остановился перед окном.— Фрау Густа скрывается в лесу, дочь Шустера в приюте... Что-то непонятно тут.

Немец подошел к нему и встал рядом:

— Господин майор... я должен вам все рассказать до конца... Дело в том, что я вместе в фрау Густой и ее мужем Ингольфом Готте скрывался на лесной вилле. До тех пор, пока нас не выследило гестапо. Я снова оказался в концлагере, где пробыл до прихода русских. На этих днях меня разыскали люди Шустера. Защитите меня! Я хочу жить!.. — Он со слезами на глазах схватил майора за руку.— Они угрожают мне... Они требуют от меня помощи...

— Какой? — с раздражением оборвал его Найда.

— Похитить дочь фрау Густы из дома сирот.

— Вы говорили: дочь Шустера.

— И Шустера, и фрау Арндт.

— Они были женаты?

— Нет...— внезапно съежился и будто стал меньше ростом Герман Вилле.— Я не имею права... Но вы должны знать...— Он будто внезапно потерял голос и охрип.— Фрау Густа родила девочку от штурмбанфюрера Шустера... еще в начале войны... Ингольф Готте хотел в будущем удочерить ее, но погиб от руки нацистов... А теперь Шустер хочет увезти дочь с собой.

Найде вспомнилось бегство из лагеря, вспомнился высокий, стройный Ингольф, обнявший его за плечи и шепнувший в последнюю минуту: «Мы еще встретимся!» Потом они, видимо, поженились... Потом — Ошац, вилла, нападение гестапо, гибель Ингольфа...

— Вы утверждаете, что фрау Арндт не покорилась негодяю? — холодно спросил он Вилле Германа.

— Она ненавидит его! — оживился немец.— От верных людей мне известно... Шустер уже больше года держит Густу под стражей, шантажирует тем, что ославит ее перед друзьями и перед партией. Он до безумия влюблен в нее. Хочет, чтобы они поженились. Но она заупрямилась... Просит только об одном, чтобы он вернул ей дочь, маленькую Ингу. Возможно, Шустер надеется таким образом сломить упрямство фрау Арндт.

— Хорошо,— сказал Найда.— Никуда из Визенталя не выезжайте. Дома телефон у вас есть?

— К сожалению, нет... Но у меня любезные соседи. Они позовут.

— При малейшей опасности свяжитесь с нами.

— К вашим услугам, господин майор!

Немец поспешно вышел из комнаты.

Оставшись один, Найда погрузился в раздумья. Ему представлялись синюшные, осунувшиеся личики малышей из приюта. Которая же из девочек была дочкой Густы? Найда знал почти всех ребятишек, ему даже рассказывали, откуда их привезли. Двух пятилетних мальчуганов нашли на дороге в разбитой машине,— они сидели, закутанные пледами, съежившиеся, перепуганные, позади убитого водителя, который, вероятно, был их отцом. Девочку Эльзу вытащили из горящего дома, где погибла вся семья. Некоторые жили в приюте еще во времена нацистов, с тех пор как начались бомбардировки крупных городов и власти стали отправлять детей в глухие районы,

где им предстояло пробыть до лучших времен, до чудодейственного спасения «тысячелетней империи».

Расположенные неподалеку советские части время от времени совершали глубокие рейды по лесам, забирались в самые опасные районы. Банды были почти истреблены, жизнь возвращалась в мирную колею. И все же обстановка оставалась напряженной: казалось, недобитая гадина заползла в нору и, затаившись, ждет.

Знакомый часовщик больше не появлялся. Найда собирался сам проведать его, разузнать, не показывались ли лесные «гости». И вдруг поздней ночью позвонили в комендатуру: Герман Вилле убит неизвестными на своей квартире. Соседи ничего не знали или боялись сказать правду. Найда понял: Германа Вилле убрали люди Шустера.

— Никого не пускать! — бросил Найда в трубку.— Вызвать полицию. Сейчас подъеду.

«Студебеккер» с солдатами подлетел к маленькому домику на окраине, Найда выставил посты, вошел в квартирку часовщика. Бургомистр и двое полицейских сидели на кухне.

На пороге появился врач в форме вермахта, без погон, с белой повязкой на рукаве. Видимо, из отпущенных пленных или же из какого-то госпиталя. Вытянулся перед советским майором, вскинул руку к фуражке.

— Герман Вилле в тяжелом состоянии,— доложил он картаво.

— Как? — Найда посмотрел на бургомистра, и тот под его взглядом медленно поднялся. Полицейские тоже встали. Герман Вилле, оказывается, жив... Значит, не все еще потеряно.

Шире растворились двери. Санитары выносили на носилках прикрытого одеялом старого часовщика, на пожелтевшем лице которого темными впадинами выделялись закрытые глаза. Он тяжело и прерывисто дышал. Врач пояснил Найде, что две ножевые раны в грудь могли стать смертельными, если бы хоть один удар поразил сердце. Герман Вилле был без сознания, он потерял много крови, и если удастся вывести его из шока, то...

Потерпевшего поместили в открытом кузове военной машины и повезли в советский госпиталь. Найда с офицерами комендатуры осмотрел маленькую, холодную, заставленную старинной мебелью комнату. В углу стоял

рояль, покрытый пылью, на комоде и на подоконниках тоже лежал слой пыли, окна, видимо, не открывались с начала войны. «Будь я следователем, сразу обнаружил бы какой-нибудь след,— подумал с сожалением Найда, оглядывая темную, мрачную комнату, где, казалось, сам воздух был пропитан чем-то тяжелым и мертвенным.— Значит, он не выполнил требования Шустера. И Шустер расправился с ним».

На следующий день Найда посетил сиротский приют. Двухэтажный дом утопал в снежных сугробах. Высокие окна глядели в зимний день расписанными инеем стеклами, какой-то старик, видимо из добровольной охраны, расчищал лопатой дорожку. Войдя в вестибюль, Найда ощутил гулкую пустынность нетопленого сводчатого и полутемного помещения. Ни звука, ни души. Ему даже стало жутковато. Он вспомнил слова старого часовщика: «Шустер может явиться в Визенталь за своей дочерью!»

На втором этаже он встретил худенькую бледную девушку в длиннополом мужском пальто. Сперва она испугалась, но когда узнала Найду, ее серые глаза радостно засияли. К ним не раз приходил русский майор и всегда что-нибудь приносил: хлеб, одеяла, чай.

— Фройлейн, прошу уделить мне несколько минут,— сказал Найда, стараясь говорить как можно мягче.— Принесите мне списки всех детей. У вас есть такие списки?

— Да, конечно,— словно бы обрадовалась молодая воспитательница. Скрылась куда-то и через несколько минут вернулась с толстым, потертым, в кожаном переплете журналом.

— Вот, пожалуйста, господин майор.

Они устроились в столовой у накрытого клеенкой стола. В комнате топилась большая печь, сложенная из кирпичей, железные трубы от нее через отверстие в окне выходили во двор. В полумраке столовой Найда разглядел несколько маленьких, закутанных в разное тряпье детских фигурок. Сидели около печи, у железной трубы. Двое устроились прямо перед дверцей. Все это были малыши лет пяти-шести, а некоторые еще меньше.

— Мы их тут отогреваем,— сказала девушка с грустной улыбкой.— Здоровые играют во дворе, а слабеньких держим возле печки.

Война!.. А ведь для этих детей готовилось «мировое господство». Их отцы сложили головы в чужих землях,

в смоленских лесах, на Волге, в песках Африки. А их дети, отощавшие, голодные, греются у печки, ждут свой скудный обед.

Найда внимательно просматривал списки. Воспитательница четко произносила имена: Моника Бойль, Вильфред Стушке, Аннелизе Орфайге... Еще одна Аннелизе, потом Ганс Киршбаум, Софи Плецдорф... Сколько имен!.. А родители этих детей бесследно исчезли, находились теперь неизвестно где и не способны были защитить своих детей от голода и холода. И стали их дети как листочки на осеннем ветру.

Вдруг Найда вздрогнул: Готте!.. Алексей Платонович провел пальцем по листу, словно боясь, что это имя ему примерещилось, что он не найдет его снова.

— Инга Готте! — проговорил он вслух.

— Да, господин майор,— вежливо ответила девушка.

— Готте... сколько ей лет?

— Совсем маленькая девочка. Пожалуй, около трех лет.

— Кто ее отдал сюда?

— Это... из государственной опеки,— сказала воспитательница.— Не знаю... государственная опека исключала какие-либо объяснения. Возможно — арест родителей, концлагерь, лишение права на воспитание, подозрение в нелояльности к фюреру.

— С мая сорок пятого никто не интересовался ребенком? Никто не обращался к вам с запросом?

— Извините, господин майор, я здесь не так давно,— смутилась девушка.— Фрау Гиммельфарб могла бы вам все доложить, но она... ее вызвали в Берлин в комиссию по денафикации, и она больше не вернулась.

Найда знал, что в Восточной Германии был введен в действие закон о расследовании нацистских и военных преступлений. Созданные по специальному распоряжению комиссии самым строгим образом проверяли всех заподозренных в активной фашистской деятельности и предавали их суду. Видимо, фрау Гиммельфарб была нацисткой.

Он вынул авторучку, подчеркнул жирной чертой «Готте», поставил знак вопроса и восклицательный знак.

— Спасибо,— поднялся он, закрывая журнал.— Телефон у вас есть? Нет? Сегодня же прикажу провести. К детям не пускать никого из посторонних. Наши патрули

будут держать ваш дом под постоянным контролем. Ни одного постороннего человека!

Сорок пятый год завершился жестокими и непривычными для Германии морозами и буйными метелями, чем-то напоминавшими Найде его родные украинские зимы, когда он, мальчуган из рабочей семьи, бежал в школу по Шатиловке: улицы заметены сугробами, еще темно, возле Сумского базарчика погромыхивают трамваи, а в школьном вестибюле тепло, уютно, шумно. Мать его была учительницей в младших классах, но он не любил ходить вместе с ней в школу, ведь ребята засмеют, достаточно и того, что ей пришлось обучать его, своего маленького упрямца; нередко она ставила ему плохие оценки — за непослушание, за крутой, воинственный характер. Что ни перемена — сцепится с кем-нибудь, ведут его к завучу, матери стыд, не знает, как дальше и урок вести. Он не любил уступать старшим, не привык склонять голову перед обидчиком. Где кого задевают — он сразу же туда, всегда готовый вступиться за товарища...

Происшествие с часовщиком Германом Вилле понемногу забывалось. Всяких иных забот хватало у советского майора, коменданта немецкого городка Визенталя. Навестил старика в госпитале, принес ему немного сахару, положил прямо на одеяло, под руку. Вилле на этот раз был неразговорчив, кашлял потихонечку, но визит майора, видно, тронул его. Он открыл глаза и так печально-печально посмотрел на Найду.

— Кто же это приходил к вам, господин Вилле? — спросил майор.

— Не знаю их... Верно, от Шустера,— еле выдохнул старик. Грудь его была в бинтах почти до подбородка, и от этого шея, торчавшая из марлевой белизны, казалась тоненькой, как у ребенка.— Хотели, чтобы ушел с ними. Сначала выпили, завели разговор про верность нибелунгов...

— Значит, точно от Шустера,— слабо усмехнулся Найда.— Помню я его песенку про «верность нибелунгов».

— Кричали на меня, что я продался красным, что хожу в комендатуру.

— У них что, агентура в городе?

— Тут у них есть свои люди. Они готовы на все.— Голос немца стал жалобным.— Потащили меня к дверям, я закричал... они ударили...

— Не волнуйтесь,— успокоил его Найда.— Мы эту банду скоро выловим. И ваша народная полиция взялась за дело.

— Дай бог, господин майор!

К ним подошел молоденький солдат в сером халате и тапках, рука в гипсе, на перевязи, стосковался, видно, в душных госпитальных палатах.

— Разрешите, товарищ майор? — вежливо обратился он к Найде.— Меня вот тоже, видите, недавно угостили... ихние же субчики.

Найда сочувственно кивнул солдату и попросил его присматривать за раненым немцем. Ведь теперь у них общая цель — строить новую Германию. Солдат все стоял, не отходя, будто у него к майору было какое-то дело.

Найда встал с табурета. И тут же на лице старого часовщика отразился страх.

— Господин майор... господин майор...

— Что такое, господин Вилле?

— Если меня убьют, господин майор... я хотел вам сказать...— Он бормотал неразборчиво, хватаясь за мысль, которая его пугала, а быть может, казалась ему спасительной, он боялся, что его не дослушают, и тогда с ним случится страшное, непоправимое.— Не верьте про Густу Арндт, не верьте ничему...

Найда настороженно переспросил:

— Чему я не должен верить?

— Фрау Густа ни в чем не виновата. Два года Шустер мучает ее в своем лесном бункере...

— Вы в самом деле много знаете, Вилле,— сказал, нахмурясь, Найда.

— Это моя беда, что я много знаю,— простонал старик. Слезы текли из его глаз, и лицо судорожно дергалось. Острый подбородок задрался кверху, кадык тяжело поднимался и опускался. Он бормотал что-то про лесную сторожку, про Ошац, про коричневых бестий... Устраивали там попойки, бесновались но ночам, будто предчувствовали свою погибель, а она ведь и вправду была близко, эта погибель, от нее не убежишь. Мало для них пули, мало петли!..

Морщинистое лицо старика было мокрым от слез, он говорил все тише, словно впадал в забытье, жалобно стонал, молил не трогать его. Ведь он не виноват, что его обманули, он поверил в свое счастье, убежал из лагеря,

вырвался на волю, бродил по всей стране, по всем условленным телефонам искал отзыва на пароль, но везде натыкался на чужих, уже все явки были провалены, все были арестованы, никакого выхода у него не оставалось, хоть бери и топись или отдавайся в руки гестапо. И тогда он направился в Ошац, в глухие леса, где они еще в тридцать втором году собирались вместе у матушки Арндт, у старой лесничихи, дочь которой — Густа — была когда-то надежным товарищем. Последнее надежное прибежище, думалось ему, где можно спрятаться, а быть может, и узнать что-нибудь о своих друзьях. Он же не виноват, что нацисты выследили его, что они шли за ним по пятам, всё знали о нем, каждый телефон прослушивали. И когда он явился в лесную сторожку, те бестии, те проклятые зверюги...

— Вы навели их на след Густы Арндт и Ингольфа Готте? — перебил немца Найда.

— Они пришли за мной, эти псы.— Герман Вилле судорожно глотнул воздух, лицо его посинело.— Ингольф от... отстре-ли-вал-ся... Я то-же имел... оружие... и Гу... Густа то-же...

Он продолжал хватать воздух, уже не в силах договорить, острый подбородок заострился еще больше. Похоже было, что у него обморок. Быстро подошел военврач, подозвал сестру, сказал Найде, что больной нуждается в полном покое, лучше его не трогать, сердце может не выдержать... К нему уже приходили из народной полиции, был следователь, а это слишком для старика, которого так изувечили.

— Он знает что-то очень важное,— сказал Найда военврачу, высокому седоватому мужчине в халате и белой шапочке.— Его жизнь для нас очень важна.

— Мы боремся за каждую жизнь, товарищ майор,— многозначительно ответил военврач.

Когда Найда выходил из палаты, его догнал солдат с рукой на перевязи. Таинственным шепотом сообщил, что этот немец неспроста весь изранен, что, видимо, хранит какую-то тайну, чего-то страшно боится.

— Его преследуют недобитые фашисты,— сказал Найда.

— Нет, он все время во сне... оправдывается, все просит о чем-то.

— О чем именно — не уловили?

— Вчера просыпаюсь под утро, а он как застонет — начал бинты срывать. Я к нему, думал, может, человеку воды подать, санитара кликнуть... Слышу, убеждает кого-то, чтобы не приходили, чтобы не сжигали дома, не трогали детей. О каких это он детях говорил, товарищ майор?

— О немецких,— ответил Найда.— О немецких детях, которых мы должны спасти любой ценой.

— Жаль, товарищ майор, что у меня рука...— сокрушенно вздохнул молодой солдат.— Я бы вам помог.

Найда дружелюбно оглядел сухощавую, в застиранном халате фигуру солдата, глаза его потеплели.

— Думаю, на этот раз обойдемся без тебя,— сказал улыбаясь,— тебе уже домой пора. На родину.

С тех пор Найда не видел старого часовщика. Рассказывали, что, выписавшись из госпиталя, он покинул город. Следы его затерялись. Видно, боялся мести Шустера и его подручных.

На рождественские праздники настала оттепель, потемнели поля, запахло мокрой землей. Жизнь в Визентале понемногу налаживалась, немецкие власти все уверенней брали в свои руки управление хозяйством, занимались трудоустройством безработных и тех, кто возвращался из плена. В сиротском доме уже не страдали от холода — Найдины солдаты набили полнехонький сарай лесным хворостом и сухостоем. Молодая воспитательница, всякий раз встречая «господина майора», приглашала его почаще заходить к ним в гости и сообщала, что дети уже знают несколько русских песенок, повеселели, отогрелись и хотят показать «господину майору» свой маленький концерт.

Под Новый год Найда с несколькими солдатами отправился в гости к детдомовцам.

Дом сиял огнями. В просторном зале кровати сдвинули к стенам, расставили рядами стулья — вот вам и сцена: играйте, веселитесь. Были здесь девушки из Визенталя, несколько немок постарше, солдаток, которые так и не дождались своих мужей и отважились, быть может впервые после войны, немного развлечься. Дети пели песни, водили хоровод, декламировали хором стихотворение, где рефреном звучали слова: «Эс лебе ди Совьет Унион!»[1]

[1] Да здравствует Советский Союз! *(нем.)*.

Найдины ребята принесли свой паек, разложили угощение на длинных столах между чашками с подслащенной водой, а для взрослых нашлось и немного вина, чтоб было веселей, как полагается в новогоднюю ночь.

Когда дети были уложены, взрослые еще долго сидели за столами. Завязалась дружеская беседа (больше, разумеется, с помощью жестов!), кто-то из голосистых солдат затянул песню, немки грустно слушали, вздыхали. Найде вспомнилась его харьковская юность, гулянье на Шатиловке, новогодние огни на площади Дзержинского, шумные толпы, музыка из громкоговорителей. Из дому Найда получил одно-единственное письмо, да и то от соседки: отец погиб в сорок первом в ополчении, мать не вынесла голодных лет оккупации. Обещали, что скоро дадут отпуск, а к кому он поедет? Кто его ждет? Четыре года войны казались целой прожитой жизнью, от которой в сердце остался пепел воспоминаний и незалеченные раны утрат.

Рядом с ним сидела молоденькая немка Эльза — худая, большеглазая, с выступающими скулами. Поделилась своей печалью: ее мужа убили во Франции еще в сороковом году, потом был у нее примак, из польских рабочих, которых посылали на работу в рейх,— красивый скромный парень, жил у нее на хуторе, и она его полюбила... Что теперь скрывать? Жили как супруги. Только боялись доноса, потому что за такие вещи — ему виселица, ей — концлагерь, позор и пытки «за измену нации». Одна вертихвостка, соседка Герта, вдова еще с польской кампании, прямо ей заявила: «Одну ночь он у меня, другую у тебя. А не хочешь — дам знать в гестапо». Эльза сказала ему: пусть решит, как им поступить. И он убежал, отправился на восток, в родные края. Герта потом бесновалась, но все-таки в гестапо не пошла. Только пьянствовала всю ночь и проклинала войну, лишившую ее мужа.

Унынием и безнадежностью веяло от этой женской исповеди, ей было стыдно рассказывать «господину майору» о своем наболевшем, печаль была в ее словах и тоска по любви.

Он проводил ее после вечеринки домой, несколько минут постояли молча, нужно было хоть что-то сказать на прощанье, ободрить женщину. Быть может, пообещать какую-то работу при комендатуре...

Вдруг вдали грохнул выстрел. Найда обернулся и увиди-

дел над домами багровое зарево. Его сразу осенила страшная догадка: «Дом сирот!» Эльза тоже испуганно смотрела на разливавшийся по небу кровавый отсвет, и в глазах ее было отчаяние.

Он смотрел на огненные отблески, видел, как краснеет от них снег, как загораются багрянцем стекла домов, а она держала его за локоть и говорила: «Не ходи. Я не пущу тебя...»

Мимо бежали солдаты, кто-то крикнул майору, что убит капитан Санин, Найда выхватил пистолет и тоже бросился в багровую пасть улицы. «Герман Вилле...— мелькнуло в голове.— Герман Вилле говорил, что они явятся, непременно явятся... Он не ошибся... Мерзавцы, недобитая сволочь!..»

Бой, собственно, уже окончился, а сиротский дом горел, рассеивая по городку трепещущие блики, выбрасывая дым из разбитых окон. Пожарная команда выламывала двери, крушила на крыше стропила перекрытий, сбрасывала вниз обугленные доски. По всему двору кучками сидели ребятишки, возле них суетилась молодая воспитательница, слышался детский плач.

К Найде подошел капитан Крушинин, доложил, что банда фашистов обстреляла и подожгла дом сирот, но нападение отбито солдатами и офицерами, находившимися на новогоднем вечере. Тяжело ранен капитан Санин. Собственно, это он вместе с лейтенантом Гурадзе организовал круговую оборону до прибытия комендантской роты. Отстреливались пистолетами. Молодцы ребята. Фашисты сразу же начали отходить, но какая-то подлая душа запустила в окно зажигательную ракету. Пропал дом. И дети остались без пристанища.

Найда оглядел жалкие детские фигурки, и вдруг его словно толкнуло что-то.

— Фрейлейн Гизела! — в тревоге окликнул воспитательницу. Когда та подошла, указал глазами на ребятишек: — Все тут?

— Все, господин майор.

— Проверьте. Всех поименно проверьте, фрейлейн Гизела.

Его тревога передалась девушке. Она подозвала старика сторожа. Начали обходить детей, заглядывая им в лица. Слышно было, как их окликали: «Вольфганг? Ты, Кэтрин? Ага, Вероника, Мария... Где Стефан? Где Па-

уль?..» Воспитательница почему-то все более тревожилась, кого-то, видно, не хватало, и она снова и снова тормошила детей. Зашепталась со сторожем, и в этом шепоте уже слышалось отчаяние. Кого-то все-таки недосчитались.

Найда подошел к ней. Тревожная догадка мелькнула в его голове.

— Где Инга Готте?

Девушка судорожно стянула у себя на груди отвороты черного мужского пальто. Инга? Да, да, именно Инги и не было среди детей. И в доме не оставили, и тут ее нигде не видно.

Теперь все было ясно. Найда все сразу понял, и подозрение переросло в холодную уверенность. Те, из леса, явились сюда неспроста, выбрали эту ночь тоже неспроста. Старый Герман Вилле предупреждал, и случилось именно то, чего он опасался.

Сердце у Найды болезненно сжалось. Он стоял среди перепуганной, беззащитной малышни, и черный укор закрадывался в душу: «Это из-за меня случилось. Бросил их на произвол судьбы... Своих солдат бросил и детей тоже... А Шустер, подлец, улучил минуту! Будто знал, что меня нет...»

Посовещавшись с капитаном Крушининым, дал команду солдатам садиться в «студебеккеры».

— Догоним, товарищ майор! Отобьем девочку.

— Среди ночи? — изумился пожилой интендант.— Куда же в такую темень?

Три «студебеккера» с комендантской ротой вылетели из города. В кабине головной машины, указывая дорогу водителю, сидел Найда.

Ночь была — хоть глаз выколи, едва различима дорога. Куда ехать? Бандиты, отстреливаясь, помчались именно сюда, на Ошац, где непролазные дебри, где все утопает в снегу.

«Старый Вилле говорил, что Шустер наведывался в лесничество своего папаши, что там у него есть тайное пристанище,— размышлял Найда, вглядываясь в колеблющуюся снежную завесу перед фарами машины.— Свернули налево? Или проскочили над озером?» Эти места он успел хорошо изучить, когда летом вывозил сюда на учения солдат. Зная, что в лесах могут быть мины, в чащу они не углублялись, а выбирали открытые, залитые солнцем поляны. Неподалеку было озеро, кристально чистое,

глубокое, с песчаными берегами, поросшими молодыми сосенками. А чуть дальше темнел высокий забор, за ним — строения с островерхими черепичными крышами, мрачно неприступные, таинственные и, похоже, безлюдные.

Однажды солдаты попросили там воды у старой женщины, которая одиноко жила в лесной усадьбе. Старуха сказала им, что хозяев давно нет, дом пуст, никто здесь не живет...

А сейчас Найда почти с уверенностью подумал о том, что это и есть гнездо Вилли Шустера, его охотничья резиденция, где он скрывается.

Следы от машин сворачивали влево, к лесному озеру. Вероятно, бандиты проскочили именно этой дорогой.

Найда остановил машины. С двумя солдатами он решил разведать, что делается у озерка и есть ли кто-нибудь в лесной усадьбе. К ночным маршам ему было не привыкать, половину войны он провел в таких походах, но больше всего на свете он не любил неизвестности. На этот раз он почти не сомневался, что банда Шустера скрывается именно здесь. И скорее всего — за этой оградой из частокола. Шустер — зверь, но его люди не из храбрецов. Им, верно, давно уже все осточертело, и они просто не знают, как вырваться живыми из этой кутерьмы.

Лед был тонкий, подтаял во время оттепели, и едва Найда ступил на него — озеро тяжко вздохнуло, словно с болью, и во все стороны разбежались трещины.

Внезапно облака в небе разошлись, и ослепительно ясная луна залила голубоватым сиянием озеро, сосновый бор и в просветах между деревьями высокий забор. Снег засиял и будто засветился.

— Э-гей! Кто тут есть? — закричал в напряженной тишине Найда.— Не стреляйте! Мы знаем, что вы здесь!

За частоколом молчали. Луна как будто удивленно глядела с серовато-прозрачного неба. Слышно было, как потрескивает на озере лед, словно под ним ходят волны.

— Люди Шустера, слышите? — громко закричал майор.— Лес окружен! Вам некуда идти!

Солдаты замерли, нацелив на невидимого врага автоматы. Только майор стоял на льду озера, озаренный голубоватым лунным светом, словно хотел, чтобы те, за частоколом, хорошенько прицелились в него, чтобы не промаза-

ли, стреляя. И эта его смелость, видимо, подействовала на людей за оградой.

— Что вам нужно? — спросили из-за забора.— Не трогайте нас, мы уедем отсюда.

— Нам нужен Вилли Шустер.

Молчание.

Видно, там совещались. Потом ответил другой, хрипловатый голос:

— Нет Шустера. Смылся.

— Куда?

— Не знаем. Мы живыми не сдадимся.

— Я иду парламентером, чтобы спасти вам жизнь.

Скрипнул засов, и Найда увидел, как медленно отворилась в воротах калитка. Он мог войти. К тем, что готовы были на любую выходку, самую жестокую.

Он зашел во двор, и сразу же к виску ему приставили пистолет.

— Боитесь даже парламентеров? — через силу усмехнулся Найда.

— Проходи в дом,— буркнул кто-то.

Двор был затоптан, у крыльца стояли два крытых грузовика, люди в пятнистых куртках призраками маячили у высокого крыльца. В окнах темно, видно лишь, что там жарко пылает в печи огонь.

Найда вошел в просторное помещение. Ему освободили место за длинным столом. Кто-то сел напротив него, но в полутьме не разглядеть лица — сплошная желтоватая маска с настороженными колючими глазами. Немец в фуражке с козырьком, грудь перепоясана тугими ремнями. Найда уже различал густо заросшее щетиной одутловатое лицо с мешками под глазами.

— За что вы нас преследуете? — спросил вялым, сонным голосом немец.

— За разбой и преступления, которые вы учинили в Визентале,— ответил Найда.

— Война не кончилась.

— Кейтель и Дениц подписали перемирие.

— Мы солдаты и выполняем приказ своего командира.

— Шустера?

— Да, штурмбанфюрера Шустера.

— Но ведь его нет. Он сбежал!

— Это верно,— запнулся немец.— Он только что уехал.

Страшная догадка осенила майора.

— Где Густа Арндт?

Немец удивленно поднял брови, но молчал.

— Я спрашиваю, где фрау Арндт, которую Шустер держал в этом доме?

— О, господин офицер хорошо информирован,— не то кашлянул, не то засмеялся немец.— Можно подумать, будто мы отвечаем за фрау Арндт. Слышите, господа? Русские хотят знать, где фрау Арндт? Где же она может быть? Либо там, наверху, на чердаке, либо еще выше, куда мы все отправимся рано или поздно.

Найда решительно поднялся.

— Послушайте... За Густу Арндт и ее ребенка вы заплатите жизнью.

Немец порывисто вскочил.

— Мы ничего не знаем... Ребенка Шустер взял с собой. А фрау Арндт... она, кажется, осталась там, в своей комнате.

— Ведите меня к ней! Ваше счастье, если она жива...

Немец повел Найду по скрипучей лестнице наверх. Освещал дорогу фонариком. Шел грузно, тяжело, хватаясь за стены. В комнате Густы — душная темнота, свет фонарика скользнул по стенам, по полу, наткнулся на широкую деревянную кровать. Она была пуста.

— Фрау Арндт оставалась в доме...— хрипло проговорил немец.— Она отказалась ехать с Шустером. Я слышал, как они кричали, спорили, а потом Шустер выбежал с ребенком на руках.

Световое пятно скользило по комнате, выхватывая из темноты изорванную в клочья одежду, белье, опрокинутые стулья.

И вдруг...

— Густа! — с ужасом вскрикнул Найда.

Фонарик осветил в углу женскую фигуру: хрупкую и обессиленную. Женщина неподвижно сидела на полу, уронив голову на грудь, растрепавшиеся волосы прикрывали оголенные плечи.

Она казалась неживой.

— Светите! Светите! — приказал он немцу.

Взял Густину руку, припал ухом к ее груди, стараясь услышать биение сердца. Мертва она или в обмороке? Уловил слабое пульсирование, а потом услышал ее прерывистое дыхание, увидел запекшиеся губы.

— Жива? — испуганно спросил немец, словно хотел знать, будет ли ему самому сохранена жизнь.

— Ваше счастье,— сказал Найда.— Видно, Шустер спешил.— Он склонился над бесчувственной Густой, откинул с ее лба прядку волос.— Помогите мне поднять ее.

— Сдайте оружие,— сказал Найда.— Вас будут судить по законам военного времени.

* * *

Последняя страничка рукописи Найды легла на стол, когда из маленького динамика на стене прозвучали звуки государственного гимна. Петр не слышал этих звуков, не слышал легкого похрапывания Виталика, спящего на соседней кровати. Находился еще под впечатлением прочитанного. Потрясенный, он словно был еще там, в далеком прошлом, и видел все, что пережил майор Найда в послевоенном сорок шестом году.

Если ты ушел с работы, свободного времени у тебя сверхдостаточно. Правда, Виталька советовал забрать написанное сгоряча заявление. В бригаде все сочувствуют Петру. С кем не бывает?.. Виталику искренне было жаль своего друга. «Ну, не звеньевым — рядовым будешь. Хлопот меньше»,— говорил он, допивая из бумажного пакета молоко. «А я, Вить, не из бригады ушел,— отвечал ему Невирко.— А от своего позора и малодушия!»

Вот тогда он и взялся за рукопись, переданную ему Полиной. Сперва читать записки Найды не было охоты — жгла обида на старого мастера за то, что промолчал и не вступился за него на собрании. Но, пересилив себя, раскрыл тетрадь, прочитал первую строку, пробежал глазами полстранички и внезапно весь отдался событиям ушедшей в прошлое войны.

Думал, будто знает об Алексее Платоновиче все. Ан нет! Представил его теперь иным. И сразу как-то поиному увидел обветренное, в мрщинках лицо бригадира, его чуть прищуренные глаза, сосредоточенный взгляд, когда он сидел на собрании в прорабской, слушал споры и пререкания молодых рабочих и не сказал в защиту Петра Невирко ни одного слова.

Утром Петр долго валялся в постели. Бреясь, разглядывал в зеркальце свое осунувшееся, странно изменившееся лицо. Мешки под глазами, губы обветрены, в уголках рта — резкие складки. Совсем не тот стал. И Полина

смотрит на него восторженными глазами. Какая-то она особенная, эта Полина — прямая, откровенная, душевная. Так хотелось прикоснуться губами к шелковистой прядке на ее лбу, провести ладонью по ее щеке. Влюбился в нее, что ли? Мало ты изведал горя с Майкой!.. Но Полина совсем не похожа на нее... Все таит в себе: и горести, и радости, а может, и свою любовь...

Ему казалось, что их связывает что-то светлое, чистое, что в будущем их ждет много хорошего. Снова вспомнил роковое для него собрание. Если бы Найда выступил, пускай даже и покритиковал за халтурную работу, если бы оборвал Одинца и всех крикунов, то, может, ничего страшного и не случилось бы. Петр знал силу его авторитета, знал, что бригада считалась с его мнением.

А он промолчал. Решил присоединиться к остальным выступавшим? Был зол на Петра за ночную смену? Или и сейчас судит о нем с позиции военного времени — времени высокого героизма и самопожертвования? Ведь ему тогда никто не приказывал — сам помчался со своими солдатами спасать Ингу в лесные дебри под Ошацем.

Отворилась дверь — без стука вошла дежурная.

— Валяешься?.. Иди, тебя к телефону.

Когда спустился на первый этаж, черная трубка лежала на тумбочке. «Кто бы это?» — с опаской подумал Петр.

Взял трубку, стараясь говорить спокойно, сказал:

— Невирко у телефона.

И услышал голос Гурского:

— Пора за дело браться, Петр Онуфриевич, бери такси — и живо ко мне!

Вскоре он уже был в приемной. Полина встретила его молча, взгляд ее выражал сочувствие.

— Идите,— сказала официальным тоном.

Петр был словно в тумане. Вчера Гурский распекал его при всех, отгородился от него начисто, сам же вышел сухим из воды. А теперь — этот вызов. Идти, конечно, не стоило, но звеньевого привело в кабинет Гурского острое чувство любопытства и внезапно наступившее прозрение, делавшее его теперь сильным, спокойным, готовым на любой решительный шаг, если этого потребуют обстоятельства.

Петр шел по красной ковровой дорожке, стараясь держаться легко и просто, чтобы не выдать своей неприязни

и некоторой скованности. Остановившись перед приставным столиком, глянул на склоненную над бумагами голову с глубокими залысинами, на грузноватую фигуру в сером костюме и невольно удивился тому, что до сих пор был до такой степени наивным в своей доверчивости и в своем непонимании подлинной сущности Гурского. Всегда не любил его, в свое время испытывал глубокое чувство обиды за Майю и все же принимал к сведению его советы, в последнее время был даже увлечен его планами, проектами и расчетами.

— Садись,— деловым тоном, не поднимая глаз и все еще продолжая записывать что-то в своем большом синем блокноте, произнес Гурский. Потом ободряюще глянул на Петра и с легкой улыбкой сказал: — Не горюй, приятель... И правильно сделал, что подал заявление.— Он стал медленно и рассудительно говорить: — В случившемся ты виноват сам. Коллектив от тебя отвернулся, и я, как видишь, вынужден был... Одним словом, ты для них ноль. А для меня...— Гурский улыбнулся.— Принято решение: завтра получишь бригаду на новом объекте. Уже готов приказ. Двухсекционный дом. Ясно? Все подробности у прораба Липовца.— Протянул руку.— Поздравляю. К сожалению, нет ни минуты свободной. Работы по горло.

Петр Невирко растерянно поднялся, с недоумением уставился на главного и его протянутую руку. Что сказал бы Найда? Или Одинец? Или Виталик Корж?

— Аннулируйте приказ! — решительно бросил он.

У Гурского сузились глаза. Он все понял.

— Госэкзамены скоро. Ты подумал?

— Аннулируйте приказ, Максим Каллистратович,— уверенно и даже грубовато произнес Петр. И быстрым шагом направился к двери. У порога остановился.— Не хочу с вами работать. Ненадежный вы начальник, товарищ Гурский.

* * *

Ольга привезла Маринку из больницы: хлопот у нее прибавилось. Девочка лежала в комнате, где не было телевизора, бледненькая, какая-то присмиревшая, с книгой в руках, за день слова не вымолвит. Только заслышав шаги Алексея Платоновича, оживлялась:

— Папа пришел! Папа пришел!

Найда устроится возле девочки и отдыхает душой. Ольга на кухне хлопочет, вечер короткий, нужно все успеть сделать. А Маринке так интересно и радостно, когда рядом папа Леша. Он то почитает книжку, то расскажет что-нибудь смешное.

Маринка засыпала, не выпуская из своих пальчиков шершавую руку Найды.

Ольгу в последнее время было не узнать — похудела, побледнела, походка утратила легкость. Села у стола, положив руки на колени, и в этом жесте Найда усмотрел усталость и грусть. Ему стало жаль ее. С тех пор как поженились, немного было у них веселых дней — сплошные заботы, беспокойство, болезни детей.

Ольга положила на стол конверт, горькая усмешка скользнула по ее губам.

— Опять Константин пишет. Сколько можно?..

— Требует свидания с детьми? — спросил Алексей Платонович. Он сидел на краешке дивана, держа влажную ладошку Маринки.

— Просит.

— Снова их полюбил?

— Клянется, что никогда не забывал...

Найда посмотрел на конверт, но читать письмо не стал.

— Делай как знаешь,— произнес он тихо.

А сердце щемило. Не знал, как вести себя, что делать. Письма от Константина приходили все чаще, становились все требовательнее, настойчивее. Он, казалось, верил в то, что Ольга в конце концов не выдержит, поддастся его уговорам. Порой Найде даже было жаль этого Костю. Беспринципный, пустой человек, поздно осознавший свои ошибки и заблуждения. Найда видел его совсем недавно, когда он приехал и долго сидел на скамье возле их дома, видимо надеясь, что Ольга выйдет к нему. Но Ольги в тот раз не было дома, зато к воротам вышел Климов, который знал непрошеного гостя и уже однажды выпроваживал его отсюда. Они о чем-то долго говорили, генерал горячился, жестикулировал, и в конце концов Костя ушел. Найда полагал, что сосед расскажет ему об этом визите, но Климов, вероятно щадя его, утаил от Найды свой разговор с Костей.

Не желая себе в этом сознаться, Найда ревновал Ольгу к ее бывшему мужу. И ревновал не столько к прошлому, сколько к будущему, допуская возможность их при-

мирения. С болью представлял себе их встречу, видел умоляющие Костины глаза, слышал его ласковый, убеждающий голос. Просыпался ночью от страшного сердцебиения, от безумного страха: неужели ее нет рядом? Неужели ушла? Но Ольга, ничего не подозревая, спала спокойным сном утомленного человека, и это на некоторое время возвращало ему душевное равновесие.

Он стал задумываться над тем, как много в жизни потерь, как изменчиво завоеванное тобой счастье. Вчера было — сегодня ушло. То словно все уладилось, улеглось, отбушевало, то опять разочарования, волнения, горечь и боль...

Он потерял Невирко — и, в сущности, всю бригаду: что он теперь значил, если его лучший ученик оторвался от них, бросил товарищей? Найда знал, что Петр не виноват, что он в своей спешке, в своем азарте просто перестарался, допустил перехлест, показавшийся многим чем-то большим, нежели ошибка. Знал Алексей Платонович и другое: Петр беспричинно обиделся на своих напарников, считает себя оскорбленным и ждет, чтобы бригада монтажников сама явилась к нему с поклоном. А этого уже простить ему нельзя! Этим Невирко унизил самого себя как рабочий человек, как личность.

Время было позднее, но Ольга все еще хлопотала на кухне. Потом пришла, села рядом с Найдой, который перебирал свои бумаги. Он тепло и в то же время с грустью посмотрел на нее:

— О письме все думаешь?

— И без письма хватает забот.— Ольга положила на его руку свою небольшую крепкую ладонь.

— И все-таки мучаешься?

— Мне совестно перед детьми,— глухо сказала Ольга.

Слова эти горечью отдались в его сердце. Ольга что-то почувствовала, тревожно спросила:

— Тебе нехорошо?

— Вспомнил Ингу... Сколько еще несчастных детей... И до сих пор она не знает, кто во всем виноват. Хорошо, что с ее покойной матери снято подозрение.

Ольге было известно о давних событиях в Визентале. Как-то Найда дал ей прочесть первые черновые наброски своих воспоминаний, и она поняла ту боль, которая с тех, военных, лет поселилась в его душе. Ольга не раз заме-

чала, как он порой становился мрачным и уходил в себя. Но зря он себя винит. Он сделал все, чтобы спасти маленькую Ингу, которую Шустер выкрал из дома сирот.

— А ты себя не казни,— сказала Ольга.— Ты сделал все возможное.

— Нет, все-таки я виноват. Знал ведь, что Шустер явится... Не уберег девочку. От этого и Густа Арндт столько страдала. От этого и мне нет покоя,— грустно заключил он.

Ольга осуждающе покачала головой:

— Может, еще поедешь в Федеративную? Разоблачишь Шустера? Подашь на него в суд?..

— Разоблачить его нужно бы... Рассказать о его зверствах, клевете на Густу Арндт... Уже пора открыть людям глаза...

— И откроешь! Вон какую гору бумаги исписал, про все свои мытарства рассказал, все свои раны разбередил...— Ольга, видно, вдруг что-то припомнила, улыбнулась.— Полина мне говорила: Петя твои воспоминания читает, оторваться не может. Вроде бы вторично перечитывает.

— Значит, взяло за живое,— повеселел Алексей Платонович.— Ну, Оленька, готовься принимать гостей.— Он ласково обнял жену, взглянул на ее бледное, осунувшееся лицо.— Придет к нам Петя. Помяни мое слово — придет!

* * *

В жизни Полины наступил крутой перелом. Прежде все ее заботы сосредоточивались на младшем брате. Много времени отнимало хозяйство: квартира, хоть и небольшая, однокомнатная, содержалась в порядке. Крутилась Полина как белка в колесе: работа — дом, магазин, аптека.

Теперь появился в ее жизни морской офицер. Привыкала к нему с трудом, никак не могла заставить себя почувствовать к нему нечто большее, чем просто симпатию и уважение. Он сдержан, деловит, с уверенной походкой, густобров и темноглаз. Когда закончился отпуск, уехал к себе в Севастополь. А ей нужно было решать. Маме он очень приглянулся. «Выходи за него, дочка...» Пообещала ему, дала слово. И он поверил. Видно, сам никогда не нарушал своих обещаний, потому и не сомневался в Полине. И она себя стала всячески убеждать. Впереди це-

лая жизнь, и о ней следует подумать. Человек он положительный, солидный. Такими не бросаются...

Но с каждым днем ей становилось все трудней, сомнения все больше охватывали ее. Сердце говорило ей другое, у сердца были своя логика и свои законы. Порой она чувствовала себя бессильной, образ Петра Невирко неотступно преследовал ее. Хотя они виделись редко (чаще всего в приемной Гурского), она знала о нем все: как ему тяжело и одиноко без своей бригады и без Найды, как он отказался стать бригадиром на новом объекте. А еще знала, что он ищет случая, чтобы встретиться с ней. Она этой встречи боялась, но боялась с тем затаенным страхом, в глубине которого жила надежда и безотчетное желание видеть его.

Как-то вечером, когда пришла домой с полной сумкой покупок, из кухни выскочил братишка, радостно сообщил:

— А у нас гости!

Полина вошла в комнату. Навстречу ей поднялся с дивана Найда. Вот уж кого не ждала! Выкладывая из сумки продукты и пряча их в холодильник, она расспрашивала его об Ольге, о девочках.

Найда сказал, что Маринка почти здорова и пришел он по другому делу. Полина села рядом с ним на диване.

— Я насчет Петра,— начал Алексей Платонович, кашляя.

— Что с ним? — испугалась Полина.

Найда, нахмурив кустистые брови, неторопливо начал рассказывать о событиях на стройке, о том, как нехорошо повел себя Петр...

— Вы меня извините, Алексей Платонович,— взволнованно прервала его Полина,— но с ним нехорошо поступили.

Найда раздосадованно поднял брови:

— И ты в защитницы! Конечно, денег он не воровал и человека не убивал. Но от его странных выходок, от его самоуверенности...

— От его скромности! — перебила Полина.

— Нашла скромника! На собрании ему за эту «скромность» хорошенько бока наломали. Его же друзья...

— Нет, нет, ничего они не знают. И вы не знаете, Алексей Платонович! Ничегошеньки!..— Полина запнулась и испуганно замолчала.

Найда недоверчиво прищурил глаза. О чем она, собственно? Чего это они не знают?

Полина опустила голову, не решаясь быть откровенной до конца:

— Петя просил никому ни слова... Я пообещала...— И вдруг с дерзким отчаянием подняла глаза на старого бригадира.— Но вам я расскажу. Вы должны знать, Алексей Платонович, всю правду.

Найда слушал ее с напряженным вниманием, ловил на лету каждое слово, наблюдал за выражением ее лица, за движением губ, будто не мог поверить в правдивость рассказа. На самом деле он сразу всему поверил и сразу все понял. Доверчивость Невирко, нелепый случай с цементом, ночной прогул... Как все было логично и одновременно — нелепо! Обычная история, даже не кража, даже не преступление. Я — тебе, ты — мне. По документам, по накладным... И мог бы Невирко спокойненько возвратиться, и мог бы не ссориться с Гурским, и не вызывать праведного гнева товарищей... Все было бы просто, если бы Петя не был Петей... И если бы на карту не была поставлена его честь.

— Как же ты могла молчать, Поля? — с глухим стоном вырвалось из груди Найды.— Ах, да ... Петр приказал... По принципу: если не смогу ничего доказать, все беру на себя.

— На себя, Алексей Платонович,— повторила Полина.

— Вот и глупо, милая! Невероятно глупо! — Он взял девушку за руку, слегка сжал ее.— Исправить эту глупость можешь только ты. Сама знаешь, куда идти...

— Догадываюсь, Алексей Платонович.

— Давно пора. Я завтра же поговорю с Чернявской. А в остальном разберется партком.— Он поднялся из-за стола.— Ну что же. Спасибо за все. Доброе угощение ты мне приготовила сегодня.— И пристально поглядел Полине в лицо: — Гляди же, дочка, от тебя зависит судьба Петра Невирко!

— Последние известия! — закричал Виталий, вернувшись из душевой и в изнеможении валясь на постель.— Приезжают наши верные друзья, немецкие геноссе!

Петр собирался в библиотеку, где иногда просиживал

целые вечера. На нем была свежая белая тенниска, ладно сшитые брюки. Спросил, кто именно должен приехать. Услышав, что приезжает знакомый ему Юрген Крайзман, удивленно уставился на Виталия. Соревнования или дружественный визит?

— Знаю одно: соревноваться с ним будет на показательной площадке не кто иной, как знаменитый Петр Невирко. В парткоме принято решение насчет Гурского. Пропесочили по всем статьям. Да! И насчет Невирко тоже... Но, конечно, в ином плане. С чем и поздравляю...

Петр вышел на улицу в догорающий летний день, увидел пожелтевшие от зноя каштаны, и внезапное чувство облегчения охватило его душу. Решение насчет Гурского! Он сразу догадался, что сработал механизм справедливости, который, казалось, дал сначала осечку, но который не мог бездействовать бесконечно. Значит, он снова будет со своими ребятами! И немецкие друзья приезжают!

«Нужно пойти к Алексею Платоновичу,— подумал он радостно.— Вместе начинали, вместе и драться будем!»

* * *

Найды дома не оказалось. Дверь открыла Ольга, пригласила его в большую комнату. Там сосед Климов подомашнему расположился перед телевизором. Ольгу очень обрадовал приход Петра, ведь знала, как ждет его Алексей Платонович.

— Что же ты стоишь, Петя! Будто к чужим пришел. Садись, будем чай пить.

Но он сказал, что заглянул только на минутку, хотел поговорить с Алексеем Платоновичем. Ольга смотрела на него с укором, с грустью, с материнской нежностью. Глупенький, совсем глупенький! Скоро муж придет, вызвали в горком, немцы должны приехать.

— Я в другой раз,— смущенно сказал Петр.

Ольга взяла его за плечи, силой усадила на стул возле стола.

— Ведь они к тебе едут. Сам Крайзман будет, с которым ты соревнуешься. И, кажется, Инга тоже.

— Мне говорил Виталик... что-то о парткоме... Так я хотел с Алексеем Платоновичем... если это правда, конечно...

— Правда, Петенька! — весело глянула на парня жен-

щина.— Полине спасибо скажи. Ходила к Чернявской. Партком разбирал это дело. Там такое было! Полина плакала... Говорит, ты ей запретил... Но Алексей Платонович заставил ее выложить все до конца.— Ольга даже прослезилась, вытерла кончиками пальцев глаза.— Все знают теперь, как ты с цементом ездил и как тебя чуть не убили на той даче.

— Никто меня не убивал,— грустно улыбнулся Петр.

— Хорошо, что жив остался! Они, эти крохоборы, на все способны. Все им мало, все тянут, копят, скоро землей торговать станут.

Она засмеялась, просветлела лицом, которое вдруг будто помолодело, стало ласковым и добрым.

— Ой, бедняжка! Сколько она переживала из-за тебя!

— Я, Ольга Антоновна, перед ней в долгу,— глухо произнес Петр.— Только неловко теперь к ней заходить. Вы же знаете...

— Поздно заходить. Уходит она с нашего комбината.— Ольга принялась готовить чай, достала из серванта чашки, принесла чайник.— Эх, Петя. Такую девушку проворонил.

Он прихлебывал горячий чай, не решаясь поднять глаза на радушную хозяйку.

— Зачем же ей?..— бормотал он растерянно.— Скоро новую квартиру получит... Мать сможет забрать к себе из села... Квартиру ей, говорят, в первую очередь...

Старый генерал оторвался от телевизора:

— Квартира! Слишком вы, молодые, деловыми стали.

Невирко не смотрел в сторону генерала, делая вид, будто не слышал его колкой фразы и не ощутил на себе недоброжелательного взгляда старика.

— Уговорите ее, Ольга Антоновна, остаться,— понизив голос, умоляюще произнес Петр.— Прошу вас. Меня она не послушается.

Ольга только махнула рукой и повторила, что теперь уже поздно, ей пора подумать о себе. А тут только и знала что беготня, нервы, слезы, кого-то спасай, кого-то поддерживай.

— Пожалуйста, Ольга Антоновна,— повторил Невирко.— Ну попробуйте...

И тут снова заговорил Климов. Видимо, эта история была ему не безразлична. Знал, сколько из-за Петра пережил Найда. Стало быть, имел право высказать свое мнение.

— А вы, молодой человек, где были? Почему раньше молчали?

— Нет, нет! Я не в силах расстаться с ней! — упрямо тряхнув головой, воскликнул Петр.

— Уже расстались. Едет в Севастополь. Я ее устроил в солидное учреждение.

— Вы? — с холодным недоверием переспросил Невирко.

— У меня там товарищ, адмирал флота. Он ей и с жильем поможет, и зарплата будет приличная.

Тут вмешалась Ольга, сказав, что это и для Полининой мамы лучше, ведь она у нее болеет, ей необходимо больше тепла, солнца, да и море рядом.

Петр с вызовом посмотрел на генерала:

— Все равно не отпущу...

Климова это рассмешило, он быстро поднялся на ноги и засунул руки в карманы полосатой пижамы. Задорно вскинул вверх пышную с проседью бороду. В прищуренных глазах вспыхнули насмешливые искорки.

— Какое же у вас право, Петр Онуфриевич, не отпускать? — спросил он с ехидцей.— Вы человек неуравновешенный, несерьезный, искалечите девушке жизнь. Нет, вы уже свое сказали. Вам лучше молчать теперь.— Он очень старательно застегнул все пуговицы на своей пижаме и обратился к Ольге: — Когда она придет, пришли ко мне. Дам ей письмо к адмиралу. Товарищ надежный. Не то что некоторые...— И твердым шагом направился к двери.

Сидеть дольше было ни к чему. Петр, словно сбрасывая с себя лямки парашюта (было когда-то и такое), поднялся из-за стола. Ольга смотрела на него молча, почти со страхом. Она чувствовала, как ему тяжело, и, лихорадочно собираясь с мыслями, не знала, как ему помочь. Лишь слегка подняла руку, будто желая его удержать, но он отрицательно покачал головой, буркнул «до свидания» и вышел.

Мерцали крупные звезды; асфальтовая дорожка за во-

ротами, бугристая мостовая, накаленный зноем город дышали жаром. Здесь, на окраине, среди невысоких домиков, в царстве зеленого покоя, было словно еще жарче, чем на широких проспектах и улицах. За две недели ни капельки дождя, все сохло и горело, все ждало дождя.

И вдруг он увидел Полину. Она поднималась вверх по улице.

Петр остановился перед ней.

— Пойдем,— сказал он, не зная, куда зовет ее и согласится ли она следовать за ним.

— Здравствуй, Петрусь,— ответила Полина, взяла его под руку и сразу же покорилась его воле.

Ехали сначала на троллейбусе, потом на такси, бродили по многолюдному проспекту в шумной движущейся толпе. Кому-то из них пришла мысль пойти в кино. Если, конечно, повезет с билетами. С билетами ничего не получилось, но они даже не огорчились. Пошли в парк, бродили тенистой аллеей над обрывом.

В полумраке Петр поглядывал на Полину: стройная, изящная. Что-то пленительное в ее фигуре, в прядке волос, спадающей на лоб. Они были товарищами, ничего друг от друга не таили, и вдруг случилось такое... Почему в этот тихий вечер, после разговора с генералом Климовым, она кажется ему такой милой, доброй и родной? Полина смущенно перехватила его взгляд и потупила глаза.

— Хорошо, что не попали в кино,— стараясь говорить равнодушно, бросил Петр.— В парке — лучше, а потом, он открыт до двенадцати.

— Нет, только до одиннадцати,— сказала Полина.

Снова какой-то невидимый барьер разделял их. Петр наконец спросил о самом главном:

— Ты уже собралась в дорогу?

— Врачи маме советуют... И Сашке там будет лучше,— просто ответила Полина.

— Неправда... Едешь к нему...

— Может, и к нему.

— Вот как? — и посмотрел на нее так, будто видел впервые.— Ишь ты какая, оказывается!

— Такая, как все,— сказала Полина.— Хочу покоя, хочу своего маленького счастья.

Она взяла его под руку, спросила тихо:

— Скажи, ты очень любишь Майю? Очень без нее мучаешься?

— Был словно в угаре.

— Любовь и есть угар,— сказала она задумчиво.— Я так за тебя боялась.

— Поэтому, видно, и бежишь. От страха,— насмешливо усмехнулся Петр.

— А ты разве не убегал от меня?

— Я вернулся.

— Долго же ты возвращался, Петя.

Еще больше углубились в парковые заросли, нашли пустынный уголок и уселись там на свободной скамье. Петр наклонился к Полине и поцеловал ее в мягкие губы.

Полина вскочила со скамьи, схватила Петра за руку и потащила на освещенную аллею. Он слышал, как она тяжело дышит, будто сдерживает слезы.

— Ты это сделал просто так... от скуки... правда? — все еще с трудом переводя дыхание, спросила Полина.— Я тебя понимаю... в твоем положении... Но ты меня этим обижаешь...

«Она вовсе не рассердилась,— подумал Петр, внезапно успокаиваясь и чувствуя, как его заливает волна нежности к этой строгой девушке.— Она знала, что я давно хотел поцеловать ее».

— Полиночка, не сердись, после того, что я узнал сегодня...— начал он горячо и осторожно взял ее под локоть,— я... не мог иначе...

— А! Благодарность! — девушка осторожно высвободила свою руку.— Я знала, что ты меня отблагодаришь...

— Нет, нет, я о другом... Но ты действительно уже второй раз спасаешь меня. И я вдруг понял, что ты — моя судьба.— Она немного замедлила шаг, и Петр заговорил с жаром, страстно, убежденно: — Я хочу, чтобы ты посмотрела на наши отношения по-другому... Если это еще возможно... конечно.

Она остановилась, взяла его за обе руки и строго посмотрела ему в лицо:

— Я смотрю на наши отношения так, как ты хотел, Петруня. Я была тебе не нужна, и ты отбрасывал меня, как ненужную вещь. Пока не появился мой знакомый из Севастополя. Теперь ты полюбил меня и хочешь моей любви.— Она еще крепче сжала его руки.— Будь же

серьезным хоть сейчас.— Она подвела его к скамье, посадила и села рядом.— И давай поговорим об одном важном деле.— В ее голосе появились деловые интонации.— Звонила в приемную Майя.

— Чего ради?

— Плакала... Просила, чтобы ты обязательно зашел к Голубовичу, и как можно скорее.

— Что случилось?

— Голубович ложится на тяжелую операцию. Он говорил о московском журнале. Там твоя статья напечатана.

Невирко покачал головой:

— Знаю... Не пойду...

— Пойдешь. Вместе пойдем,— решительно заявила Полина.— Хоть это сделай ради меня... перед отъездом.

— Все словно сговорились...

— Наоборот, все за тебя.

— Не уезжай! Не покидай меня! Не будь похожа на тех, кто...— он горько улыбнулся,— кто бежит с тонущего корабля...

Это была его отчаянная попытка задержать ее, уговорить, переубедить, он держал Полину за руку и смотрел ей в лицо, будто гипнотизировал ее. Полина, поддаваясь его настойчивому взгляду, тянулась к нему всем своим существом, и в то же время что-то останавливало и удерживало девушку. Казалось, что какой-то огромный камень давит ей на плечи, что этот камень как скала.

— Послушай,— убежденно сказал он,— не надо бросать корабль. Если ты будешь со мной — корабль не потонет... А к Голубовичу... действительно пойдем вместе. Только с тобой, Поленька. Только вдвоем!

При иных обстоятельствах, может, они и не рискнули бы явиться в гости к Голубовичу. Поздновато уже было, где-то около десяти. Полина решила, что Голубович еще не спит и будет рад их приходу.

Голубович отпер им сразу же после первого коротенького звонка. В белой льняной рубашке, в идеально выглаженных брюках, гладко выбритый, пахнущий одеколоном. Так приходят из гостей или с ответственного совещания.

Но Невирко знал: это его стиль, всегда он был безукоризненно аккуратным, в любой час мог служить образцом опрятности.

— Извините за поздний визит, Игорь Александрович,— с порога сказал Невирко.— Из общежития у нас по телефону не дозвонишься...

— Спасибо, что не забыли,— устало поздоровался с ними Голубович, и лишь теперь Петр понял, каких усилий стоила ему эта подтянутость, эта безукоризненная аккуратность. Лицо у него было землистого цвета, спина еще больше ссутулилась.

Полина села у стола и не без любопытства принялась разглядывать жилище хозяина. Игорь Александрович предложил им кофе и уже хотел было уйти на кухню, как Полина вдруг сказала с детской непосредственностью:

— Если бы еще и кусочек хлеба с маслом. Я прямо с работы. Проголодалась страшно.

— Господи, да я вас сейчас вкусно накормлю,— обрадовался Голубович.— Вчера у меня сестра была, наготовила на пять дней.

— Поля, ну как можно! — рассердился Невирко.

— А я хочу есть,— с капризной гримаской протянула девушка.— Мы, Игорь Александрович, в кино собрались, а я вдруг вспомнила о вашем приглашении.

Голубович улыбнулся. Он был искренне рад гостям, хотя, конечно, и не готовился к приему. Сказал, что сейчас он накормит Полину и Петра угостит. Сам не пьет, а гостю сам бог велит. Да и причина уважительная — приехали немецкие коллеги. Он уже слышал о них. То-то будет хлопот Петру Онуфриевичу, нужно показать высокий класс. У них культура монтажа — ого-го! Сами знаете. Жаль, ему не придется поработать с ними.

— Хватит еще и на ваш век монтажа, Игорь Александрович,— сказала Полина, уловив грустные нотки в словах Голубовича.

— Вашими бы устами, Полиночка...— вздохнул Голубович.— Одним словом, выпить нам есть за что. Айн момент, если уж говорить по-немецки.

Принес из кухни всякой всячины, разложил все по тарелкам, вынул из холодильника бутылку коньяка, зазвенел рюмками. Сели за большой стол, и Голубович сразу заговорил о деле:

— Меня, Петр Онуфриевич, встревожила ваша статья в московском журнале. К вашей идее непонятно каким образом подключился еще один товарищ. Очевидно, вы знаете? Максим Каллистратович. Можно было бы этого и не заметить, но такое не впервые у Гурского.— Голубович взял с письменного стола журнал.— «О принципах каркасного крепления...» — прочел название и отложил журнал в сторону.— Вам известно, кто посылал вашу статью в журнал?

— Догадываюсь,— неуверенно произнес Невирко.— Верно, тот, кто оказался моим соавтором.

— Нет,— резко рубанул ладонью воздух Голубович.— Посылал не он. Материал готовил к печати не он. Ряд поправок внес тоже не он. Дело теперь прошлое, и я сознаюсь: это сделал я, не сказав вам об этом. Были некоторые сомнения, и я решил пока утаить от вас. Ждал, был уверен, что московские коллеги оценят ваши мысли. И вдруг... соавторство! Гурский со всей своей редкой бесцеремонностью... Пришлось послать опровержение. Моим друзьям и коллегам. Там сделают соответствующие выводы и... Одним словом, ваша идея и ваш проект остаются вашими, Петр Онуфриевич,— устало закончил Голубович.— Теперь экспериментируйте. Прямо в своей бригаде и экспериментируйте.

— Но вы не знаете...— начал было несмело Петр.

— Знаю,— отмахнулся Голубович.— Глупости, детские глупости. Только глупцы теряют своих товарищей, а вы к таким, пожалуй, не принадлежите. И никаких взрывов, никаких осложнений, все силы — на разумный труд, на полное осуществление вашего замысла. Большое дело начинаете, Петр. Имейте в виду: профессор Добрынин вместо меня будет вашим консультантом. Возможно, и я что-нибудь смогу... Одним словом, как сказал один мудрый человек: пора из гениального становиться разумным!..

Петр и Полина поднялись со своих мест.

— Если вы разрешите, я навещу вас, Игорь Александрович,— сказал в прихожей Петр.

— Приходите,— тепло откликнулся Голубович.— Судьба столкнула нас на узкой дорожке.

Полина порывисто обняла его, поцеловала в щеку и, увидев на ней след от своей губной помады, рассмеялась:

— Все будет хорошо... У меня счастливая рука, Игорь Александрович.

— Будем надеяться...— И повернулся к Невирко: — Так вот, Петр, судьба столкнула нас на узкой дорожке. Я не попрекаю вас. Только прошу: будьте наконец серьезным человеком. Слышите, Полина? Ему давно пора стать серьезным...

— Слышу,— сказала Полина.— Я ему уже говорила об этом.

Выйдя на лестничную площадку, Петр поднял руку и сжал в ротфронтовском салюте кулак:

— Нет более серьезных людей, чем строители, Игорь Александрович. Особенно перед защитой дипломных проектов.

Наконец прибыла долгожданная делегация из Лейпцига. В составе ее прилетела и дочь Густы — журналистка Инга Готте. Чуть ли не первой сбежала по ступенькам трапа на бетон аэродрома. Короткая стрижка, черные расклешенные брючки, полосатый свитер — настоящий мальчишка.

Найда сразу узнал ее.

— Инга, дорогая моя! — И протянул ей букет роз. Он говорил по-немецки четко, хотя и с напряжением.

Инга вспыхнула от радостного волнения:

— Геноссе Алексей Платонович!

В трепетном порыве припала к нему головой, глаза ее наполнились слезами.

— Инга, милая моя...— бормотал растроганный Найда.— Наконец вы приехали к нам.

Большой красный «Икарус» повез гостей в город, пересекая площади, врезаясь в тенистые ущелья улиц. Молодые немецкие рабочие поглядывали то вправо, то влево, хотя с ними не было гида и никто не давал им никаких пояснений.

Вечером Найда привел Ингу к себе домой. Ольга встретила ее сдержанно-вежливой улыбкой. Инга чмокнула Ольгу в щеку. Найда подозвал девочек:

— Нойе генерацион, Инга, Маринка унд Наташа. Новое поколение.

— О, понимаю, понимаю,— постепенно осваивалась с русской речью немка.— Гуте киндер.— И погладила Ната-

лочку по головке.— Можете говорить, я немножко понимаю. Мы в республике все учили немножко русский язык.

Девочки с любопытством поглядывали на необычную гостью.

Ольга Антоновна пошла в кухню готовить угощение. Явились Климовы — трогательная престарелая пара. Генерал и на этот раз не удержался от воспоминаний:

— Припоминаю, как под городом Бад-Шандау мы в апреле сорок пятого атаковали позиции эсэсовцев. Мерзавцы дрались ожесточенно и упорно, как обреченные. Сожгли почти весь город, а мирных жителей согнали к мосту и заставили перетаскивать боеприпасы. Попробуй ударь из пушек или пулеметов, когда там женщины бегают, ребятишки шмыгают между окопами. Но помог один немецкий товарищ, провел наших солдат через старый туннель, и мы атаковали эсэсовцев с фланга.

— О, эс-эс есть кошмар! Смерть! — искренне ужаснулась Инга, и на лице ее проступило такое выражение страха, будто ей самой довелось тогда бегать среди горящих зданий.— Эс-эс есть фербрехен... значит — большой преступление.

Она достала из сумочки какой-то конверт, вынула из него фотографию, с особенной осторожностью положила перед Найдой на стол.

— Мама... перед смертью... Моего отца убили в Ошаце.— Инга торопилась рассказать то, что ей удалось раскрыть из того далекого и страшного времени.— Ошац, Ошац, вайст ду?

— Да, да,— кивал головой Найда, хотя ничего еще не мог понять и лишь догадывался, что Инге стала известна истинная правда о прошлом матери.

Инга вытерла глаза платочком, подняла голову:

— Все знаю про маму. Аллес!

И стала рассказывать. Густа Арндт и Ингольф Готте после побега из концлагеря долго пытались связаться с товарищами по партии. Все явки были провалены. Повсюду шныряли гестаповские агенты, они даже знали пароли, и в любую минуту их могли схватить: в Гамбурге, в Бремене, в Берлине, в Лейпциге... Пришлось искать прибежища на глухом хуторе, за Ошацем, у дальних маминых родственников, где еще в тридцать третьем году

была организована конспиративная квартира. Они добрались туда и прятались там несколько месяцев. Но один бежавший из концлагеря товарищ — его звали Генрих Вилле,— не зная, что за ним следят, привел к ним «хвост». Ингольфа Готте убили там, а маму...

— Маму они не взяли,— внезапно охрипшим голосом проговорила Инга.— Вилли Шустер ее защитил. Он... давно был в нее влюблен...— Инга опустила голову.

— Я знаю,— ласково положил ей на плечо руку Найда.— Он работал с ней в клинике Генриха Шустера в Визентале.

— О, какая это мука! Майн гот! За что ей пришлось все это испытать! — быстро заговорила Инга. И вдруг с умоляющим видом испуганно взяла Найду за обе руки и, заглянув ему в глаза, спросила: — Вы же не верите клевете Шустера, правда? Вы не можете верить? Он был зверь... Его мемуары — вранье... подлость!..

— Я рад, что вы в этом убедились,— сказал Найда.— Но я виноват перед вами.

— Вы не виноваты! — даже испугалась Инга.— Генрих Вилле... Он написал открытое письмо Шустеру — я привезла газету.

Пришлось кое-что рассказать Климовым, которые во время беседы молча сидели за столом, смущенные тем, что стали невольными слушателями трагической истории.

Вспомнили о нападении фашистов на Визенталь, о ночном рейде в логово Шустера в лесу, о зверском покушении на часовщика Генриха Вилле, который что-то знал и чего-то боялся.

— Теперь, Инга, еще одно...— проговорил Найда.— Моя жена Ольга — дочь инженера Звагина. Ты слышала про инженера Звагина?

Инга удивленно заморгала ресницами:

— Звагин?.. Яволь!.. Ваш друг, инженер. Мама рассказывала... Сорок первый год, клиника Шустера.

Ольга Антоновна, видимо, что-то уловила из беседы. На ее глаза навернулись слезы, и она быстро вышла из комнаты.

— Я понимаю,— сказала Инга, заметив это.

— Фашисты расстреляли всю ее семью,— кратко пояснил Найда.

— Моя мама спасала ваш отец, геноссе Звагин. Моя мама есть коммунистин,— сказала Инга, когда Ольга вернулась.

Ольге Антоновне стало неловко, а может, сердцем почувствовала то, что хотела ей высказать взволнованная немецкая женщина с чудной мальчишеской прической.

Уже смеркалось. За столом говрили о разном. Инга хвалила Крайзмана, монтажника, который тоже приехал с делегацией. В Лейпциге он в большом почете. Молодой парень, а уже сумел так хорошо себя проявить.

— С Юргеном мы мерялись силами,— тепло сказал Найда.— Помните Петра Невирко?

— О, яволь! — обрадовалась Инга.— Такой симпатичный Пьетя... Я рада, что они тут встретятся снова. Мы тоже хотим учиться. Мы приехали видеть, фото, кинодокумент... ваша скорость, уменье, ди эрстэ классе... Ясно, да?..

— Ясно,— кивнул Найда, к которому вернулось хорошее настроение.— Высший класс монтажа.— Он заговорщически переглянулся с Климовым.— И нам есть что показать. Есть, есть, дорогая Инга! Считайте, Инга, что вы, как журналистка, не зря приехали к нам.

На улице послышался шум мотора, и через минуту на веранду легким шагом поднялся Невирко. Приоткрыл дверь в столовую.

— Можно вас, Алексей Платонович? — спросил с порога.

— Заходи, казаче,— пригласил его Найда.

Невирко все еще топтался на пороге, удивленный шумом и празднично накрытым столом.

— Он? — спросил Найда Ингу, весело прищурясь.

— Пье-тя! — по-детски всплеснула руками Инга.— Наш Пьетя!

Невирко стоял растерянный. Он, конечно, узнал эту большеглазую тоненькую женщину. Был рад и удивлен, но чувствовал себя так, будто она выручила его из затруднительного положения. Перемучился, пока решился приехать сюда, в дом своего наставника и друга, своего доброго Бати. Не знал, что будет говорить и сколько справедливых упреков ему придется выслушать. И вдруг — эта встреча!

— Извините... Инга...— покраснев, как девушка, бормотал Петр.

А его уже тащили к столу, усаживали, накладывали на тарелку еду, предлагали на выбор домашней наливки, крепкого и шипучего...

— Не могу, не пью,— отнекивался Невирко и больше жестами, чем словами, старался объяснить гостье, что он сейчас под «железным» табу: приехал на мотоцикле...

— О, верхом? — шаловливо рассмеялась Инга.— Майн риттер! — Она кокетливо повела плечами.— Надеюсь, вы приехали здороваться со мной?

— Конечно... я очень рад...

— Но даму так не приветствуют,— задорно тряхнула головой Инга.— Вы пришли без цветов, герр риттер.

Петр начал втягиваться в игру. Ему тоже передалось ее хорошее настроение. Цветы! В самом деле, для такой дорогой гостьи нужны лучшие цветы из киевских теплиц.

Он быстро обдумывал ситуацию. Хотелось приятно удивить Ингу, да и себя показать настоящим рыцарем, раз уж выпала такая почетная роль. Знать бы, кого он тут встретит!.. Но на то он и Петр Невирко, чтобы не тушеваться при любых обстоятельствах.

— Цветы будут, фрау Инга,— воскликнул он.— Айн момент, фрау Инга!

Распахнул дверь и выбежал из комнаты.

Все в недоумении замолчали, удивленные поступком Петра. Шутка неожиданно обернулась чем-то несуразным. Петр, видимо, всерьез решил добыть для прекрасной дамы букет. Инга виновато закусила губу:

— Куда он?.. Вохин?..

Найда успокаивающе поднял руку:

— Рыцарь обязан быть рыцарем.

— О, майн гот! Не надо! Я не хочу цветы! — запротестовала Инга. Она чувствовала себя виноватой. Так неожиданно все получилось. И это из-за нее, из-за неуместной ее шутки. Пришел милый Петя, и вот нет Пети.

— Найн, найн! — все еще протестовала Инга, не зная, что ей делать.

Но вдруг глаза ее загорелись.

— Очень прошу меня извинить! — бросила она присутствующим. Схватила свою серебристую сумочку и выбежала следом за Невирко.

А он уже заводил мотоцикл: держа обеими руками руль, с силой нажимал на педаль. Мотор, однако, не заводился, капризничал, а Петр со злостью и отчаянием поддавал газу. Подкручивал, подтягивал, снова дергал и еще больше злился.

— Герр риттер! — сказала Инга, наблюдая с крыльца за напрасными усилиями своего «рыцаря».— Разрешите, я?.. Битте, майн риттер!

Взялась с необычной, чисто мужской хваткой за руль, постояла минуту, словно чего-то ожидая, затем что есть силы нажала на педаль, и — о чудеса! — вдруг загудело, затарахтело. А затем, не спрашивая разрешения, она уверенно села за руль и победоносно глянула на Петра.

— Битте! Садиться прошу. Инга хочет посмотреть ваш прекрасный город.

И они с ревом, с дребезжащим пением мотора помчались навстречу огням улиц, понеслись бульварами, через площади, мимо величавых памятников.

Инге все было мало скорости, она прибавляла газу, отчаянно рвалась на зеленые огни светофоров.

Петр, крепко обхватив ее за талию, пораженный и несколько встревоженный, пытался угомонить свою спутницу:

— Хватит, Инга... Не надо, Инга!

И вот всё позади: свистки ошеломленных милиционеров на перекрестках, мелькающие лица пешеходов и торжествующая улыбка Инги, когда они снова оказались у кирпичного дома Найды.

Инга с пышным букетом роз, Петр, смущенный, но довольный, вел себя чуть увереннней и с Ингой обходился как со старой знакомой.

— Прошу прощения за долгое отсутствие,— извинился он перед всеми, а прежде всего, конечно, перед хозяином дома.— Инга показывала мне наш чудесный город. Вся милиция в панике. Завтра я получу, самое меньшее, десять вызовов в автоинспекцию.

Узнав, что и в самом деле город показывала Инга, что она вдоволь насладилась быстрой ездой за рулем

Петровой «Явы», побывала и в Заднепровье, и на высоких кручах, и у Вечного огня, и еще бог знает где, Найда поставил перед гостьей тарелку, налил в рюмку вина, лукаво улыбнулся.

— Надеюсь, вы завтра будете к нам великодушной,— заговорил он.— Как журналист и член контрольной рабочей группы вы должны проявить максимум лояльности в отношении нашей бригады. Не так ли, милая Инга?

— Найн! — посерьезнела Инга.— Мы есть социалистическая группа. Только честность!

— Вот и правильно! — похвалил Ингу за ее неуступчивость Найда.

— Мы строим наш гроссес хауз, наш большой дом... Я буду справедлива к геноссе Крайзман и к геноссе Невирко.— Тут она словно бы споткнулась на каком-то слове и повернулась к Петру.— Но у меня есть просьба, геноссе Пьетя. Завтра вы меня познакомите с ваша невеста.— Она прильнула к плечу Петра, щеки ее зарделись.— Пьетя Невирко есть бройтигам, есть жених, и мы выпьем сейчас за его счастье.

Лихо осушив бокал, она обняла своего «рыцаря» и весело поцеловала его в обе щеки.

* * *

Утром Найда собрал свою бригаду в бытовке. Пришел и молодой прораб Хотынский. Забежал лишь на минутку — проверить, все ли готово.

— Гости вот-вот будут,— предупредил торопливо.— Мы на вас надеемся, Алексей Платонович.

— А мы надеемся на вашу организованность и пунктуальность, Андрей Сидорович,— многозначительно проговорил Найда.— Чтобы рейсокомплекты были точка в точку.

— За этим проследит товарищ Гурский. Он сам будет здесь.

— Очень рады,— не без иронии ответил Найда.— Только прошу вас: руководите нами снизу. Чтобы не слишком было много начальников на строительной площадке.— И тут же обратился к рабочим: — Начнем, хлопцы. Невирко пришел?

На миг все затихли: то ли от неожиданности, то ли оттого, что Петр снова будет с ними.

— Я здесь, товарищ бригадир,— откликнулся Петр, сидевший между Виталием и Саней.— Монтажник Невирко в полной боевой готовности.

Найда глянул на него с затаенной усмешкой и в то же время со строгостью:

— Звеньевой Невирко! Раз пришел в бригаду, приступай к делу. Бригада в прежнем составе будет работать в три смены,— продолжал Найда.— Сегодня — особо ответственный день. Наши немецкие коллеги весьма и весьма требовательны. Каждая минута у нас должна быть на счету. Надеюсь, ребята, что мы не подведем комбинат, будем работать по высшему классу. «Фотография рабочего дня» должна быть безукоризненной.

Петр Невирко уже чувствовал себя на коне. Он соберет всю свою волю, все свои силы, чтобы задавать тон подручным и требовать от них настоящей работы.

Подойдя к столу, он сурово посмотрел на своего друга:

— Запомни, Виталик: ежели будешь трепаться, твоим же электродом и прожгу тебя.

— Молчу и не дышу! — с нарочитой покорностью ответил Корж. И, хитро прищурившись, бросил хлопцам: — Что значит диплом на носу у нашего звеньевого!

Петр, хотя и услышал шутку, не рассердился. Лишь по старой привычке сгреб всей пятерней Виталькину чуприну.

— Скоро на высотных стройках только дипломированные и будут, а тех, кто больше языком работает, определим в кашевары.

Найда, в новенькой робе, с каской в руке, оглядел монтажников:

— Ну, хлопцы, немцы уже здесь. Держитесь! Сейчас начнем.

* * *

Совместная работа шла три дня. И вдруг случилось непредвиденное: в подвальное помещение строящегося здания хлынула вода из теплоцентрали, прорвало трубу, размыло грунты, и вся торцовая стена дала внезапную осадку. Показалась опасная трещина, которая стала рас-

ти и расползаться, образуя нечто подобное разветвленной реке Амазонке на большой школьной карте (так, по крайней мере, представилось Петру). Все бросились спасать положение: необходимо было остановить приток горячей воды. Забить брешь!

Работали всю ночь. Установленные под домом насосные машины гудели без передыху, отсасывая горячую воду из подвала. На ходу решался вопрос: как быть с размокшим, пропитавшимся водой грунтом? Крайзман предложил замораживание. Прораб Хотынский настоял на цементировании всей подушечной основы. Нужен был цементный раствор самой лучшей марки. И деревянные желоба для подачи его через подвальные окна. И мастера опалубки. И освещение. И еще много чего. И прежде всего — риск, который следовало не только учесть, но и преодолеть мужеством, холодной решимостью, отчаянной дерзостью.

О риске никто не говорил, но о нем думал Петр, рассчитывая каждое свое движение; его принимал во внимание Найда, давая команду рабочим, его ощущал, даже улыбаясь, Крайзман. Милый парень этот Юрген. Выше всех ростом, с саженным размахом плеч, с играющими под синей спецовкой бицепсами. Никто не знал, что у Юргена уже есть немалый опыт спасательных работ и что свою находчивость и свое мужество он однажды уже проявил на советской земле. Потом, когда кончился аврал, Юрген за дружеским столом рассказал, как ему пришлось в позапрошлом году участвовать со своей немецкой бригадой в строительстве большого гидроузла на Каме и как ударили невиданные даже для тех мест морозы, сковавшие все строительные механизмы на плотине. Заклинило огромный сливной щит. Кран рвал тросы, но поднять щит не удавалось. А вода в водохранилище поднималась все выше, искусственное море росло, студеные воды угрожали прорвать плотину и хлынуть вниз на раскинувшийся вдоль камских берегов город, на людей, на дома, на заводы... И тогда пятеро смельчаков, и среди них Крайзман, обвязавшись веревками, повисли над бездной и начали газовыми горелками отогревать примерзший металл шлюзового щита.

Захватывающая картина! Горят прожекторы, разлетаются искры горелок, ревет вода, стонет за плотиной стихия... А ты висишь, словно на стропах парашюта, и

тебя, как листик, раскачивает на пронизывающем ветру... Только руки коченели, а так ничего. К утру докрасна раскалили щит, и кран вырвал его из ледовых клещей!

На второй день уже спокойно ставили плиты. Крайзман ходил с монтагой, словно с копьем, подмигивая парням: быстрей, быстрей! С вашим башенным краном уснуть можно!

Юрген знал, что у Петра завтра госэкзамены.

— О, геноссе Невирко становится большим человеком, наш коллега выходит на самостоятельную дорогу. Мы ждем геноссе Невирко вместе с геноссе Найдой и доцентом Голубовичем у нас в Лейпциге. Не думайте, что мы живем вчерашним днем. Каркасные крепления на высотных домах внедряются и в нашем тресте.

Через несколько дней гости отбыли на родину, увезя с собой кроме дружеских, искренних улыбок уйму зафиксированных цифровых данных, заснятых фотопленок, разных чертежей, схем, планов. Поглядим, дескать, чем вы лучше нас и в чем мы преуспели.

Самолет поднялся в небо и растаял во мгле закатной дали. Петр не пошел провожать Крайзмана. Не попрощался и с Ингой. В день отлета у него была защита дипломного проекта, и немецкие коллеги об этом знали. Петр с дипломом в кармане собирался вернуться к своим ребятам или прорабом, или начальником участка, или кем угодно, только бы работать вместе с Виталькой, с Батей, с Одинцом. «А вы, товарищ Гурский... не считайте себя моим благодетелем. Обойдемся без ваших протекций...»

Защитился он около двенадцати часов. Без особого триумфа, по-деловому, несколько обыденно и прозаично. Правда, профессор кафедры сопротивления материалов Санаев спросил:

— Об аспирантуре не думаете?

Петр ответил, что свою аспирантуру он будет проходить пока что в строительном тресте, на своем объекте.

— Рады будем вас видеть,— сказал профессор.— Подумайте.

Петр вышел из актового зала с чувством радостного облегчения. Увидел напряженные, озабоченные лица тех, кто ожидал защиты. Протиснулся сквозь толпу туда, где

посвободней. И первой мыслью была мысль о Полине. С того дня, как ходили к Голубовичу, он ее не видел. Только звонил несколько раз ей в приемную. Договорились, что она обязательно придет в институт на его защиту. «Я не сомневаюсь в твоем успехе, хотя почему-то очень и очень волнуюсь...» —сказала девушка напоследок.

Полины не было ни в коридоре, ни внизу в холле. Видимо, не смогла вырваться из дома. Не заболела ли? А может, что с Санькой случилось?..

Вдруг на него налетели ребята. Обнимали, пожимали руку, похлопывали по плечу. «Молодец, Петя! Здорово защищался!» Виталька, Саня, Андрей стояли с огромными букетами цветов, одетые по-праздничному. И кое-кто из управления был тут. Даже старший диспетчер Кулик явился и главный технолог Иван Герасимович.

Начали поздравлять именинника. Кто-то предложил, что надо качать Петра Онуфриевича...

— Спасибо, ну зачем так? Спасибо...— бормотал Петр, вконец смущенный и растерянный.

— Спасибом не отделаешься,— засмеялся сухощавый старший диспетчер.— В машину его! На природу!

Две черные «Волги» и в самом деле стояли перед главным корпусом института. Долговязый Кулик сел на переднее сиденье, Петра, как главного виновника торжества, посадили рядом с Саней и Виталькой.

— Итак, Петр Онуфриевич, одной технической единицей стало больше,— сказал Кулик.— А поэтому давай на лоне природы отпразднуем твое инженерство,— он приоткрыл дверцу, дал задней машине команду, чтобы трогалась.

— Поехали,— приказал своему водителю и откинулся на спинку сиденья. Через минуту обернулся к Петру: — И еще тебе маленький подарочек: Чернявская просила, чтобы ты завтра с утра зашел к ней в партком. Какое-то большое дело затевается по твоему проекту.

В город Петр возвратился уже в сумерки. Его доставили к самому общежитию. Виталик и Саня предложили взять еще по бутылке сухого вина и посидеть с ребятами, отметить это дело. Но Петр решительно отказался. Был

девятый час, ему нужно как можно скорее к Полине. Тревожное предчувствие не давало ему покоя. Поблагодарив друзей, он на попутной машине помчался к девушке.

Окна в ее квартире были освещены. Петр взлетел на третий этаж, решительно позвонил. Может, он виноват, что не приехал раньше, сразу после защиты? Ждал ее в институте, хотел ей первой сообщить радостную весть... Еще раз позвонил, еще...

И вдруг понял, что ему не откроют. Дверь угрюмо молчала. За ней была неизвестность и тишина. В парадном стоял полумрак.

Он позвонил еще раз. И когда дверь снова отозвалась гулким молчанием, почувствовал леденящую тяжесть в груди. «Что-то случилось,— подумал он.— Но сегодня мне об этом не узнать».

Весь следующий день был посвящен институтским делам. Оформлялись документы, выписывался диплом. Еще пришлось заглянуть в деканат, поблагодарить сухонького суетливого декана и выслушать от него комплименты. На прощанье декан подвел его к окну и конфиденциальным тоном сообщил, что на кафедре сопромата им заинтересовались. Профессор Санаев советует подавать документы в аспирантуру. Над этим стоит поразмыслить.

Петру все казалось безразличным, ненужным, но доброжелательного декана он выслушал со вниманием.

— Спасибо, непременно зайду к профессору,— заверил его Петр и сразу же поехал на комбинат.

Уже начинались жаркие дни, июль обещал быть сухим и знойным. Раскаленный асфальт, очереди у автоматов с водой, очереди перед кассами кинотеатров. Ему вспомнилось, как в парке, когда не удалось пойти в кино, он отважился поцеловать Полину и как она вдруг загрустила, подумав, что это он из благодарности или ради забавы... Сейчас он зайдет в приемную, и она бросится ему навстречу. Со вчерашнего дня он не переставал думать о ней. Она должна была развеять его тревогу и недоумение.

Цветы на клумбах перед управлением пожухли. В тени под осокорем стояла машина Гурского, и водитель, откинув назад голову, утомленно дремал. Неподалеку

в цехах завода слышалось гудение стана, пахло цементной пылью, раскаленным железом.

В приемной было пусто, и Петр растерянно огляделся. Где же Полина? В пишущей машинке белел заложенный листок, фраза была не закончена, оборвана на полуслове.

Отворилась дверь из кабинета главинжа. Оттуда донесся раздраженный голос Гурского, и в приемную вышла полная, уже немолодая женщина с белыми крашеными волосами. Села за столик, потянулась небрежным жестом к телефону. В груди у Петра похолодело.

— А где Полина? — спросил он несмело.

Женщина ответила низким голосом, что она здесь уже не работает, уволилась. Неторопливо набрала номер и соединила кого-то с Гурским.

Петр молча постоял еще мгновение, с тоской оглядел приемную. Куда же ему теперь?

Медленно прошелся по комбинату. Зашел в цех поглядеть на новый стан Козлова. Вот где начинается настоящее дело, вот где будет взят разгон. Вид нового стана, новехонького, только что смонтированного, только что опробованного, сосредоточенные лица рабочих, мастеров, технологов, веселый лязг металла, запах нагретого бетона — все это немного отвлекло его от гнетущих мыслей.

Особенно обрадовали слова комсорга Обрийчука, атлета с детской улыбкой на румяном лице, который, дружески обняв Петра за плечи, кивнул на новый стан-конвейер и загадочным тоном проговорил:

— Вот на нем и проверим, чего стоит твой дипломный проект. Может, красная ему цена — только пять звездочек армянского.

Это он, видимо, намекнул на пиршество в лесу над Днепром, куда сам почему-то не поехал. Возможно, был занят срочным делом. А возможно, по другой причине.

Петр оживился, даже грусть куда-то улетучилась, и он подумал о своей защите как о начале нового пути, который лежит перед ним и по которому он пойдет с надежными друзьями. Захотелось заглянуть на свой объект, к Найде, пусть ребята узнают, что тут, на комбинате, дела ого-го!

Неожиданно он столкнулся с Чернявской. Она была в кружевной белой блузке, с высоко взбитой прической, на лице приветливая улыбка. Не иначе как сегодня будет где-то выступать, подумал Невирко, польщенный тем, что такая представительная особа обратила на него внимание.

Она пригласила Петра в партком, усадила его на диван, внимательно, с явным благожелательством оглядела его складную фигуру в полосатой рубашке с короткими рукавами.

Вошел Обрийчук, обрадованный тем, что застал Невирко.

— Он уже видел новый стан,— сообщил Обрийчук Чернявской, присаживаясь к приставному столику.— Верно, возражать не будет...

— Это против чего же? — удивился Петр и вопросительно посмотрел на комсорга.

— Тут одна идея возникла,— сказала Чернявская, незаметным движением поправляя свою пышную прическу.— Все началось... ну давай, Микола, лучше уж ты. Выкладывай нашему дипломнику.

Идея представлялась интересной. Невирко и верил и не верил; казалось, что в жизнь воплощается волшебный сон, который не раз снился ему, когда дипломный проект сорокадвухэтажного здания был только замыслом. Комбинатская комсомолия, однако, решила перейти от замысла к делу. Начало есть: разработанный Петром Невирко принцип, а также опубликованная статья, вызвавшая острую дискуссию среди строителей страны. Комбинат связался со строительным институтом, получено обещание, что доцент Голубович (после операции, конечно) будет курировать внедрение проекта в жизнь. И наконец, для окончательного воплощения проекта был выделен специальный экспериментальный участок, где бригадиром будет...

— Алексей Платонович! — с жаром подсказал Петр.

— Угадал. Работать будет весь ваш сплоченный коллектив. Но работать продуманно, без шума. Надо быть готовым к трудностям. На первых порах возможны и срывы, и разочарования...

— Надеюсь, обойдемся без разочарований! — решительно проговорила Чернявская.

— Одним словом — нас поддерживает партком,—

кивнув на Чернявскую, весело заявил Обрийчук.— Ведь вы «за», Валентина Дмитриевна?

— Если без разочарований, то «за»,— дружески улыбнулась Чернявская.

— Значит, в бригаду, Петр Онуфриевич! К своим! Там и начинай артподготовку.

— Мы еще побеседуем на эту тему. Дух наш молод, как поется в песне, разрешение дано, теперь — за дело! — Он улыбнулся Чернявской.— Разрешите действовать?

— Доброго вам пути, ребята,— одобряющим кивком головы проводила их Чернявская.

Свободный день подходил к концу. Завтра снова в бригаду. Пока ты — монтажник, в своей прежней должности звеньевого. Работенки хоть отбавляй, хлопцы без тебя устали, хлопцам хочется, чтобы все было по-прежнему. Приезд немцев оказался хорошей встряской, успешная защита диплома обещает интересную работу, а тут еще новый стан Козлова... В общем, жизнь набирает высоту, принимайся за дело и гни свою линию, Петр Невирко.

Он неотступно думал о Полине. Если вчера ее не было, то сегодня он определенно ее застанет. Нужно ехать сейчас же и объясниться с ней во что бы то ни стало. Сгущались сумерки, зажигались в окнах первые огни. Поднялся на третий этаж. Не колеблясь, позвонил — что будет, то будет! — и, не услышав шагов, позвонил еще настойчивее. Где она? Что случилось? Ждал затаив дыхание, прислушивался к тому, что там, за дверью. Вдруг услышал шаркающие шаги матери. И сразу догадался: Полины нет дома!

— Ах, это вы! — сказала слабым больным голосом мать, став на пороге.— Хорошо, что пришли, Петя. В больнице она. Вчера вызвали, просидела допоздна. Сегодня снова ушла. Вот записала адрес. В двадцать пятой, в хирургическом. Там что-то с Голубовичем, с Игорем Александровичем.

Пришлось снова ловить машину. Уговорил водителя поднажать на газ, сказал, что надо срочно в больницу...

— У меня в двадцать пятой сестра померла,— бросил сквозь стиснутые зубы водитель.— Не люблю двадцать пятую...

«Каждая операция по-разному проходит... Особенно на почках. Ждешь одно, а получается другое»,— подумал Петр.

Получилось самое худшее.

Полина стояла у ворот больницы, очевидно уже собиралась идти домой. Увидев Петра, подбежала к нему, прижалась лицом к его плечу, сквозь слезы заговорила:

— В двенадцать начали... Он передал, чтобы ты... хотел тебе передать... Его мать позвонила в приемную, а я сюда примчалась. А они начали в двенадцать... не пустили меня... и я целый день ждала, пока не вышел врач...

— Что с ним? — спросил Петр, прижимая к себе Полину.— Ты почему плачешь?.. Что с ним?..

— Его нет... Его уже нет...— вздрогнула девушка, подняла на него заплаканные глаза, и он увидел в них отраженный тусклый огонек неонового фонаря.— Мне не удалось повидаться с ним перед операцией... только матери разрешили... Он сказал ей, чтобы ты взял его наброски и все замечания к твоему проекту. Очень хотел... чтобы ты использовал их при строительстве высотного...

Они брели по слабо освещенной улице, избегая людных мест, их влекла тишина, где можно остаться со своим горем. Они шли медленно, тесно прижавшись друг к другу, и ощущение потери роднило их.

— Я причинил ему столько страданий,— с горечью произнес Петр.— И он никогда не упрекнул меня... Как я могу теперь оправдаться? Как мне загладить свою вину?.. Скажи, милая! Научи меня, Поленька!

— Ты можешь это сделать, Петя! Он отдал тебе свои бумаги, свои расчеты. В них — его мечта. Его недолгая жизнь!..

— Я понимаю...

— Ты должен воплотить это в реальность. Нужно, чтобы самое дорогое, самое важное для него продолжало жить. Ты должен строить самые прекрасные дома...

— Если бы у меня хватило сил и умения...

— Я верю в тебя, Петя! Ты это сделаешь. И... он верил.

— Да, иначе мне нельзя.

* * *

Петра окликнули с верхотуры, где он ставил на шестом этаже с ребятами «нутрянку». Вызывали его для срочного телефонного разговора.

В прорабской, прижав к уху трубку, слушал напряженно, с недоумевающим лицом, словно не верил услышанному, хотя понимал, что говорят правду. Судорожно проглотил слюну, и на скулах его заиграли желваки.

— Куда же она поехала?

В трубке слышался голос Полининой матери:

— В Севастополь, с Сашенькой. Письмо оставила для вас. Вызвала такси и поехала.

Трубка дрожала в руке Петра. Он положил ее на рычажок, тупо уставился на дежурную. Зачем-то ощупал все карманы, достал и снова спрятал сигареты, оглядел тесную бытовку.

— Что-то случилось? — сочувственно спросила дежурная.

— Я должен сейчас же...— не находил еще окончательного решения Невирко.— Извините меня!

— Да что вы, делайте что нужно.

— Ненадолго... Я должен съездить,— пробормотал Невирко и выбежал во двор.

На вокзале в залах ожидания толпились люди, малыши спали на руках у матерей, вихрастый парнишка тихонько наигрывал на баяне тягучую мелодию.

Невирко обегал все залы и длинные переходы, все более нервничал, теряя последнюю надежду. «В Севастополь... Почему же в Севастополь?.. К своему моряку, значит. Все-таки решилась, окончательно... Умер Голубович, и я остаюсь один. Совершенно один».

Вдруг он увидел Сашку, и у него даже голова закружилась от счастья. Стал продвигаться в толпе туда, где сидел на скамейке возле чемоданов крутолобый, в красной рубашечке мальчуган.

Сашка держал в руках раскрытую книжку, водил пальцем по строчкам и беззвучно читал про себя. Видно было, как он медленно шевелит губами, произнося отдельные слова. Когда Сашка поднял голову, он заметил приближающегося к нему Петра. Мальчик удивленно посмотрел на него, губы его растянулись в радостной

улыбке, он захлопнул книжку и бросился Петру навстречу.

— Поля там,— показал рукой в ту сторону, где бурлил людской поток, откуда все шли и шли пассажиры с багажом в руках.

— Что она там делает? — спросил Петр.

— За билетами стоит,— сказал мальчик.— А я книжку читаю.— Взял Петра за руку, потянул к скамье.— Садитесь, я вам почитаю. Поля скоро придет.

Петр быстро подхватил два чемодана, туго набитую сумку и Полин плащик.

— Пойдем,— сказал он мальчику.

Продвигались между сонными, разомлевшими людьми, вдыхая тяжелый, спертый воздух, переступая через чьи-то ноги, корзины, узлы, протискивались, кого-то обходя, кому-то уступая дорогу.

Разыскали Полину в тесной толпе у самого окошечка кассы. Сашка увидел жакетик сестры, полез в толпу, вытащил Полину из очереди и прямо повис у нее на руке от радости:

— Дядя Петя пришел!.. Вон дядя Петя!..

Полина, взглянув в ту сторону, куда показывал Сашка, будто окаменела не то от страха, не то от удивления. Глаза ее расширились, руки безвольно упали вниз, а одной из них — два синеватых билета.

— Поля... Поленька...— тихо сказал он, приближаясь к ней. А может, и не сказал, а лишь пошевелил пересохшими губами. Увидел, как сжимает она побелевшими пальцами железнодорожные билеты, а по щекам ее медленно текут слезы...

Протянул к ней руки:

— Куда ты, Поля?.. Не уезжай!.. Не надо!.. Я люблю тебя. Люблю, люблю...

Девушка словно очнулась. Она молча покачала головой, губы ее скривились. Она медленно разжала кулак, посмотрела на смятые билетики и так же медленно стала расправлять их на своей маленькой ладошке. Потом открыла сумку и спрятала туда эти синеватые бумажки.

— Не бросай меня... Сдай билеты... Вернемся домой... Ведь там мама, больная... одна-одинешенька...

— Поздно, Петенька!..— заговорила она взволнованно, взяв Петра под руку.— Я так решила в тот день, когда ты не пришел к нам сразу после защиты,— значит, поду-

мала я, не любишь по-настоящему, значит, я не буду с тобой счастлива... И вот я еду за счастьем — верю, что за настоящим женским счастьем.— Она подняла на него глаза, полные слез.— Мы должны расстаться. Слишком много горечи было в наших отношениях. И я устала от всего этого.— Она обеими руками взяла его за голову, притянула к себе, пристально и нежно глянула ему в глаза.— Милый, милый! Я буду всегда помнить тебя.

Она быстро направилась к Сашке, и они двинулись к выходу на перрон.

— Все равно приеду! — крикнул ей вслед Петр.— Слышишь? Где бы ты ни была, я приеду!

Она ускорила шаг и через мгновение исчезла в толпе.

Юрий Дмитриевич Бедзик

ЭТАЖ-42

М., «Советский писатель», 1982. 296 стр.
План выпуска 1982 г. № 237

Редактор *А. С. Поволоцкая*
Худож. редактор *А. И. Добрицын*
Техн. редактор *Е. П. Румянцева*
Корректор *Т. Н. Гуляева*

ИБ № 2893

Сдано в набор 09.07.81. Подписано к печати 19.01.82. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,54. Уч.-изд. л. 16,18. Тираж 30 000 экз. Заказ № 495. Цена 1 р. 10 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109